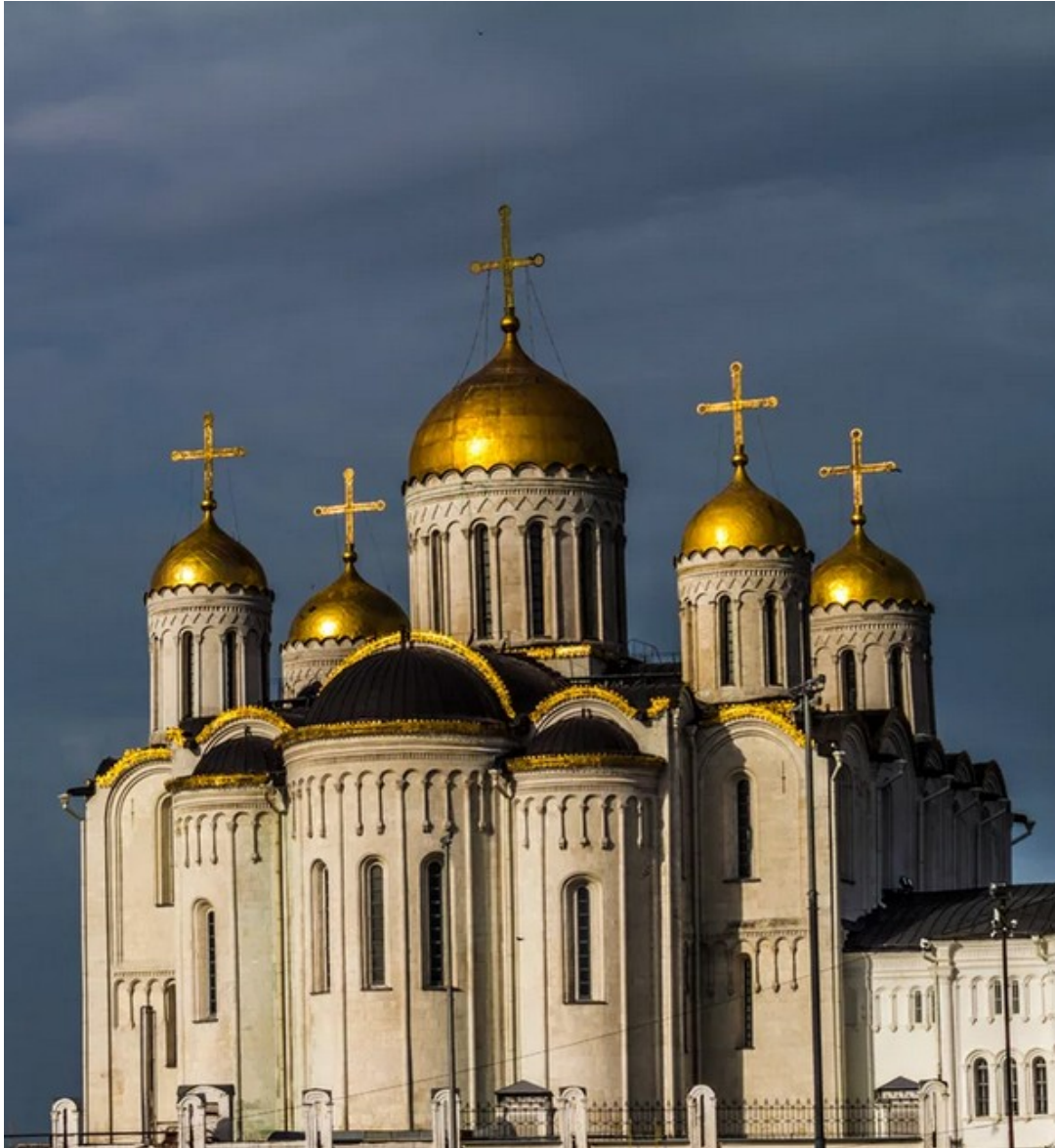


Герман Ильин

О России, с восхищением или/и отвращением



О России, с восхищением или/и отвращением

Изгнанника сон, как тайной, Россией окружён.

В.В.Набоков

Предисловие к русскому переводу

Работа над переводом с французского на русский, неожиданно, подвела меня к одной чисто философской теме. В неудачных русских переводах из немецких философов постоянно упоминаются "бытие" и "сознание", два призрачных термина, которые не удавалось определить ни Пармениду, ни [Канту](#), ни Гегелю, ни [Марксу](#), ни [Хайдеггеру](#).

А ведь есть два гораздо более понятных слова — "сущность" и "существование". Первое — инструментарий, второе — его употребление. Кстати, сразу же становится понятным, какое из них определяет другое, чтобы отвергнуть тезисы и Гегеля и [Маркса](#).

Теперь вернёмся к переводу. И тут оказывается, что у языков есть и сущность и существование. У сущности — две грани, одна Божественная (идущая от вида и мыслимая и в одиночестве), другая социальная (диктуемая родом и делающая нас существами общественными).

На первой грани отражаются Добро, Красота и Истина. Всю вторую занимает язык. В первой угадывается всечеловечность; во второй проявляется единоличность, творчество. Вот на этой второй, языковой, грани мы и остановимся.

Сущность языка вытекает и из времени и из пространства. Пространство — это текущий, застывший момент; и в этом ракурсе, сущности всех языков стоят друг друга. А вот чем больше столетий стоит

за историей языка, тем его сущность абстрактней. Абстрагирование понятий делает слова удивительно многогранными, открытыми к встречам с другими, часто непредсказуемыми, словами. Когда же сущность проистекает прежде всего из сегодняшнего дня, слова лишь с большим трудом могут соединиться с ещё неслышанным соседством других слов.

Вот тут и кроется разница между французским и русским языком. Первый уходит корнями в латынь и опирается на два тысячелетия культурного существования. Второму, можно сказать, чуть более двух веков. Слова первого без труда сочетаются с огромным числом новых тем, стилей, накалов, тропизмов. У слов второго больше места для отвержения нового соседства, чем для его принятия и утверждения, больше отказов служить новым подсвечиванием незнакомых вопросов.

Поэтому в переводе неизбежно встретятся препинания, впечатления многословия или зауми, уход от смысловой прямоты. Увы, я заражён словесной свободой; рамки текущего, повторяемого, здравого смысла слишком узки для меня. Закон сущности — свободный смысл; закон существования — стадная употребительность.

Эта книга была написана для европейской публики, для которой русские история, цивилизация и культура — это сплошной непредсказуемый хаос, в котором царят самовластие, причуды предводителей и художников, душевная паника и презрение к разуму, неуловимые источники нравов и мировоззрений.

Скажем сразу же: основной причиной русско-европейского непонимания является неучастие России/Руси в грандиозном явлении

итальянского Возрождения, которое нарождалось от франко-германского Палермо до византийской Равенны, в тот самый период, когда Россия опустошалась варварскими кочевниками, от которых она унаследовала мерзкие черты — грубость, жестокость, произвол, самодовольство, неумение следовать примеру лучших в экономике, политике, быту, отношении к женщине и т. д.

Жестокость была свойственна всем средневековым нациям; отличие России от прочей Европы заключалось, скорее, в манере одеваться, строить жилища, прокладывать дороги, устройстве праздников и тризн.

До XIII-го века Россия/Русь была вполне европейской державой. Римский Папа Иннокентий IV-й дружелюбно переписывался с Александром Невским. Ещё в XII-м веке, во Владимире, неподалёку от Москвы, был возведён великолепный романский собор, не уступающий европейским по красоте и величию.

Страшная культурная отсталость России лучше всего проявилась в книгопечатании — полтора века понадобилось России, чтобы, наконец-то, внедрить изобретение Гутенберга. Первопечатник Фёдоров появился даже после турок!

Сегодня образ России вырисовывается на языке или дифирамбическом ([В. Шубарт](#)) или русофобском ([А. Кюстин](#)). Объективные картины мне неизвестны. Самые близкие мне по объективности авторы — [А. Пушкин](#), [В. Ключевский](#), [В. Набоков](#).

Автор не имеет ни малейшей претензии на историчность своих

картин. Предлагаемая книга — это не последовательное исследование, а всего лишь сборник афоризмов автора и цитат русских и европейских писателей, философов, поэтов, учёных.

Основная цель автора — дать пищу и для восторга и для возмущения.

Предисловие

Будь ты одинок на свете или же вовлечён в какое-то участливое содружество и им поддержан, — всё равно, писать в пустоту, в никуда, не получается. Монологического письма, хотим мы того или нет, быть не может. Я всегда чурался обращения к коллегам или, ещё шире, к современникам. Ища вневременности, можно натолкнуться лишь на несуществующих личностей, которых нарекают Мечтой, Богом, Судьбой, Предопределением.

Два последних имени слишком затасканы графоманами; мечту же я предпочитаю заново сотворять на своих страницах, нежели докапываться до её смысла в своих бессловесных и необъяснимых порывах. Остаётся Бог — этот непостижимый, но навязчивый образ для всякого человека, способного дивиться чуду жизни и даже материи. И поскольку я вижу — и могу видеть — в Нём лишь Творца наших трёх тайн: смысла Добра, вкуса к Прекрасному, способности к Истинному, — то именно к этому безымянному, вневременному и внеместному лицу я привык обращаться.

Издавна я осаждаю Его своими меланхолическими заметками, в которых, кроме меня самого, нет прочих героев. Имена собственные, которые я употребляю, редко привязаны к каким-то вещам, я приберегаю их для личностей. То есть это либо люди — поэты или философы, либо состояния души, либо, наконец, культуры, то есть нации. Среди них две заслуживают звания личности — Франция и Россия. Именно вокруг последней я и буду рассыпать свои искры, ибо у меня нет ни воли, ни

охоты к повествовательным полотнам, пересказывающим содержание туристических или духовных путеводителей.

Мрачные чувства — негодование, презрение или равнодушие — неизбежны, это и делает нас леваков, праваков или отшельников. Наше детство вытёсывает наш профиль, в зависимости от наших нарождающихся взглядов на мир и реальности, в которую мы погружены: человеческую (конфликты, гордыни, зависти), сверхчеловеческую (сказки, грёзы, одиночество), бесчеловечную (обыденность, стадность, пошлость). Моё раннее детство прошло во второй среде, в безбрежности лесов, книг, гор и маминых песен. Презрение к тому, что лишено рельефа и мелодии, сделало меня человеком правым, — о чём я узнал лишь полвека спустя, прожив в убеждённости, что принадлежу к крайним левым...

Более чем соучастие друга, более чем близость с прекрасной головой, более чем забвение наедине с женщиной, — присутствие матери, даже вполне мнимое, да именно оно, вдруг снимает унижительную тяжесть одиночества. Лишь она мысленно составляет компанию самому заинтересованному и самому отрешённому собеседнику — мне, ребёнку, которого опрашиваю я, взрослый. И уже не так тоскливо моей никому не нужной зрелости, и мне уже нет дела, что никто меня не любит, ибо *нет ничего святее и бескорыстнее памяти о любви матери* — Белинский.

Я не знал Откровений, приводящих к просветлению тех, кто уже вышел из детства — не было у меня ни Дамаска, ни Тольбиака, ни Генуи, ни Сильс-Марии.

Единственный невесомый и чудный свет, сопутствовавший мне на всех перекрёстках-тупиках, шёл из сказок, которые читала мне Мама с тех пор, когда я достиг пяти лет. После изнурительной, мужской работы, на допотопном заводе с земляным полом, на грохочущем прессе, она несла своим трём исчадиям лишь свои голубые глаза, светящиеся любовью и слезами. Сказки открывали дороги, ведущие в никуда (как скажет когда-то [Хайдеггер](#)). Там я и решил остаться, покуда глазам было вольготно оставаться закрытыми. Сиюминутная лазурь маминых глаз сливалась с лазурью беспредельной мечты.

Самое живое воспоминание, которое я храню о своей России, упирается, однако, в смерть — единственную смерть, пережитую мною как трагедию. Я рою могилу Мама в мёрзлой сибирской земле, и единственные пятна, что нарушают белое снежное однообразие, — это следы моих слёз, вокруг вырытой могилы. А надо уже поглядывать на страшные гвозди, которые скоро подаст мне поп, ещё перед открытым гробом. А потом, чтобы не слышать скрежета моей лопаты в этой невыносимой яме, я читаю про-себя запомненные мамины сказки. Впервые я услышал в своём голосе ласковую мамину интонацию. Если я ещё кое-как выживаю, то есть держусь сказочной мечты, то это лишь благодаря тем волшебным сказкам.

Лишь родная моя тайга слышала эти рыдания. Отныне я сирота не на половину, а полностью. Словно иссяк последний источник благодати. Словно все сказки, что Мама вложила в самую суть моего нарождающегося сознания, утратили свою безотчётную волшебность и застыли в похоронной церемонии тяжким, неизбывным грузом. Угрызения совести, перехваченное дыхание, что сушит глаза и заставляет выть, как

зверя, отлучённого слишком рано от лона матери и ещё не знающего, как выжить без неё.

Мысль о бессмертии не укладывается ни в тело, ни в душу, ни в сознание. Ближе всего к образу бессмертия — та ласка, которую я посвящаю маминому лицу и её рукам, от которых исходило столько бессловесной ласки. Эти воспоминания научили меня делать различие между зрением и взглядом. Эта бездонная нелепость безотчётной любви, длящейся одно мгновение. Что есть бессмертие? — мгновение для гения, нескончаемая жизнь для посредственностей — М. Пришвин. Бессмертная ласка выше бессмертия сознания по Пифагору или Сократу, вечной мысли по Аристотелю, бесконечной веры в Христа, бессмертного творения Художника.

Я погружаюсь в одиночество с того мига, когда не замечаю более и не принимаю в расчёт чужих лиц. Состояние, достижимое не только на необитаемом острове. Без лиц — нет образов, без образов — нет кумиров. Я буду жить, уставившись не на неприступные стены, а на рухнувшую кровлю. Чтобы оплакать утраченное лицо Мамы или угасающий образ моего бывшего «я». И чтобы понять, что нам, увы, никогда не удаётся оказаться наедине целиком.

Итак, вот она, Россия — моя родина, моя мачеха, моя совесть. Единственная страна в мире, где вкус к Тайне ещё противится пресности Решений и яду Проблем.

Россия-тайна — душа; Россия-проблема — страдание; Россия-

решение — уход.

Россия *хочет*, чтобы её правда воссияла сама собой; Россия *может* озариться лишь чужой истиной; Россия *должна* обрести свой голос и свой свет.

Чтобы приподнять мир до уровня глаз, я пользуюсь привилегией Архимеда: от географического центра Азии, где я родился, мой рычаг клонится к духовному центру Европы, где я пишу. У моих антиподов, в Ушуае, у меня столько же читателей, что и здесь, в Европе.

Было бы у меня было достаточно сил, чтобы претворить мою решимость в дела, я вернулся бы в родную тайгу, прошёл бы по следам моих предков-золотоискателей, или, по крайней мере, поискал бы убежища в Амазонии или Кении. Смириться с тем, чтобы жить одними иллюзиями — увидеть в письменности вместилище порывов дыхания. Иллюзия, ставшая роком, — вот та покладистость, что лежит в основе этой напыщенной книги. *Уметь жить в обнадёживающем мире иллюзий зависит от нас одних*— Н. Хомский — *If we choose, we can live in a world of comforting illusion.*

Взрастить древо во мгле — одна из целей этой книги. Опора на **Ницше** была благотворна: *Те, кто меня читает и слышит, — естественно, русские — Meine natürlichen Leser und Hörer sind die Russen.* Искусственное чтение позволяет достигнуть многих бездн; естественное же доступно лишь тем, кто уже владеет высотой.

Моё детство: настоящие ледяные дворцы и лес, уходящий в океан с вешними водами. Затопленная тайга, с атоллами деревьев и зайцами или

подснежниками у их подножий. Зайцами, спасёнными и уложенными в лодке. А сегодня — воздушные замки в одной лишь Испании, замки забвения. И дерево, сотрясаемое осенним падежом, среди обезьян, плавающих лучше меня, букетов без цветов и роз без почему. Рассчитывать я могу лишь на свою звезду. *От рая нам остались три вещи: звёзды, цветы и детство* — Данте — *Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.*

Моё детство и его декорации: грязь, холод, голод среди сибирской каторги. Тайга, бескрайная, дикая. Там медведь оспаривал у меня малину. И две темы, постоянно встающие у меня перед глазами, всегда отсутствующие в моих изображениях. И Рильке подаёт мне славный пример, оставляя на стадии мечты свой замысел — *воскресить чудо русской моей юности* — *das russische Wunder meiner Jugend wiederauferstehen zu lassen*. Как раньше предполагал и Вольтер: *Будь я моложе, я сделался бы русским* — *Si j'étais plus jeune, je me ferais Russe.*

Сирота, падкий на побеги, я не раз, подобно многим своим соплеменникам, был на грани гибели, то ли от голода, то ли от холода или то ли от руки каторжан или бродяг, среди которых я и родился. Но к тому скрежущему тону, свойственному моим нынешним словам, та эпоха не добавила и сотой доли того, что я открою гораздо позже, оказавшись среди тепловатой заурядности пресыщенных блюстителей общественного порядка.

Сиротство, нищета, голод, холод, жестокость, дикость — столько этих ужасов, пережитых во плоти, мешают мне отыскивать вымышленные!

Прекрасное имя страдания приложимо лишь к нашей невещественной, исконной, мимолётной чувствительности.

Моей родиной был снег (я улыбаюсь, читая: *вот-вот и снег, беда тому, кто остался без родины* — Ницше — *bald wird es schnein, weh dem, der keine Heimat hat*). Позже, я посвятил свою жизнь выдумыванию родин, чтобы придать оживить бесплотное чувство изгнанничества, которое не покидает меня никогда. Точно так же я выдумываю храмы или судилища, где моему стыду найдутся, наконец, то исповедальня то скамья подсудимых. Жизненная потребность в тайне: *Изгнанника сон, как тайной, Россией окружён* — В. Набоков.

Именно среди *сибирских каторжан, вырезанных из драгоценнейшего дерева* — Ницше — *sibirische Zuchthäusler, aus dem wertvollsten Holze geschnitzt*, я разглядел, как росло то древо, которое, вырванное из земли, я возношу к небу, чтобы спастись от захоженного леса Киберии и следовать безысходными тропами (*Holzwege Хайдеггера*). *Край Тьмы* — так мессер Марко Поло, славянского происхождения (имя его, впрочем, ближе к лугам, чем к лесам), именовал это пространство. Маэстро У. Джордано, своими операми *Сибирь* и *Андре Шенье*, донёс до меня, что каторжанин, ставший палачом, будет худшим из мучителей.

В голове — сказки, перед глазами — Гулаг. Эти два видения, самые решающие для моего формирования и разворачивающиеся одновременно, оставили мне на всю жизнь одно и то же знамение — *настоящая жизнь не здесь*. Позже я понял, что эта заповедь является, к тому же, одним из весомых поводов для высокой поэзии или же для глубокой философии.

Настоящая философия есть философия каторги — Л. Шестов.

Роясь в своих русских воспоминаниях, я нахожу вот эту троицу запомнившихся мне имён: человек, прививший мне любовь к Баху и Генделю, русский академик, знавший Эйнштейна и создавший современную топологию; чужеземец, венесуэлец, научивший меня испанскому и ставший террористом, врагом номер один в Европе, заточённый в тюрьму четверть века назад, на вечное заключение; партиец, годами травивший меня из-за моих европейских связей, а ныне — ректор МГУ, моей alma mater.

Я, пожалуй, единственный в мире, кто в равной мере сроднился с тайгой и со Средиземноморьем. И я могу засвидетельствовать, что в Сибири и в Провансе небо внимает лишь невозможным просьбам. *Попросит ли сибиряк у неба олив, или провансалец — клюквы?* — Ж. де Местр — *Le Sibérien demandera-t-il au ciel des oliviers, ou le Provençal du klukwa ?* Оливу делят с генералами или с голубями; клюкву — с медведями или с беглыми каторжанами. Подальше от баранов и роботов.

Ощущение смерти, серости, ужаса или бесцветной светотени сопровождало меня повсюду в России; в Европе я чувствую себя уже мёртвым — от скуки или равнодушных красок.

Я цепляюсь за Европу, а ведь детство моё прошло в географическом центре Азии, где я соседствовал с чорцами и хакасами; а нынче гвианцы, маорцы или канаки принадлежат моей новой общине. Как не поверить, что *настоящая жизнь не здесь...*

Русская история простирается на три континента. Кое для кого, её азиатские и американские главы остаются вообще вне Истории: *Отбросим Сибирь; нам нечего с нею делать, ибо она лежит вне Истории* — Гегель — *Sibirien ist wegzuschneiden. Sie geht uns überhaupt nichts an, weil sie außerhalb der Geschichte liegt.* Эти слова жалкого обывателя заставили плакать великого [Достоевского](#) на его сибирской каторге, ибо в них ему слышалась смерть европейского бога, смерть подлинной свободы. Правда, на моей собственной каторге, где венчался [Достоевский](#), никакой абсолютный дух мне не являлся, являлись лишь души. Но не гегелям писать Историю душ. *Навязчивый смысл существования обращён к Сибири Изгнанников, к Поэзии, Изгнанию и Земле Гордости Человека* — П. Целан — *La tenace raison d'être était tournée vers la Sibérie des Exilés, vers la Poésie, Exil et Terre de la Fierté de l'Homme.*

[Достоевский](#) и я, мы видели одну и ту же каторгу: я — извне, перенеся, затем, эти безрадостные впечатления в свои зашифрованные стихи; он — пережил её изнутри, в кандалах. Раздвоенность между жизнью и мечтой, родилась из этих зловещих образов. Оттуда же вышли наши две гиперболические ветви, вписавшиеся в наши душевные и словесные ветви.

Эта суровая страна открыла мне свои каторги и леса, своих поэтов и доносчиков, своё рычание и свою музыку, свою математику и свои казармы. Даже без её языка, который также и мой, я остался бы её сыном, не зная в точности, кто мой духовный отец. Франция, более внимательная, ироничная и гибкая, усыновила меня. Зов простора, завещанный мне

Россией, обратился в потребность высоты. Познав головокружение высоты, смиренная покорность стала лишь стыдом, неуклонным и вдохновляющим. Вкус к обширным пейзажам уступил место влечению к редким и изысканным климатам. Непредсказуемое безумие пронизает русскую историю и, для её описания, побуждает к зауми или выдумке даже перья, привыкшие к путям избитым.

Жаль, что ни один русский не открыл в своей гиперборейской Скифии того, что заподозрили там [Вольтер](#) и Дидро и угадал [Ницше](#) — против-аполлонического Дионисия!

Они прожигают свою жизнь с ещё большей невинностью, чем народ Марса — Гораций/Вольтер — Avec plus d'innocence ils consomment leur vie, que le peuple de Mars. И даже сидя на пространных скамьях подсудимых, этот дионисический народ пирует. *То, что принимают за суровые кары, часто есть скрытые благодати* — О. Уайльд — *What seems to us bitter trials are often blessings in disguise.* Consumer или consommer, — вопрос явств, appetitов и потребностей в пламени.

Моё детство — голод и паразиты; отрочество — расбросанность и бродяжничество; юность — ученье и одиночество. И сказки, стихи, пафемы, мафемы — как орнамент и обрамление.

В детстве я упивался сказками и таёжной малиной, постигал математические тайны и открывал поэтические ритмы, восхищался Историей и презирал астрономию. Пресыщение, затем несколько переобращений: равнодушие к Истории и увлечение космогонией. Я

кончил тем, что захотел созерцать ценные вещи с самого дальнего расстояния. Там, где время и пространство сливаются. Звёздный свет сулит вечность; земные склоки повествуют лишь о позавчерашнем дне. И я храню всё ту же благодарность перед сказками: *Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, читайте им сказки* — А. Эйнштейн — *Wenn Sie möchten, daß Ihre Kinder intelligent sind, lesen Sie ihnen Märchen vor.*

В детстве горизонты забиты слишком зримыми вещами. Мало-помалу я заменяю их химерами, кои суть моё «я». Вот так и замыкается однажды круг моего одиночества, моих буден. Что-то вроде разбитого корыта, но с названием руины. У них есть акустическое достоинство — это единственный архитектурный стиль, который не заглушает отзвуков моего детства.

Два возможного диалога-ностальгии с моим детством: либо через мои тетради, фотографии, игрушки, либо в восстановлении по одной лишь памяти. Передача атомами или отзвуки призраков. Я предпочитаю жертвовать первыми во имя верности вторым — более живым, более близким и более душераздирающим. Всеобщей истине в этих воссозданиях не место.

Слова, которые я здесь выкладываю, увы, не слышались среди моего детства. Да и мои идеи ничем ему не обязаны. И всё же его напевы непрестанно звучат в моих ушах. Моя верность детству выражается в моём преклонении перед единственным тоном, который был бы в унисон с этими зовами, — тоном ностальгических сказок. Иначе я интересовался бы борьбой, истиной, свободой — всеми этими напыщенными и полезными

предметами, которые, слава Богу, внушают мне лишь скуку или равнодушие. Одиночество куёт поэтов; те, кто его избирают, становятся революционерами, те, кто его терпят, — монахами.

Благотворный эффект одиночества: несомый дуновением не-событий, я причаливаю к стране моего детства — моей последней гавани, где я буду отыскивать свои ближайшие кораблекрушения.

Люблю триаду, которой недоставало детству Сартра: *не наследуя ни меня, ни взгляда, почти без имени — sans hériter ni l'ombre ni le regard, presque sans nom* — ибо это первые вещи, которые должно надумывать, чтобы обрести право на «я». Сирота имени, не ведающий первого света и отданный вещам — таково было моё детство до первой сказки, которая избавила меня и от вещей, и от имён и посвятила меня их переизобретению: *Потерянная вещь ищет потерянное имя* — Шекспир — *A lost thing looks for a lost name.*

Я пронёс через жизнь один и тот же объём восторженного света, с двумя источниками или отражателями: в детстве *человек* оказывается в проблематичной тьме, а *люди* блещут своими решениями. С возрастом эта пропорция перешла в обратное: *человек* сияет в своей таинственной душе, *люди* же угасли во тьме без тайны. *Человек есть тайна, и вся гуманность зиждется на благоговении перед тайной человека* — Т. Манн — *Der Mensch ist ein Geheimnis, und alle Humanität beruht auf der Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Menschen.*

Покидая жизнь, не стоит громко хлопать дверью и даже цепляться за

окно, чтобы бросить последний взгляд на земной рай, — нет, надо обратить душу к той воображаемой кровле, откуда ещё видна звезда твоего детства. Внимательный уход за твоими руинами облегчит тебе эту позу верности и жертвенности.

Цель литературы та же, что и цель бытия: оставаться верным мечте, этой неизменной сущности, и жертвовать действием — этой случайной второстепенностью существования. Переделывание самого себя — удел посредственностей; я хочу оставаться самим собою, то есть оставаться чутким к моему неведомому я, явленному в моём детстве и одушевляющему мой взгляд в сторону лазури — дальней или высокой.

В моём родном языке слова рождаются из двух встречных, но уравновешенных течений: я слушаю его и заставляю его говорить. *Древо, вместо того чтобы растворяться в представлениях, может говорить со мной и вызывать ответ* — Э. Левинас — *L'arbre, au lieu de se dissoudre en représentations, peut me parler et susciter une réponse*. Чужой язык часто, увы, нем, и я подвергаю его допросу и стараюсь выдать его признания за спонтанные и искренние. Как укорениться в языке, который не знает моего детства? — и под словесной пыткой могу ли я надеяться на то цветение, что обходится без *почему*?

В сибирской тайге, в московском метро, на парижских бульварах, на европейских или американских дорогах — я чувствую себя тем же, я несу тот же взгляд, и мои глаза лишь пассивные свидетели этого.

Все что и почему сказаны испокон веков, — изобретать или начинать

заново нужно как. Запоздавшими словом, а не часом. *Я пришёл слишком поздно в слишком старый мир* — А. Мюссе — *Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux*. Мир стар во все времена (*senescit mundus*), но никогда ещё люди не были так далеки от своего детства и так не отождествляли себя со взрослостью. Занятый разумностью своих плодов, мир забывает о своих цветениях. Они вещают от имени своей страны, своего времени года, своей газеты, своего языка, тогда как я бормочу лишь от имени своего детства. Но, ещё будучи ребёнком, я уже был слишком стар для этого вечно молодого мира, живущего лишь в видимом.

Эта книга написана среди руин страны *gai saber* (или *gaya scienza* у Ницше), этой колыбели поэтической Европы, где некогда взаимооплодотворялись певец, рыцарь и свободный дух — встреча немыслимая ныне, и которую я пытался иронически восстановить, чтобы высветить нынешние русские потёмки, лишённые песен и рыцарских свобод. На какой высоте *fröhliche Apokalypse* (Г. Брок) может быть весёлой? На какой высоте поэзия более не нуждается в науке? — в этом истинная ставка, а не в том, *на какой глубине наука становится весёлой* — Ницше — *aus welcher Tiefe heraus die Wissenschaft fröhlich geworden ist*. Метафора трубадуров была бы той знаменитой музыкальной маской, которую любят в равной мере и глубина, и высота.

Манин, один из моих наставников по кафедре алгебры в Москве (где блистал И. Шафаревич), только что скончался. Более чем об алгебраической геометрии, я говорил с ним о Рильке (которого мы оба переводили), о О. Шпенглере или В. Шубарте. Нас объединял также интерес к языкам. Его видение математики как метафоры реального было очень глубоким и прекрасным. Он завораживал меня образом человека,

рождающегося из света (ангел), а не из материи (зверь), во Вселенной без массы, сразу после Большого взрыва. И я недавно узнал, что он был одним из первых (наряду с Р. Фейнманом, чью сестру я хорошо знал), кто предложил идею квантовых вычислений.

Я человек земли, а не океана; место моего рождения наиболее удалено, в совокупности, от четырёх океанов: 2500 км — от Северного Ледовитого, 3500 км — от Атлантического, 5500 км — от Индийского, 6500 км — от Тихого. 8000 км по меридиану и 10 000 км по параллели!

Разумеется, следы моих источников есть и в мелодиях моего языка, и в направленностях моего ума. Но основное во мне — взгляды и уравнищенности — принадлежат апатриду, которым я стал. *Акцент страны, где я рождён, остаётся в уме и в сердце, как и в языке — Ларошфуко — L'accent du pays où l'on est né demeure dans l'esprit et dans le cœur, comme dans le langage.*

Три племени приняли меня за своего, ибо я был восхищён и французским вселенским духом, и приподнятым одиноким немецким сердцем, и тронутым русской братской душой.

Я так привык быть одиноким в России, что не отдавал себе отчёта в том, что, обосновавшись в Европе, я продолжал оставаться им. Для моего письма, в обоих случаях, это было скорее благом, чем помехой.

Предел числа моих читателей — сотня пар глаз во Франции. К ним присоединилась бы моя аудитория — ещё десяток пар ушей, за пределами Франции.

Герман Ильин,

Прованс,

декабрь 2015

О её Сути

Ты ценен прежде всего тем, чему нельзя научиться: талантом, благородством, умом, свободой. Эти дары Божии образуют твой взгляд на мир и на тебя самого; благородство определяет его высоту, ум вносит в него глубину, свобода добавляет широты, а талант наполняет его накалом.

Взгляд этот должен быть овеян мистикой божественной, озарён эстетикой творческой, согрет этикой ангельской.

Талант есть искусство перевода твоего взгляда на общечеловеческий язык музыки. Если ты лишь передаёшь шум своей эпохи — это худшее из безмолвий.

Как люди вглядываются в человека, так я буду всматриваться в Россию.

Скрытое благородство

Коллективные движения — и в разуме и в деле — куда привычнее для Европы, чем для России. Россия — страна аристократических прозрений: толпа там лютее, а элита — реже, чище и выше. В чужих, русский взгляд задерживается лишь на плюмаже, тогда как европейцы заостряют стрелы и прицеливаются к мишеням.

Что бы ни твердила История, мысль в России всегда была на удивление аристократична. Ни в одной другой стране пути дела и прозрения не расходились до такой степени. В Европе видения увязают в бесконечных перекрёстках, а дела следуют прямым, захоженным и многообещающим путём — прямиком к осязаемой пользе.

Я вижу больше привязанности к величию в чувствах русских нигилистов, чем в чувствах английских утилитаристов — Ницше — Ich sehe mehr Hang zur Größe in den Gefühlen der russischen Nihilisten als in denen der englischen Utilitarier. Англичанин цепляется за первородство внешней свободы; для него выгода определяет меру братства и прочерчивает границы равенства. Русский — фанатик свободы внутренней; для него жертва ведёт к братству и открывает путь к равенству.

Цветаева: Требование высоты как первоосновы жизни — так видит высоту русский. Задача столь обширна, что русским никогда не удаётся

заняться обитаемыми этажами этого здания, которое быстро оборачивается либо подпольем, либо руинами. В руинах, здоровые духом углядывали бы башню из слоновой кости, которая могла бы стоять на том же месте; больные духом окунались бы в беспмятство, запустение, разруху.

Чтобы разглядеть свою звезду, мне не надо задирать голову — довольно опустить глаза. Вглядываясь в собственную кровлю, я свожу горизонт к порогу своей кельи. Звучание некоторых слов выдаёт бездонную пропасть между душой фаустовской и душой русской. *Русское слово для неба — niebo, отрицание. Русский вовсе не видит звёзд; его взгляд останавливается на горизонте* — O. Spengler — *Den unermesslichen Unterschied der faustischen und der russischen Seele verraten einige Wortklänge. Das russische Wort für Himmel ist Njebo, eine Verneinung. Der Russe sieht die Sterne gar nicht; er sieht nur den Horizont.* Между прочим, немецкое ликование — *jauchzen* — сплошное согласие; его фонетика заставляет жалеть об отрицании! Русское *небо*, без сомнения, кровно родственно немецкому *Nebel* — туману.

За отказом от окончательного, всеобъемлющего ответа часто скрывается тяга к новым загадочным, вопрошающим прелюдиям. Сказать, вслед за Рембо, что настоящая жизнь — не здесь (или — *главное — в ином*, что слабее, ибо *navigare necesse, vivere non necesse* — Плутарх — *важнее плыть, чем жить*) — у русских это оборачивается бесплодностью в жизни *здесь и сейчас* (где, однако, преуспевает Будда), в жизни, отныне лишённой *иного*. *Дух свободы, пассивное послушание, изыски роскоши и грубости дикости, этот вкус к новизне, составляющий самую броскую черту вашего характера* — Ж. де Местр — *L'esprit de liberté, l'obéissance passive,*

les raffinements du et les rudesses de la sauvagerie, ce goût de nouveauté, qui forme le trait le plus saillant de votre caractère.

Благородство, всегда бессильное, жалость, всегда бестелесная, пафос, всегда недвижимый — Чехов.

Даже если Пещера оборачивается скорее глубоким подпольем, чем казармой, высота её измеряется благородством руин. *Мы платоники. Западные люди, по преимуществу, аристотелевцы* — Бердяев.

Простота — самое прямое проявление благородства; русские аристократы, Пушкин и Толстой, явили её миру, опуская глаза перед нянями и мужиками, — такого нигде больше не сыскать.

Повсюду с накопленным знанием утончается деликатность чувств. Исключение — Россия: здесь чем человек диче, тем больше шансов отыскать в нём сердечную тонкость.

Свободный мир имел верное чутьё о звериной сути советской реальности, как и советская пропаганда писала правду об ужасе западной мечты. Но Европа в итоге обезобразила коммунистическую мечту, а Россия осталась глуха к чарам европейской яви.

Как и все европейские страны, царская Россия была империалистической; советская Россия впервые — и, без сомнения, в

последний раз в Истории — захотела быть интернационалистской, пожертвовала национальными интересами, попыталась видеть брата в каждом землянине, рухнула под непосильной тяжестью (даже ГУЛАГ как рычаг экономики не спас дела), рухнула — к великой радости покупателей и продавцов, в которых превратились все кандидаты на братский статус. Когда единственным моим братом станет человек бесстрастный, доступный, выверенный торговой шкалой и до которого рукой подать, я перестану понимать, что такое, на шкале сердца и мечты, — моя трепещущая даль.

Вернейший способ похоронить мечту — попытаться сделать её читаемой: *Мы рождены, чтоб сказку сделать былью*. Всякая мечта, к которой ведут ноги, а не один лишь взгляд, становится кафкианской или убуюэской: *Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью*.

Негероические эпохи, как наша, заполнены будничностью, откуда и бесплотность русского героизма — анахроничного, вышедшего из обихода. *У русских способность к великим делам равна лишь равнодушию к нищете повседневности* — Ж. де Сталь — *Chez les Russes, l'aptitude aux grandes choses n'a d'égale que l'indifférence aux misères du quotidien*.

Я чувствую себя чуть ли ни ничтожеством, если не сказать посмешищем, с языком и спесью, которую оценил бы разве что герцог Ларошфуко. Читаю рассказ парижанина из преуспевших буржуев (С. Тессона), затворника в сибирском таёжном шалаше, и нахожу там всю допотопную обстановку моего детства — головокружительный хиазм! Вплоть до каламбуров С. Тессона (выдаваемых за афоризмы), столь

безнадёжно плоско-банальных... Остаётся *изобрести другую Сибирь, чтобы отправить туда зачинателя переоценки ценностей* — Ницше — *ein Sibirien zu erfinden, um den Urheber der Wert-Tentative dorthin zu senden.*

У чужестранца понимают идеи, но ошибаются насчёт порывов. *Суровый философ, рождённый в Скифии, отсекает от души желания и страсти* — Лафонтен — *Un philosophe austère et né dans la Scythie, retranche de l'âme désirs et passions.* В одном дереве страсть сосредотачивается в цветах, в другом — в отживающих ветвях. Главное в работе секатора — интерес дерева, а не леса.

У русского хороший взгляд, но плохие глаза; последние служат для обозрения далей, чтобы знать своё место в мире, взгляд же — чтобы оценить свою собственную глубину или высоту. Сколько близоруких и дальнорук среди гордых и глубоких!

Вертикаль — не самое любимое измерение русских; недочеловеки и сверхчеловеки не входят в кругозор тех, кто видит в каждом нелёгкое сожительство зверя (плоти), собственно человека (души) и ангела (духа) на одной земле — обширной и беспорядочной. Неудивительно, что тот, кто не вписывается в паскалевскую дихотомию — не ангел и не зверь, — обращается лишь к душе.

Французский вселенский разум, священное сердце народов (Гёльдерлин — *heiliges Herz der Völker*), *широкая русская душа* (Достоевский) — здесь перепутаны прилагательные: разум должен быть

широким, сердце — вселенским, а душа — священной.

Француз ещё не удалился от своей поверхностности настолько, насколько немец от своей глубины — К. Краус — *Der Franzose hat sich von seiner Oberfläche noch immer nicht so weit entfernt, wie der Deutsche von seiner Tiefe*. Оба поняли: то, что весомо и задаёт направление, лежит на плоскости; для высоты нужен порыв. Русский — мечтатель или лентяй — ищет своё место в обширности, где теряются и слепнут.

Чтобы вложить чувство в московита, его надо вздёрнуть на дыбу — Монтескьё — *Il faut écorcher un Moscovite, pour lui donner du sentiment*. Беда с мастерами сдирания кожи: они ищут уязвимое в нас — на эпидерме, вместо того чтобы ухватить ещё живого клиента в ином месте — в душе, например. Другая беда: всё чаще за чувства выдают механические изделия мозгов.

Полноценная духовность дарует трём тайнам — жизни, красоте, благу — соизмеримые веса. Но частные духовности — души, ума, сердца — отдают предпочтение благу (русская), красоте (французская) или жизни (немецкая). И при этом они обоюдно упрекают соседей в бездуховности.

Благо длится, укрытое своей тайной; Истина существует, ибо она решение; но Красота подвешена меж ускользающей тайной и цепким решением. Оттого рядом с немецким сердцем и французским умом русская душа — самая уязвимая, даже летучая. Она гаснет, как только умолкает музыка — пища души. *Что я делаю на свете? — Слушаю свою душу* —

Цветаева.

Россия — ребус, завёрнутый в тайну внутри загадки — Черчилль — Russia — a riddle wrapped in a mystery inside an enigma, — когда известно, что англичанин не задаёт никому загадок и не несёт в себе проблем — О. Шпенглер — Ein Engländer gibt niemandem Rätsel auf und hat keine Probleme in sich, тогда как неисчерпаемая тайна русскости может быть основана лишь на изначальном, мыслительном изречении бездны Бытия — Хайдеггер — Das unerschlossene Geheimnis des Russentums kann nur durch ein ursprüngliches, denkerisches Ersagen des Abgrunds des Seyns gegründet werden. Русский упрямо вырабатывает замки, тогда как другие ломают голову над ключами. Забота о затворности или радость отворения.

Чтобы понять русское призвание, его надо искать в высоте. *Пушкин понял русский народ в глубине и обширности — Достоевский — ты путаешь измерения: русская высота, вполне европейская, была понята лишь двумя прекрасными чуткостями — Пушкиным и В. Набоковым.* Эти двое — единственные русские иронисты, насмехающиеся над прозой мыслей и умеющие слагать поэтические образы.

Русская страсть — свобода, его повседневность — рабство. О ком именно говорит Камю: *Сильнейшая страсть двадцатого века — рабство?* Русский свободен лишь в эсхатологии: *Страсть русского: желание прямого контакта со всем изначальным — В. Янкелевич — La passion russe : le désir du contact direct avec tout ce qui est initial.*

В отличие от Европы, русский интеллигент почти не имеет ничего общего со своими соотечественниками — деловитыми мошенниками. В отличие от европейского собрата, всегда в компании налогоплательщиков, он вообще не хочет видеть социальной мерзости своей страны.

Европейский интеллигент — поборник справедливости, гордый, постоянно в общественной среде; русский же интеллигент — умиротворённый праведник, маргинал. Первый выискивает злоупотребления и куёт законопроекты; второй сетует на человеческое несовершенство и глотает свою горечь. Ликург или Сократ.

Худшие недостатки русского обращаются против него самого; недостатки европейца направлены против других. Достоинства русского обращены ко всему человечеству; достоинства европейца служат прежде всего ему самому.

Француз достигает славы, рассчитывая в реальности; немец достигает совести, работая над реальностью; англичанин обгоняет конкурентов, фабрикуя реальность; русский терпит неудачу в своей мечте, жульничая с реальностью.

Персонажи самого отвратительного вкуса: в России — терпкие (евразийцы или богословы), во Франции — приторные (Пруст, Гитри, Соллерс), в Германии — безвкусные (Кант, Гуссерль). Лучшие: в России — мучимые, во Франции — легковесные, в Германии — просветлённые.

Перед советской Россией европейский демократ был либо русофилом, либо русофобом; обе позиции одинаково оправданны, ибо речь шла о двух разных кланах: демократах ностальгической мечты или демократах статистических фактов.

Русофоб видит отвратительную русскую цивилизацию и делает Россию своим непримиримым наследственным врагом; русофил видит великую русскую культуру и хочет приблизиться к России дружественной, гостеприимной. И поскольку цивилизация податлива, а культура неискоренима, европейцу следовало бы больше слушать русофила.

Страстные и молодые герои в Петрограде или Гаване декламировали прекрасные коммунистические лозунги, вызывая восторженную поддержку бедствующих. Те же лозунги, выбалтываемые дряхлыми партийными функционерами, внушали лишь отвращение или равнодушие. Духовные и мозговые мутации необратимы. Но близорукость во времени (Россия) продолжает питать подлинную ностальгию; дальнорукость в пространстве (Европа) — ложные надежды.

Русская мечта вневременна; но поскольку в прочих местах мечта лопнула уже давно, она обращается лишь в будущее, это прибежище баранов или роботов; отсюда ошибка: *В России думают только о будущем* — J. Steinbeck — *In Russia it is always the future that is thought of.*

Грубый робот и грубый баран, старый американец и новый русский, осквернили, соответственно, два славных слова: романтический и

аристократический. Первый говорит «романтический» — в смысле: ну, это выходит за рамки алгоритма; второй говорит «аристократический» — в смысле: только миллионер может себе это позволить.

По случаю кончины СССР, последний гвоздь был забит в гроб Истории (чтобы похоронить его рядом с Богом и искусством, почившими чуть раньше), то есть в гроб человека, который может оставаться живым, только будучи одушевлён мечтой. *Гегель ошибся на полтора столетия: Конец Истории — это не Наполеон, это Сталин* — А. Кожев — *Hegel se trompa de 150 ans : la Fin de l'Histoire, ce n'est pas Napoléon, c'est Staline*. Конец волнению братства и благородству равенства; путь свободен для единственного выжившего существа — робота, справедливого, свободного, сытого.

В России нет граждан; в Америке нет поэтов. Однако русских поэтов приглашают быть прежде всего хорошими гражданами — чтобы проклинать прежний режим и воспевать текущий. А американского налогоплательщика побуждают стать певцом — свободы предпринимательства.

На Западе видят русских художников лишь в зловеще-живописном ракурсе, проецируя их на капризы тиранов: *Запасы иронии у Ахматовой, Мандельштама, Пастернака были сохранены личной памятью. Сталин осудил поэта за цитирование Шекспира, пражская полиция убила философа за то, что он тайно учил Платону* — Дж. Штейнер — *The reserves of irony, in Akhmatova, in Mandelstam, in Pasternak, have been preserved in the personal memory. Stalin condemned a poet for having cited*

Shakespeare, the Prague police killed a philosopher because he had taught secretly Plato. Эти авторы из семьи Йейтса, **Валери** и **Рильке**. Когда же вы станете видеть их теми же глазами, как видите Шекспира без Елизаветы, Расина без Людовика XIV-го, Гёте без великого герцога Веймарского? А ведь именно в советской России Шекспир и Платон имели самые огромные тиражи!

Невежественные и злостные люди видят уродство советского коммунизма и хотят бросить тень его позора даже на равенство и гуманизм; мало кто читает эту историю наизусть: После стольких откровений, жертв, ума — миллионы депортированных, цензура — М. Мерло-Понти — *Après tant de lucidité, de sacrifice, d'intelligence, — les millions de déportés, la censure.*

Как присваивают себе исключительность: *Sonderweg* немецкой философии, французская культурная *исключительность*, *загадочность* русской души. Но, как бы это ни было парадоксально, их горизонты называются: *Weltgeist*, *универсальность*, *всеотзывчивость*.

Как и все монументальные вещи, культура есть древо с неизвестными; если русские охотнее унифицируют его цветение и тенистость, это, быть может, делает их проникновение менее глубоким, но наделяет их более высоким взглядом.

Немец одержим мерой, к ней он сводит даже свой идеал — чистоту (*и сырому нужна мера, чтобы чистое себя познало* — Гёльдерлин — *unter*

dem Maße des Rohen braucht es auch damit das Reine sich kenne); француз щеголяет своими измерительными инструментами и называет их умом; русский хочет быть самою мерою, чтобы оценивать лишь безмерное — боль, доброту, одиночество.

Ни в Германии, ни во Франции не было ни одного истинного ницшеанца; в России их множество, и без малейшего подражания или неожиданности: Ницше — самый русский из всех западных философов; академические эпигоны копаются в его идеях (которые весьма бедны), литературные эпигоны — в его метафорах (которые весьма прекрасны), тогда как истинные ницшеанцы узнают самих себя — в его тоне (который, прежде всего, благороден).

Европа изобретает проблемы, Америка фабрикует решения, Россия остаётся верна тайнам. Лёгкость тайны — её не развивают, ею окутывают; она обольщает, она не вызволяет; она возвышает власть, не опираясь на знание.

Европеец так привык к мысли, что логика и чувство выражаются на одном и том же языке, что принимает русские излияния лирических переживаний за извержение мистических откровений. *Из всех европейских культур русская — самая навязчиво мистическая* — Р. Дебрэ — *De toutes les cultures européennes, la russe est la plus compulsivement mystique*. Россия знала своих Мейстера Экхарта или С. Вейль, но они никогда не знали резонанса таких как Достоевский и Толстой, в которых нет ничего мистического.

Политики и учёные обращены к проблемам; интеллектуалы утопают в тайнах; обыватель довольствуется решениями. Русский писатель хочет встать рядом с учёными: Достоевский и Толстой одержимы проблемами, но первый проецирует их на тайну человека, а второй — на решения людей. Первый видит мистическое небо, обрушивающееся на землю; второй хочет вознести к небу землю решений.

Высота моего взгляда на жизнь определяется тем, обращаю ли я внимание на истоки и начала или же на цели и завершения. Вдохновение пассивное или устремление активное. Русский склоняется к первой расположению: *Наполеон обращался к Судьбе, Александр — к Провидению — Шатобриан — Napoléon s'adressait au Destin, Alexandre [Alexandre I] – à la Providence.*

Красота и порядок делают наш ум объективным и справедливым; уродство и насилие задают ритм русской повседневности, и, пытаясь ускользнуть от неё, русский верит, что заполняется душой, которая всегда пристрастна, непредсказуема и спонтанна.

Нашему воображению надо бы излагаться по-французски, передавать наши порывы по-немецки, и желания — по-русски: *Сила желания наиболее сильна и удивительна именно в России — Ницше — Die Kraft zu wollen ist am allerstärksten und erstaunlichsten in Russland.*

Русский и француз едины во мнении о месте настоящей жизни — она — не здесь. Красота и благо отчётливее вырастают из мечты, чем из

реальности. *Немец хочет постичь Природу целиком. Француз и русский ограничиваются полужнанием* — Амбель — *L'Allemand veut pénétrer jusqu'à la Nature. Le Français et le Russe s'arrêtent à la convention* — они знают, что идти до конца — значит идти к скуке.

Во Франции слово *аристократический* стало бранным, однако там так немало благородных голов; в Англии — рабское почитание аристократических титулов и полное отсутствие какого бы то ни было благородства.

Башня Вяч.Иванова в Петербурге: вне времени, вне пространства — бред растерянных интеллектуалов; башня Гёльдерлина: три ступени во времени, из трёх окон — зарождение, жизнь, падение; башня Монтеня: три пространственных уровня — жизнь, мечта, творение. Самое высокое кладбище Франции — *Кладбище у моря* [Валери](#); самый глубокий фонтан — *Фонтан Воклюза* Петрарки.

Проповедовать ан-архию вещей, никаких предвосхищений, и пан-архию грёз, одно восхищение. Жить вечным возвращением (пережёвыванием) другого французского глагола-палиндрома — rêver (грезить)! По-русски *мечта* этимологически отсылает к призракам, фантомам, мистическим явлениям.

Я дитя леса, наперекор газонам и декоративным деревьям. Горизонтальность газона против вертикальности древа. Пейзаж, украшающий пикники, пастбища и игроков в гольф, или климат, годный для всех эпох древа — надо выбирать. *Француз слишком мыслит в*

терминах древа, противопоставленного траве, растущей из середины, — в этом английская проблема — Ж. Делёз — Le Français pense trop en termes d'arbre, le contraire de l'herbe, qui pousse par le milieu, c'est le problème anglais.

Тевтонская организация не совлала с мужеством казака. Изящный французский рыцарь был превзойдён неуклюжим английским лучником. Тетива обогнала оперение. И зубчатое колесо последовало за тетивой: *этот французский рыцарь, начавший так бодро — Ш. Пеги (о Декарте) — ce cavalier français, qui partit d'un si bon pas.*

Констатируя земную скудость, надо искать убежища: жизнь (тело и Благо), искусство (душа и Красота), знание (ум и Истина). И ты вверяешь свои вздохи недвижной вышине, вышине, которая есть та обитель, с которой ничто не опускается до земли, — в этом можно узнать самого германского из итальянских поэтов: *Ничто не стоит твоих порывов, и не достойна вздохов твоих земля — Леопарди — Non val cosa nessuna i moti tuoi, nè di sospiri è degna la terra.* Итальянцы и русские призывают к жизни (первые принимая всё, от пошлого до возвышенного, вторые, отвергая всё, кроме смутных провидения будущего), немцы хотят дышать лишь чистотой поэтических высот, французы обживают изысканные замки или элегантные литературные салоны. Только французы применили ницшеанское уравнение: жизнь и искусство — одно и то же!

Я дитя тайги. Медведь был мне ближе, чем пудель. Малина и гриб на опушке, а не шоколад и сорбет, сопровождали мои первые пиршественные трапезы — одинокие, а не коллективные. Но я узнаю в них ту же

субстанцию, что некогда одушевляла мои вечера, а ныне одушевляет мои утра — книгу. Сказки, что, возвращаясь с завода, читала мне Мама; поэзия, лирическая или философская, что воплощается в моих состояниях души, в образах или словах, изливающихся на мои страницы. Я уже не знаю, где одерживает верх природа, где преобладает культура.

Прежде чем внушить нам энтузиазм или надежду, честная философия должна выдвинуть на первый план загадочность или хрупкость наших связей с сущностным и сделать из эфемерного повод восхищаться или любить неизменное. Философы еврейского происхождения, в Австрии, России, Германии, Франции, носящие в глубине себя множественные ностальгии — истории, языка, географии, культуры, — внесли огромный вклад в это философское благородство.

Бог даёт руль, а чёрт — паруса — говорит добрая русская пословица. Может ли увлечение быть божественного происхождения? Может ли мир души быть внушён дьяволом? В этой регате я чувствую себя ближе к зверю. В штиле я жду своей звезды и доброго ветра, ибо Бог обращает внимание лишь на прямые пути и компасы.

Русский нигилист не отказывает вещам в их доле чудесного; только он учитывает её лишь в той мере, в какой она поддерживает его страсть к накалу и его призыв к высоте: *Быть нигилистом — значит отрицать вещи в их высочайшей степени накала, а не в их низшей версии* — Ж. Бодрийяр — *Être nihiliste, c'est nier les choses à leur plus haut degré d'intensité, et non dans leur version la plus basse.*

Воздух, стихия свободы и музыки, служит ступенью для моего взгляда на небо. И тело, быть может, есть та земля, русская земля, в которой русский лучше всего угадывает божественный огонь: *Так душа соединяется с душой, даже через путь тела* — Д. Донн — *Soe soule into the soule may flow, though it to body first repaire*. Как слово, стремящееся выразить мою тёмную душу, обречено доверяться прозрачности мыслей.

Если исключить смирение (сострадание, утешение, жертву) из философских тем, в русской литературе не останется ничего философского, что даст право В. Соловьёву: *Всё русское в этих трудах ничуть не похоже на философию*. Никаких задатков самобытно русской философии мы указать не можем. Когда принимают за великую философию спиритизм, Каббалу, антропотеизм, то насмехаются над брошенным утешением, не посещаемым ни призраками ни фантомами.

Всё, чем я более всего восхищаюсь, отмечено печатью слабости; жалость, которую я испытываю сильнее всего, обращена к этим сиротам, покинутым не только своим отцом — европейским духом, но и своей матерью — русской душой.

Русская культура не доверяет проповедям и изобретает молитвы; она с трудом возвышается до достоинства сакрального, но превосходна в погружениях в смиренную святость. *Я преклоняю колени перед русской литературой, которая столь верно являет собою литературу священную* — Т. Манн — *Die anbetungswürdige russische Literatur, die so recht eigentlich die heilige Literatur darstellt*.

В своих чувствах русский видит высокие идеи и ценит идеи лишь тогда, когда угадывает в них глубокие чувства. *Это таинственное воспламенение русской души и её необузданное наслаждение извергать из себя всё ещё горячим — чувства и идеи —* III. Цвейг — *Jene geheimnisvolle russische Entzündung der Seele und ihre unbändige Lust, Gefühle und Ideen noch ganz heiß aus sich herauszustoßen.*

Бесполезный ум

Для русского, ум достоин наших пламенных признаний в любви — наравне с музыкой или театром. Даже наукой в России занимаются из-за её отрешённости от загнивающей почвы. Ум — это возможность реализоваться в ином месте, достичь того, что уже доступно мечте. На Западе же ум служит прежде всего для того, чтобы избавить нас от пьянящих настроений.

В какой стране ум проявляется лишь в бесполезном? В России, где музыка, поэзия и математика далеки хлопот о мостах, дорогах и инвестициях. Самый одарённый народ на планете, расточающий свои дары по ветру окрылённости, самозабвения, опустошения. Но какая беспомощность в конкретных расчётах!

Пережив два испытания иудейской духовностью — христианством и большевизмом — русский народ остаётся во власти сомнения, отчаяния или цинизма, которые никогда не были источником духовного обновления. Его миссия выполнена — послужить подопытным кроликом. Мечтать больше нечем : *Если где-то ещё таится невоплощённая духовность, то именно в русском народе* — Хайдеггер — *Wenn irgendwo noch ein unentfalteter Spiritualismus schlummert, dann im russischen Volk.*

Одна из задач ума — доказать, что голова не есть нечто незаменимое, и

продолжать поддерживать жаркий огонь в иных местах. *Ум бежит из России; это способствует превращению его родины, покинутой духом, в распростёртого дракона Азии* — Ницше — *In Russland gibt es eine Auswanderung der Intelligenz : so wirkt man dahin, das vom Geiste verlassene Vaterland zum vorgestreckten Drachen Asiens zu machen*. Труднее иметь свой собственный голос, чем свой собственный мозг. Свою оригинальность лучше доказывают капризами чувств, нежели умственными построениями, в которых блещет современный робот: *Русский ум ярче всего сказывается в глупостях* — В. Ключевский.

Чем более одарён русский, тем больше у него душевраздираний. Нечистая совесть в России — признак большой личности.

Англосакс сводит философию к грамматике, француз — к логике, немец — к структуре, русский — к поэтике.

Философия в Англии — интеллектуальная анатомия, в Германии — духовная физиология, во Франции — умственная гигиена, в России — жизненная патология.

Немец постигает силу мыслимого, француз — элегантность выражения, русский — ласку порыва.

У англичанина больше мнений, чем мыслей, у немца — больше мыслей, чем мнений (Гейне). Мнение француза — это мысль; мнение русского — это жизнь.

Чтобы представить себе, как толковый европеец видит место знания, достаточно глянуть на его глагол-фетиш: *under-stand* (смирение), *ver-stehen* (проникновение), *com-prendre* (всеобщность), *по-нять* (высота).

Такие категории как христианская *мы*, гегелевская *диалектика* и марксистская *революция* сделали из России очаг искусственный, отличный от других стран. *Россия — это природный заповедник изначального мироощущения, ещё не затронутого фаустовскими категориями я, анализ или эволюция — О. Шпенглер — Rußland ist ein Reservat eines ursprünglichen Weltempfindens, das von den faustischen Kategorien wie «Ich», «Analyse» oder «Evolution» noch nicht berührt worden ist.*

Всякий французский ум — в остроте; идея ума — это весь немецкий ум; слово и идея, не отягчённые умом и ставшие стоном или иконой, — это русский ум.

Мания как у французов приводит к тому, что пишется столько блестящих трактатов о глупостях; с немецкой одержимостью *что* оказываешься на большой глубине, чтобы жить там в обременяющей тяжеловесности. Русский же не спускает глаз с *кто*; как и *что* приносятся в жертву на алтарь *я* или *мы* — непроницаемых, принимающих форму исповедей, экстаза, зауми, смирения.

В Германии мысль выливается в философию, во Франции — в литературу, в Англии — в политику, в России — в жизнь, эту сеть неопределённостей. В Германии хотят мысли для её переосмысливания, во Франции — для её

выражения, в Англии — для её применения, в России — ни для чего (Чаадаев). *Отсутствие мысли было бы точным определением безумия* — Фуко. Царский указ заклеил Чаадаева как безумца, чтобы тот, не по своей воле, присоединился к Свифту, Ницше, Ван Гогу, Арто.

У европейца — примат понятий, сквозь которые пробиваются лишь тепловатые ощущения, с аффект-понятием как чудовищным унификатором; у русского — примат эпидермического ощущения, единственного источника понятий — аффективных, ангельских или дьявольских. *Русские природные задатки готовы к развитию, но никакое определённое понятие, которое необходимо, не может этого выразить* — Кант — *Rußland ist noch nicht das, was zu einem bestimmten Begriff der natürlichen Anlagen, welche sich zu entwickeln bereit liegen, erfordert wird.*

Живое знание — когда ты умеешь оживлять и поиск, и находку. Беда в том, что чем полезнее сегодня знание, тем фатальнее оно отдаляет нас от вечной жизни. Инстинкт подсказывает это русскому, который в итоге увлекается лишь бесполезным знанием. К полезному знанию он питает презрение; А. Сьюарес понял это превратно: *Всякий русский — нигилист; он презирает всё, чего не знает.*

Всё или часть? — *Призвание русских — дать философию цельного духа* (Бердяев), — это значит забыть, что духовность в великих культурах — русской, немецкой, французской — уже гнездится в части (душе, сердце, уме) нашего целого. Именно бессилие в локальном часто бросает нас в объятия безответственного глобального.

Карамазовы занимаются дешёвой метафизикой, как К. Левин (*Анна Каренина*) — простецким прогрессизмом. И русская революция — не торжество социального над духовным (*Деградация метафизического социальным* — О. Шпенглер — *Herabwürdigung des Metaphysischen durch das Soziale*), а торжество учёной плоти над ремесленной бесплотностью.

У Толстого хорошая культура, и он хорошо ею пользуется; у Достоевского её почти нет. Их гений выражается прежде всего через природу: этика у первого, мистика у второго. *Когда наши порывы исходят с их исконной стихийностью, возникают Карамазовы* — Г. Хессе — *Wenn unsere Triebe, sich mit der uralten Glut ihrer Natürlichkeit regen, dann entstehen die Karamazows*. У Толстого вместо порывов подчёркивается природное благородство — князя Андрея или Анны Карениной, — неведомое ни князю Мышкину, ни Раскольникову.

Россия привлекательна уже тем, что она — единственное место на земле, где дикость и ум вступают в столь тесный контакт во времени и пространстве.

Русское *ничто* — самый весомый вклад в западную философию, которая в поисках достойной противоположности величественному и ложному *бытию* натыкалась лишь на жалкое и вполне реальное *сущее*. Само собой разумеется, что отрицаний в откровенности *ничто* не больше, чем в скрытости *бытия*; это два противника с одинаковой степенью утвердительности.

Новый взрывчатый состав, динамит духа — русский нигилин, пессимизм доброй воли, чьё нет не только сказано и желанно, но и сделано — Ницше —

Ein neuer Sprengstoff, ein Dynamit des Geistes — ein Russisches Nihilin, ein Pessimismus bonae voluntatis, der nicht bloß Nein sagt, Nein will, sondern — Nein thut. Вливание небытия в душу — европейский нигилин, более радикальная практика, чтобы разом остановить, без разрыва, эпидемию справедливости, распространявшуюся в душах, когда ещё были души. Всё разряжается и разоружается через вещизм — этот черепной самозванный наследник угасающего духовного нигилизма.

Единственная состоятельная русская философия — философия глубины [Достоевского](#) или высоты [Л. Шестова](#) и [Бердяева](#) — виталистична и поэтична, ровно как у [Ницше](#) или [Хайдеггера](#), которые возвращаются к Гераклиту или Гёльдерлину и избавляются от тяжеловесности, безжизненной и непоэтичной, [кантов](#) и гегелей.

Часто в [Бердяеве](#), [Л. Шестове](#), В. Розанове видят ницшеанцев, тогда как они выходят прямым из [Достоевского](#), как, впрочем, и сам [Ницше](#), который наполовину француз, наполовину русский; он презирал и нудный стиль и темы [Канта](#) с Гегелем, взяв за смысловые образцы [Вольтера](#) и Стендаля. Его центральные образы — чистота, погрязшая в грехе, сверхчеловек, по ту сторону добра и зла — почерпнуты у [Достоевского](#).

Стиль [Ницше](#) воспроизводит французский смысл и русский тон. Стиль Монтеня, Паскаля или [Вольтера](#) — где тема важнее замысла, а элегантность формы обходится без строгости содержания. Неистовость и консерватизм [Достоевского](#) — где чистота и стыд неразрывно смешаны на одной вертикальной оси. Человек, это известное *я*, *я* всеобщности, *я* ненавистное, это *я* должно быть преодолено сверхчеловеком — этим неведомым *я*, *я* одних начал,

я восхитительным.

Я вижу у философии всего два предмета, вокруг которых ей следовало бы сосредоточить свою речь: утешение и язык. Эти две темы почти не соприкасаются (лишь Платон и Ницше, быть может, умеют их соединять). Всякий великий писатель неизбежно задет зовом одной из этих двух философских ветвей. И здесь, возможно, коренится самое глубокое различие между русской и европейской литературами: первая всегда в сфере утешения (спасения, стыда, жалости), вторая — в сфере языка (представлений и интерпретаций).

В глазах русских, философия спокойной совести, столь распространённая среди европейцев, есть такое же извращение, как и страстная бухгалтерия. Ни один русский не блистал в этом неблагодарном ремесле; лучшие русские умы предаются *ленивой лирике экстаиков* — В. Янкелевич — *au lyrisme balbutiant des extatiques*.

Европейский интеллеktуал пишет романы, его американский и русский собраты посвящают себя физике. *Пять европейцев из десяти — интеллеktуалы. Такого рода внесоциальных интеллеktуалов не существует ни в США, ни в СССР* — А. Моравиа — *Cinque Europei su dieci sono degli intellettuali. Questo genere di intellettuali non integrati non esiste negli Usa e nell'Urss*. Правда, вместо этого обширного стада там находятся когорты роботов — в Америке, и орды жалких рабов — в России.

Я признаю за Францией пальму универсальности, но лишь потому, что

вижу, что сердце (Германия) может быть только национальным, душа (Россия) ближе к звёздам, чем к земле, тогда как разум — вещь самая космополитичная.

Русский не понимает европейских ценностей и самопровозглашается нигилистом; он продвигается ощупью во тьме и приукрашивает её псевдо-эсхатологическим умонастроением. *Француз бывает догматиком или скептиком; немец — мистиком или критиком; русский — апокалиптиком или нигилистом* — Бердяев. Европейец ясно видит социальную роль разума и оставляет капризам личности диалог с сердцем или умом. Русский живёт в их мешанине; его душа так редко ладит с разумом.

Мой бывший соотечественник А.Кожев способствовал тому, чтобы превратить этого жалкого Гегеля в величественную статую в головах французских мыслителей. Я сделал всё, чтобы изгнать его оттуда.

Знание, для русского, должно вырвать человека из варварства и принести ему блаженство. Хорошо переваренное знание производит лишь ироничные и гордые метафоры мужа. *Не должно привязывать знание к душе, оно должно в ней воплощаться* — Монтень — *Il ne faut pas attacher le savoir à l'âme, il l'y faut incorporer*. Бодлер мог бы стать французским Ницше (тогда как у М.Пруста не было никаких шансов — ни таланта, ни благородства, ни знания), если бы его выпады были приподняты чуть большей дистанцирующей иронией; один издевался наб благом Распятого как апофатическим принуждением, тогда как другой выдал себя на посмешище изобличаемой им же красотой. Французский язык подталкивает к выбору одной из противоборствующих сторон, что и объясняет неудачу ницшеанских искушений Валери.

Центральное понятие в нашей внеязыковой машине — это идентичность, унификация (*Единое*, дление с её феноменологическими переборами: *являться, сообщать*; или эпистемологическими: *знать, мыслить*; или онтологическими: *быть, существовать*). Ни один язык не покрывает всех граней унификации — философствовать можно лишь благодаря пробелам смысла глагола *быть*. Любопытно, что у французского языка есть лишь слово *même*, тогда как у других мы находим *same* и *self*, *derselbe* и *selbst*, *тот же* и *сам*. Француз не различает идентичность объектов с разными референциями (тождество) от идентичности с автором описания (самость).

В суждении *Я мыслю* переменная *Я* (во французском она явна, в латыни, испанском или итальянском — она подразумевается) должна унифицироваться раньше предиката *мыслить* (и даже до предикатов *страдать, бояться* или *желать*, гораздо более близких к *сути*, чем *мыслить*), а значит, вопрос о её существовании встанет прежде, чем мы займёмся мышлением. Об *Я*, унифицированном с неким человеческим существом, снабжённым предикатом *мыслить*, было бы более разумно сказать: *я есмь, следовательно мыслю* (по-русски, использование непереходного глагола *быть* — почти невозможный анахронизм). Это суждение кажется наивным, однако оно более чем разумно. Впрочем, здесь речь идёт о замкнутых, неподвижных представлениях, чего нет у Декарта, который ищет представления для замкнутости.

Все, кто приветствует эволюцию или расширение психической, поэтической или интеллектуальной природы человека, систематически проявляют странную глупость. Вот, например, жемчужина человека прогресса: *Современная мысль достигла значительного прогресса, сведя существующее к ряду явлений, которые его выражают* — от этих отвратительных рассуждений,

секрет которых ведом лишь офранцузенным немцам; американизированный русский усмотрел бы в этом даже романтизм.

Что должен понять француз, когда ему говорят о *наступлении бытия* или о *прибытии сущего* по-хайдеггеровски? Иронический и откровенный смех был бы тут вполне уместен. Тогда как хорошим переводом было бы: перенесение (Überkommenis) ноуменального в явление (Ankunft) феноменального — банально, известно со времён Платона, формализовано [Кантом](#).

По-русски *бытие* и *становление* отражают противоположность горизонтальности и вертикальности. В отличие от вневременного Бытия, Становление для француза — это путь, тогда как для немца, особенно для немецкого филолога, оно лишь начало, зарождение. Как в греческом, где глагол *становиться* означает *рождаться* и родственно слову *genesis*.

Ум, в России как и в Европе, отныне прилагается к делам мелким. Но если в Европе я вижу не так уж много той самой пресловутой неизлечимой глупости, которую все изобличают, я вижу, как эта глупость заражает всё подряд в русском клептократическом режиме. С другой стороны, в Европе я вижу столько этой невыносимой, загнивающей утончённости, которую все вдыхают полной грудью, не жалуясь. В России ум отмирает в 23 года, когда надо, наконец, начинать жить за взятки или пригублять водки.

Россия утратила жалость к мужику и аристократизм интеллектуала, что сделало её чуждой философии. Цель философии — утешение, её форма — ум, её содержание — благородство. Если не хватает хоть одного из этих

компонентов, здание становится необитаемым. Благородство существует лишь в Европе, посему философом можно быть лишь в той мере, в какой ты европеец.

Слова возникают и принимают окончательное обличье поверх представлений; идеи же, вернее их смысл, обращены к реальности. Европейская философия сосредоточена в словах; восточная обращена к идеям. Оттого хороший европейский философ может быть праздным или трудящимся, подлецом или святым, и это не тревожит его почитателей, тогда как восточный философ должен истекать слюной о своих кулинарных, климатических, гимнастических опытах, чтобы доказать состоятельность своих теорий. Русскому философу плевать и на слова, и на идеи, которые схватывает один ум; его страсть — улавливать свои собственные состояния души.

Русский интеллектуал видит себя понимающим преобразований. Европейский интеллектуал определяет себя как преобразователь понимания; он не понимает, что последний болван не меньше его преобразует понятия. А то, что должно бы их отличать, это близость к благу, красоте и истине, близость, которая шла бы от вслушивания, а не от деятельности. У кого хороший слух, у того хороший письменный стиль; писать — это вызов деланию и противоположность говорению.

Место прекраснейших русских мечтаний находится, очевидно, в не-сущем. Но оно, а не бесстрастная всеобщность, было бы даже источником и прекрасных мыслей. Кто видит в яви, в Истории, вездесущего Бога, рисует о Нём, обычно, весьма невзрачный образ. Как не оправдать интереса к [Хайдеггеру](#), ведь весь он — это пламенный порыв к несуществующему бытию, что ведёт нас к всеобщности.

Люди исчерпали идею Божества и, находя европейское я слишком прозрачным (а русское *мы* — слишком непроницаемым), обратились к оккультному *Бытию*, менее человеческому и чуть менее глупому, чем *Существование*, чьим Пастырем было бы я (или *мы*). Человек был бы существом грядущим, сводящимся к Истории, автор был бы безжизнен, а вселенная целиком отражалась бы в языке, онтология стирала бы метафизику. Источники нового анти-гуманизма.

Можно было бы назвать бытием вещи разницу между её реальностью и её представлением; русский помещает эту разницу в высоту. *Бытие не есть ни цвет, ни материя, ни идея, ни душа, ни Бог; оно есть чистое «сверх»* — А. Лосев. Ни широта, ни глубина не могут дать того, что одна лишь высота расточает: благословения, оправдания, смысл. Вероятно, одна высота вдохновляет молитву, мечту и энтузиазм.

Божественная реальность — в предметах пространства-времени. Отражённая человеком, она становится двойной человеческой реальностью: бытие по-европейски — эта чистая абстракция (но ничуть не отклоняющаяся от божественной реальности), а становление по-русски — механическая фатальность или свободное творение. *Динамика так же механистична, как и статика* — Л. Шестов. Чтобы избежать механики, стиль, по Ницше, должен снабдить становление творческое — интенсивностью бытия.

Случай, имея почётное место в царстве чувства, унижает всякую мысль в республике ума. В России вес случая — в климате, географии, политике — заражает мысль. *Произволу власти соответствует произвол мысли* —

В. Ключевский.

Русская философия видит своё призвание в *раскрытии разумом вселенской истины* (Бердяев) — отправная точка неизбежных бредовых словесных логоррей. Европейский философ — *истолкователь действия или поэтизатор мечты* (Ницше) — *Umdeuter der Tat oder Umdichter*. Русским поэтам не хватает действия, а мечтателям — истолкования.

Призвание немца — делать вещи более весомыми; француза — делать их более лёгкими; русского — делать их подавляющими или невесомыми.

Немец хочет, чтобы его мысль была благородной, русский — чтобы она была безумной, француз — чтобы она была надёжной, англичанин — чтобы она была ироничной. И какой подвиг — собрать эти качества в одной мысли! Найти эти четыре характеристики можно только у В. Набокова, но вот беда — у него нет мыслей...

Искусство насилия

У русского нет дара в искусстве афоризма ; его чувства бьют через край, он хочет всё охватить потоком образов или мазков мэтра. Лаконичное сосредоточение — не его жанр. Я ищу компромисс, пытаюсь втиснуть картины в миниатюры. Но зрителю я советую не лупу, а глаза, благоразумно закрытые.

В гармоничных странах искусство проистекает из императивов логики спроса-предложения. В странах-лохмотьях, как Россия, оно лишь роскошный пришелец, содержимый неплатёжеспособными. Русский пример доказывает, что чем больше места в искусстве оставляют человеку, тем больше получается искусства для искусства, то есть освобождённого от людей.

Главная привлекательность русской культуры: *Пиши под влиянием невозможного реального* — М. Бланшо — *Écris sous l'attrait de l'impossible réel*. Виртуальная реальность никогда не привлекала русские перья. *Россия стала для меня реальностью и одновременно глубоким, повседневным осознанием: что реальность есть нечто далекое* — Рильке — *Rußland wurde für mich die Wirklichkeit und zugleich die tiefe, tägliche Einsicht : daß die Wirklichkeit etwas Fernes ist*. И русская неспособность объективно общаться с реальностью посредством всего осязаемого поддерживает эту животворящую дистанцию.

Другие трогают нас, неся нам добро; русский художник трогает нас

касаясь мест, где больше всего.

Прогресс — это уничтожение в добром дикаре его исконной природы. Русский писатель — с природой; медведь, голубь, волк вживаются в его страницы чаще, чем изящные изыски культуры. *В каске с шипом больше образованности, чем в казаке; но жизнь казака не так уж далека от Достоевского, как каска от Гёте* — К. Краус — *Die Pickelhaube ist gebildeter als der Kosak ; aber er lebt nicht so weit von Dostojewski wie sie von Goethe.*

Я сознаю, что блуждаю по путям, чуждым для русского странника. Я изгнанник всех моих родин, даже литературных.

Образ проклятого художника — во Франции потрясающ, в Германии удивителен, в России банален. В англосаксонском мире, интересующемся только успехами, он смешон.

Жизнь в России была столь тускла, что человек искал пестроты в себе самом. Окружающая суровость побуждает русского воссоздавать картины и мелодии, пришедшие из ниоткуда. И, инстинктивно и почти наугад, он касается, таким образом, пружин гуманистического искусства.

Вплоть до последнего крестьянина это нация художников; цель большевиков, этой аристократии американизированных евреев, — сделать их индустриальными и как можно более янки — Б. Расселл — *They are a nation of artists, down to the simplest peasant; the aim of the Bolsheviks, this aristocracy of Americanised Jews, is to make them industrial and as Yankee as possible.* Но земля обетованная оказалась землёй выжженной. Конвейеры быстро обернулись несколькими

дополнительными цепями крепостничества. Художник в душе, раб в голове, бродяга в духе — он доказывает лишь одно: его настоящая жизнь — не здесь.

Каковы бы ни были излияния из-под его пера, хорошего писателя узнают по ощущению белой страницы как самой верной опоры его остроумия. *Русские пишут между строк вместо того, чтобы писать на них* — Ж. Ренар — *Les Russes écrivent entre les lignes au lieu d'écrire dessus*. У плохого писателя — унылая инерция строк века направляет и ограничивает его. Оставаться на линии, без падений и взлётов — значит не покидать плоскости.

У земли есть свой фольклор, как у неба — своё искусство; у повседневности тоже есть свои грации и тяжести, которые фольклор возвышает; и душа должна быть довольно широка, чтобы ценить и *auprès de ma blonde*, и песни русских ямщиков, и слышать в них лишь возвышение, ласковое или тоскливое!

Искусство есть владение отклонениями от реальности; но большевистский ужас был столь кричащ, что в искусстве, призванном прославлять режим, только выдумка, цельная, монументальная и лживая, могла угодить заказам вождей — простор для истинного художника! Оттого так много в России прекрасных песен и фильмов, где царит воображаемое, а реальность блещет своим полным отсутствием.

Поэзия может иметь три господствующих тона: молитва, речитатив, стон — дыхание, посвящённое высоте, широте, глубине. Чудо русского Серебряного века в начале прошлого столетия — три великие женщины-поэтэссы, каждая в своей тональности воплотившая этот идеал: З. Гиппиус,

А. Ахматова, [Цветаева](#).

Немецкие археологи, поэты или искусствоведы бороздят Грецию, Францию или Италию и подражают чистоте, величию или красоте, увиденным, понятым и переваренным; русские мечтатели подражают миражам других, без их жажды, без их восторгов, без их карт; вот почему русская культура более оригинальна. Потому что более выдумана.

Дьявол бродит по немецким литературным горизонтам; ангел нависает над русскими перьями. И Паскаль, возможно, прав: играя зверя, немец влюбляется в ангельскую чистоту (Reinheit); играя ангела, русский открывает в себе демоническое, хтоническое *своеволие*. *Если бы Люцифер был русским, он предпочёл бы быть самым сокровенным из ангелов — этот крайний стиль бунта — Ортега-и-Гассет — Si Luzbel hubiera sido ruso, habría preferido ser el más íntimo de los ángeles, este último estilo de rebeldía.*

Чувствовать свою мысль — русский подход, мыслить своё чувство — европейский. Ничего не выдуманного или одна выдумка. Подлинность оригинала не имеет почти ничего общего с подлинностью образа, посему подход художника — держаться на равном расстоянии и от чувства, и от мысли.

Русская метафора всегда бородата, тогда как *французская усата* — Бодлер — *la métaphore française porte des moustaches*. Гусар и монах, сабля и кропило, кровли и кельи. Иногда соединены: отец де Фуко и отец Сергей.

Я могу судить о рифмоплётах европейской страны после беседы с одним из её автомехаников или банкиров. Но у русского поэта нет родины.

Ни [Достоевский](#), ни [Толстой](#) не породили во Франции талантливых последователей (нельзя принимать всерьёз Бернаноса или А.Франса); тем более удивительно, что [Ницше](#) и Витгенштейн — их восторженные и проницательные наследники.

Великие русские художники никогда не смешивались с толпой. Какой контраст с Европой, где вписывание в жизнь происходило без труда и в самой гуще сборищ! Паскаль и его торговля извозом, Бодлер с его *Монитором бакалейной торговли*, П. Клодель и *Мистика ювелирных изделий Картье*, и даже [Валери](#) с *Похвалами воде Перье*. А вот самый байронический русский герой, Евгений Онегин, насмехается над Гомером и восхищается А. Смитом.

Убийца [Пушкина](#), Ж. д'Антес, один из будущих отцов SNCF (как Паскаль со своими омнибусами — те, что дали RATP) и сенатский кошмар Гюго, этот д'Антес был сообщником А.Дюма-отца, который позаимствовал его имя для Эдмона Дантеса, этого искусного спекулянта, вершившего месть ударами тёмных биржевых махинаций и рекомендовавшего даже в завещании своим наследникам, обученным банковскому делу, вложения под 18%.

У культуры есть два возможных основания — комфорт моей цивилизации и дискомфорт моей души. Уютная западная цивилизация успокоила душевные смуты и отныне диктует все культурные устремления. Ужасная русская цивилизация служит лишь апокалиптическим убором, на фоне которого разыгрываются трагедии беспочвенных душ.

В русском цивилизационном голоде всякая культурная пища

пожиралась жадно и без разбора. В Европе культура занимает уютное место где-то между гастрономией и туризмом.

Чтобы представить книгу, француз назовёт её издателя, немец — книготорговца, американец — тип обложки, швейцарец — предполагаемое число часов чтения, русский — род слезы или смеха, который он хотел бы разделить.

Английский театр славится словом, немецкий — образом, французский — витиеватостью, русский — состоянием души. Искусство, поэзия, декор, человек.

Непростительный недостаток писателя в их глазах: у англичанина — слабое чувство юмора, у француза — стиль, лишённый строгости, у немца — недостаточный музыкальный слух, у русского — мало стыда во взгляде.

Эпистолярный жанр удаётся лишь в странах, где автор и человек — не одно и то же лицо. Немец, с его культом объективности, единства и последовательности, в нём особенно ничтожен (нет реального эквивалента Гипериона или Вертера), тогда как француз (Флобер или [Валери](#)) и русский ([Пушкин](#) или Пастернак) в нём превосходны. И какая ужасная потеря — письма [Цветаевой](#) к Пастернаку, забытые в метро.

Другой пример недоразумения. Русские литературные персонажи, ценимые в Европе, представляют идеи или поведения: Раскольников, Иван Карамазов, Анна Каренина. Тогда как сами русские больше привязаны к тем, кто воплощает их душу: Татьяна Ларина, Наташа Ростова, Алёша Карамазов, Три сестры.

Госпожа Бовари или *Анна Каренина*: мелодраматическая последовательность и порядок прозрачных расчётов — с одной стороны, или трагическая фатальность и произвол слепой страсти — с другой. Решение в хорошем стиле или тайна в хорошем ритме.

Столько проектов, амбициозных, прозаических и в хорошем порядке, в европейской письменности; русский же изливает тот поэтический субъект, которым он себя мнит. Порядок в поэзии — часть тех ограничений, которые должны оставаться неявными. Но у рассудочников, не знающих животворящего поэтического беспорядка, в слове водворяется лишь механический порядок. *Я более люблю стихи без плана, чем план без стихов* — Пушкин.

Я люблю Пушкина за то, что он гораздо больше чем русский, Достоевского — за его аллегорические истерики, Толстого — за его трепетные толкования Евангелий, А. Ахматову — за то, что она избегала жизни в повседневности, Цветаеву — за то, что она была ею преследуема до задыхания, Пастернака — за то, что он нашёл в ней интонацию, В. Набокова и Солженицына — за их язык. Никаких избитых причин.

Если бы русские только подражали Пушкину, у них была бы европейская литература, как у всех, с человеком в центре. Но они отдали ему своё сердце, душа обратилась к человеку — и это дало великую русскую литературу.

Россия: пушкинский ангелизм, *Мёртвые души* Гоголя, *Демон* Лермонтова, обломовский сон, подполье Достоевского, толстовское чистилище, горьковское дно, солженицынский ад — одни кулисы, ничего на авансцене. Жизнь обходят стороной, вместо того чтобы играть в ней

свою роль. Предпочитают быть неистовыми или непристойными — вне здравого смысла, вне сцен — чем чувствовать себя слишком близко к рампе.

Когда я перебираю романы-реки Бальзака, Золя, М. Пруста, Дж. Джойса, я думаю о романах-истоках [Достоевского](#) и/или романах-дельтах [Толстого](#).

Детство глубже настраивает наши струны, чем наши слова; так просто найти в других племенах таланты, равные [Пушкину](#), [Толстому](#) или Пастернаку, но, в отличие от слушания Баха, Моцарта или Бетховена, я не чувствую никакой нужды искать причину, никогда не достаточную, той дрожи, что идёт от отрывка Чайковского, Рахманинова или Прокофьева.

Более чем достоинствами своих генералов или историков, Россия выходит победительницей из испытаний Чудского озера, Москвы-реки и блокады Ленинграда благодаря С. Эйзенштейну с *Александром Невским*, Чайковскому с *Увертюрой 1812 года*, Шостаковичу с *Седьмой симфонией*. И там, где *Летят журавли*, принимают поражение и, рыдая, устремляют взгляд к небу.

Одним из первых приказов Гитлера, после запуска плана Барбаросса, был запрет упоминать публично имена русских поэтов и композиторов! Одна из жертв — фильм, поддерживаемый Геббельсом, о Чайковском, где германский сверхчеловек внушает ошеломлённому эпониму добродетели труда (как Роден — [Рильке](#), или западные режиссёры — зрителям *Трёх сестёр* или *Дяди Вани*, где русский слышит лишь вздох или рыдание уходящих юности, таланта или любви), тогда как эйзенштейновская *Валькирия*, сосредоточенная на сострадании, оставалась на сцене Большого

театра.

Советский эпизод: неинтересный ужас. Дебилы, удушающие стерилы, пассивные, истребляющие активных, мерзавцы, преследующие ничтожества. Русский Серебряный век был чистым чудом, лебединой песней на вершине культуры, которая, вероятно, должна была господствовать над всей Европой и которую большевики прикончили, чтобы воздвигнуть на её месте самую отвратительную из цивилизаций.

Ужас СССР помог поддерживать статус культуры через алогизм, иррациональность, исторический дискурс, страсти. *Чем более ужасные и великие страсти может позволить себе народ, тем выше его культура* — Ницше — *Je furchtbarer und größer die Leidenschaften sind, die ein Volk sich gestatten kann, umso höher steht seine Cultur*. Плоскость США — в бескультурие рационального знания вне всякой Истории.

Дебильность её политиков, уродство её архитекторов и неуклюжесть её инженеров сделали из России пугало мира. Но сами русские в ней себя не узнают; они живут своими музыкантами и писателями.

Толстой без Евангелия так же пресен, как Достоевский без Сатаны или Пушкин без Эроса. Такой стала Россия свиней, стерегущих жемчуг.

В нынешней России, когда поражаешься литературной пустыне (или, вернее, этому хлеву, кондиционированному и глобализированному, как и все прочие — *Культурная ничтожность послесоветского времени отравила мне Родину* — И. Кублановский), понимаешь, что большинство её былых талантов нуждалось в тирании для поддержания своего пафоса.

Ошеломляющая посредственность свободных русских перьев в ХХI веке! Полное забвение великого наследия: *В русской литературе ещё вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни "проклятые монголы"* — И. Бунин — хотя ныне они, скорее, американцы. *У русской литературы одно только будущее: её прошлое* — В. Замятин.

Этот парадокс: у театрального **Достоевского** — неумолимая логика несуразных персонажей; у естественного **Толстого** — случайность поступков здравомыслящих героев. Именно толстовская случайность, а не достоевское рассудочничество лучше отразилась в Русской революции. **Дж. Штейнер** всё увидел превратно: *Кое-какие надежды Толстого и большая часть опасений Достоевского сбылись — Some of Tolstoy's hopes and most of Dostoevsky's fears were realized.*

В своём списке лучших романов мира слишком покладистый У.Моэм всё же отводит последние два места **Достоевскому** и **Толстому**; какие же светила их превосходят? — Э. Бронте, Дж. Остин, Г. Филдинг...

Русофобы всегда отыщут казака у **Достоевского** или **Толстого** (и даже в итальянском гимне: *il sangue polacco bevé il cosacco*), но когда речь заходит о таком чисто европейском гении, как Чайковский, они в замешательстве. Тут требуется запредельное усилие. *Чайковский: красота вне знания — это воля к удовольствию, эффективная музыка, своего рода сентиментальная демагогия искусства* — М. Кундера — *Tchaïkovsky : la beauté en dehors de la connaissance, c'est la volonté de plaire, une musique efficace, une sorte de démagogie sentimentale de l'art.* Музыка, посыпанная силлогизмами, в прагматическом жанре почасовых тугодумов, стремящаяся оттолкнуть от себя и терпящая при этом неудачу, — вот такую музыкальность и следует посоветовать этим шавкам политиканского

гавканья. *Никто лучше Чайковского не выразил слияния между порывом к бесконечности и тревогой перед судьбой, которая так свойственна России* — Д. Фернандес — *Nul mieux que Tchaïkovsky n'a exprimé ce mélange d'aspiration à l'infini et d'angoisse devant le destin, qui caractérise la Russie.*

На Западе так редко глашатаи русских поэтов и философов; приходится довольствоваться бродягами-чужестранцами вроде П. Целана или [Чорана](#); зато их собратья по перу, орды профессоров бизнес-школ, безошибочно проталкивают американские комиксы, детективы или книги ужасов, с помощью маркетинговых хэппенингов.

Престиж русского искусства продолжает неуклонно падать, ибо его главный источник — душа, и цениться оно может только душами, которые, увы, атавистичны в современных грудных клетках. Уже полтора века проблема культуры не в её функции, а в её органе; повсюду, где царила индивидуальная душа, водружается, в качестве единственного судьи, коллективный дух. Зло не в слабой критичности ума, а в слабой аристократичности души.

Русское сердце экстаично, его ум шаток, лишь душа не спускает глаз со своей звезды. Но идеальный профиль писателя предполагает иметь одновременно ум философа, душу поэта и сердце музыканта. Таковы [Ницше](#), [Валери](#), Пастернак — наилучшие из иллюстраций!

Почему гармония так часто отказывает русскому художнику? — потому что он ищет распушенности дионисической мелодии, а срывается на аполлонические уравновешенные ритмы. И его художественный накал совместим скорее с благородной слабостью, нежели с низкой мощью.

Гармония могла бы быть ладным согласием ритмов и мелодий, мозга и души.

Опьянение — желанное состояние русского художника. Но повсюду утвердилось трезвое и прямолинейное письмо; никаких следов опьянения гиперболического (Шатобриан и [Достоевский](#)), параболического ([Вольтер](#) и [Ницше](#)) или эллиптического (Гюго и [Толстой](#)).

Трагедия должна проходить через меланхолию, через эту жажду, рождённую из конфликта между лирическим желанием, эмпирическим долгом и аристократической ценностью. Вот почему трагикомедии, переживаемые чеховскими персонажами, выше комитрагедий, которые разыгрывают пресыщенные властью (Иов, Андромаха или Гамлет) или наглотавшиеся знанием (Фауст или Манфред). *С глубоким болью узнал бы я, что в будущем не родится ни один новый Чехов — Г. Хессе — Es wäre mir ein tiefer Schmerz zu wissen, daß es künftig keinen Tschekow mehr geben werde.* Исчезли трагедии и комедии, и даже водевили стали механическими.

Русский художник интуитивно вкладывает в своё искусство целые оси — от Добра до Зла, от силы до слабости, от верности до жертвы, от гордости до смирения, от близости до удаления. Поэтому его искусство так далеко от жизни, то есть от здравого смысла, который заставляет нас склоняться к одной крайности — этическому выбору, с его трагедией — убожеством дел.

Гармония трёх сфер русского существования — суть, владение, делание — невозможна, что и объясняет драматизм древа его личности. Древа, все ветви которого перегружены личными неизвестными, с трудом поддающимися унификации.

Только поэты придают небу свою высоту; только философы достигают глубины земли. Бедная Россия, отныне лишённая и тех и других, бредёт по пустыне, плоской, безлюдной, застывшей. *Россия — земля поэтов по преимуществу* — А. Бадью — *La Russie est la terre des poètes par excellence.*

В русской поэзии господствует музыка звука (это высота, предназначенная, как правило, для пения); в немецкой — музыка смысла (это глубина, скорее философская задача); во французской — обе музыки присутствуют, что, быть может, есть самое гармоничное решение, но ему грозит горизонтальность, плоскость.

Русский нигилизм происходит из метафоры отношений между отцами и детьми; отец там может быть и Богом, и Царём, и родителем — симпатичным (Тургенев, Толстой) или чудовищным (Достоевский, Чехов). Чтобы свести их к одному образу, остаётся ремесло мыслеведения, но оно мешает нам держаться наших собственных начал. Нигилистом становится тот, кто не хочет опираться на плечи предков.

В России, как и в Германии, научная Истина и художественная Красота суть цели сами по себе, что объясняет глубину германского размышления и высоту русского энтузиазма. Но *во Франции наука и поэзия суть средства, а не цели* — Пушкин.

Творить по-французски — это попросту интерпретировать, в обоих смыслах: музыкальном и логическом. Акт перевода, предъявляющий свои дипломы. По-русски творят лишь землю и небо, свет и тьму, послушание и бунт.

Определять — часть писания; чем больше её доля, тем умнее, как правило, перо. Ещё одна причина приписать Франции роль родины ума: в какой ещё стране, чтобы узнать, что такое видеть, слышать, чувствовать, стали бы сверяться со словарём? В России же, говорят, есть два рода чтения: в состоянии опьянения или трезвости.

Когда неодолимая скука одолевает меня при чтении У. Фолкнера или Дж. Джойса, я понимаю, что ум существует лишь во Франции, ибо их собрата, М. Пруста, я одаряю зевками заметно реже. В их внешних диалогах, как и во внутренних монологах, слово всегда лишнее, оно заполняет клетки механических таблиц. Будь-то с помощью головы или же ног, результат заполнения почти одинаков с точки зрения высоты. Идиоматизация серостей, ведущая к идиотизму. К счастью, у русских есть их грациозный [В. Набоков](#), без хлопот об урбанизме, простолюдинах или элитах.

Состояние современной поэзии (стихосложения), живописи, музыки — агония. Следующий катафалк ждёт театра (с англичанином), архитектуры (с французом), философии (с немцем). В литературе и на сцене выживает лишь развлекательно-унизительная болтовня, чтобы возбуждать пресыщенных. Причина та же: угасание поэзии как состояния души при отсутствии душ. Они ищут, как сотрясать умы, тогда как искусство — желание и дар ласкать души. Русские, с их памятью-дуршлагом, не подозревают о пропасти, отделяющей их от предков в литературе, театре, музыке.

Как повезло Франции с [Вольтером](#) и Шатобрианом в качестве дополняющих друг друга судей в эстетике! Всякий хороший французский

писатель должен постоянно иметь их в виду: ирония первого помешала бы ему предаваться лишь восторженному, а благородство второго отучило бы его посещать лишь жанр насмешливый. Русские же слушают наставительного Толстого, а не ироничного Пушкина.

Все французские поэты до Арагона были одержимы орфографией в поисках своих рифм; они говорят вам о музыке (П. Верлен), о голосе (Валери), о пении (А. де Мюссе), об опьянении (А. Рембо), тогда как кажется, что их прежде всего занимает присутствие этих жалких немых *e* или непронизносимых согласных... Забота, совершенно неведомая немцам и русским.

Литература строится в три слоя: слова, тона, идеи. Первые два должны воссоздавать его музыку; любая их неудача обесценивает идеи. Всякий недостаток нижнего слоя фатально отражается на качестве последующих. Французский язык остаётся для меня немым, я лишён диалогического инструмента, столь необходимого, и обречён безответственному монологу. Русский — тот, кто оставляет инициативу тону (как Малларме её предоставляет голому слову).

Бескорыстное восхищение — так русский толкует кантовское определение удовольствия от созерцания Прекрасного. *Целесообразность без цели* — *Finalité sans fin*, эта белиберда, — официальный перевод на французский того же кантовского понятия. Красиво для уха и глупо для ума. *Vorstellung ohne Interesse an seinem Dasein und ohne Begriff* — *Représentation, sans renvoi à la réalité et sans concepts* — *Представление, без отсылки к реальности и без понятий* — прекрасное определение поэзии (которое не следует обобщать на всё искусство). Понятия рождаются из выражения мысли, этого метафорического представления,

оторванного от реальности с помощью языковой дерзости.

Совершенная литература замышляется вдвоём: талантом, возбуждённым языком, понятливым и предприимчивым. Это — оплодотворение. И с долей иронической и расстроенной горечи я признаюсь, что обречён просто лишь на творение, ибо французский язык остаётся безучастным к моим отчаянным зовам.

Опьянение взгляда, ведущее к чудесной глоссолалии — такова была недостижимая цель этой книги. Но настоящий взгляд, как и настоящий глагол, может родиться лишь в диалоге. Язык должен смотреть на меня в упор, говорить со мной, порой упреждая меня, и вносить в меня свою долю верования и опьянения. Чревовещание, то есть творение помимо моего ведома, должно встречаться только в изложении моих страстей. Не погружая мозг в тайну и не лишая тайны — душу.

Размышляя о наилучших условиях для художественного слова, о тоне и проникновенности, о которых я мечтаю, я завидую несовместимым судьбам тех, кому завидовали [Толстой](#) или [Чоран](#) — судьбам каторжан или ссыльных — и с обратной им целью. Они — больше подлинности и смирения; а я завидую Ж. Жуберу или Амьелю, их парижским салонам и швейцарским кафедрам, где их желчь и скорбь доказывают полнейшее высокомерное выдумывание.

Изгнание — самое благоприятное состояние духа для свободного слова, оттого столько отличных перьев среди русских каторжан. Псалмы Давида, Петрарка, Данте, Дж. Бруно, [Рильке](#), [В. Набоков](#), [Чоран](#). Мир души, ставший надёжной родиной современного француза, делает перспективу внутреннего изгнания привлекательной лишь для Декартов и

Гюго.

В конечном счёте, именно между ангелом и зверем, внутри одного персонажа, разыгрываются подлинные трагедии. Противопоставлять добрых злым, глупцов умникам, свободных раболепным — это антихудожественный ход. *Противоположности характеров — вовсе не искусство, но пошлая пружина французских трагедий* — Пушкин.

В России, после озорного [Пушкина](#), ирония, увы, стала лишь синонимом лёгковесности. Однако вместе с темпераментом и высотой она входит в главные дары писателя, каковыми обладают, порознь и безраздельно, три французских мастера: Л. Блуа, [Валери](#), [Чоран](#) (в Германии — надменность и нигилизм Шопенгауэра и гордая осанка [Ницше](#)). Не достигая вершин каждого в его особенности, эта книга хотела бы достичь их равновесия.

Единственное интересное определение нигилизма (европейского) было сформулировано [Ницше](#) — начала подлинного художника не могут более опираться на других. Они (включая Бога и национализм) мертвы для него, и не способны стимулировать его творчество. Остальные критики нигилизма (по-русски) примешивают к нему отношение к родине: очеловечивание её (Тургенев), сострадание к ней ([Достоевский](#)), отстранение/привязанность (беспочвенность [Л. Шестова](#), родная почва [Хайдеггера](#)).

Не то чтобы русский, как, впрочем, и европеец, больше не любит своих поэтов-современников, — что драматично, но то, что он прав.

Только посредственности утверждают, что французский — не язык

поэзии. По-русски или по-немецки легче восполнить недостаток эмоций потворством языка, тогда как французский язык по сути своей ироничен, испробовавши столько неудавшихся течений. Французский поэт более одинок, более уязвим, и его задача тем более рыцарственна.

Русский и немецкий полны движения, их фразы усеяны бьющими наружу лексическими выплесками. Это не годится для афориста, ищущего самодостаточности своих самоцветов. Но они должны быть оживлены динамичной и властной внутренней гармонией. И этого недостаёт английскому. Прекрасная мысль независима и благородна только по-французски.

Европеец, заботясь о своём уме, пичкает свои излияния мыслями, а русский, одержимый своей душой, — чувствами, и то и другое может быть достойно уважения. Но хороший художник знает, что следует вкладывать в своё творение лишь человеческую музыку и отзвуки божественных тайн (а те дают материю и для души, и для ума). *Ищу союза волшебных звуков, чувств и дум* — Пушкин.

Я могу лишь поздравлять русских — они обошлись без прустоподобных. Пруст был одним из первых, кто расплодил в Европе роботизированную чувствительность. Эта пагубная работа была тем более глубокой и необратимой, что она пересматривала и переформулировала само содержание искусства. Например, после прослушивания музыкального произведения Сванн представлял себе его протяжённость, симметричные группировки, графику — у меня нет даже желания задуть такого знатока, ибо я вижу в нём лишь зубчатые колёса, лишённые всякого атрибута души.

Страдая одними и теми же физическими недостатками, исповедуя один и тот же романтизм перед Историей, Женщиной и Античностью, умершие в одном юном возрасте — какие невероятные параллели между Байроном, Пушкиным и Дж. Леопарди!

В Европе художник предаётся измеримому, количественному, знаковому времени; в России он реагирует на судороги своей эпохи и остаётся безучастен к её ускорениям. Угадать за мимолётной яростью времени — величественную неподвижность пространства. *Прекрасное должно быть величаво* — Пушкин.

Русский художник раздираем между изначальным хаосом и собственным самозванством. Нечленораздельная гармония (божественный голос, бормочущий свои теории), до-членораздельный хаос (тёмное оправдание моих моделей), членораздельная гармония (дерзость искусства-самозванца, влекомого к теории поверх моделей) — искусство становится там холодным гимном горячему хаосу посредством горячей и непостижимой гармонии.

Русский остаётся верен поэтическому источнику искусства. Не случайно первыми искусствами в Европе были поэзия и театр: поэзия удовлетворяет первую потребность души — музыку во взгляде, в слове, в жесте; а театр удовлетворяет первую потребность ума — создавать абстрактные сцены, на которых разыгрывались бы трагедии или комедии, переводящие замысел Драматурга, привлекая талант актёров, изобилие декораций, пространственные ограничения, словесные ресурсы и финальные развязки. Даже философский ум начинался с самого поэтического жанра — с афоризма, в котором русский блистал мало, за неимением философской культуры.

Слишком много известного в европейской поэзии, слишком много неизвестного в русской. У лучших, поэзия есть жертва известного, и даже неизвестного, чтобы освятить непознаваемое. Но надо уметь воздвигать алтари, владеть огнём и, главное, создавать несуществующих, но достоверных божеств.

Европейская литература слишком отягощена путями и результатами своих маршрутов; русский остаётся в эсхатологии начал. Произведение искусства — конечно, не завершение, не жизнь подвешенная, недвижимая, но извержение, рождение мер, весов и взлётов: *Лучшие произведения рассказывают о своём рождении* — Пастернак. Творец выбирает места и мгновения своих (пере)рождений, подражая возвещённому рождению Слова.

Русский писатель — это ухо, которое слышит и запоминает лишь божественный голос первого шага, обыкновенное чудо чистого incipit. Он и глаза, которые, закрываясь, различают последний, оккультный explicit, которого русский никогда не делает. То, что между ними делают руки, можно было бы поручить ремесленнику. *Иногда то, что хорошо кончается, начиналось гораздо лучше* — М. Генин — для художника всё хорошо, что хорошо начинается.

Личность русского писателя вторгается в его произведение. Он далёк флоберовскому рецепту: *L'Artiste ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature* — Художник должен появляться в своём творении не более, чем Бог в природе. Человек в художнике — предмет, столь же достойный описания, что и деревенские посиделки. Художник — это глаз, а не созерцаемый предмет. Бог — в самой возможности глаза, а не в

текстуре сетчатки. Искусство — через вибрацию вещей дать почувствовать незыблемость принципа.

Русские ждут от писателя, чтобы он вступил в диалог с Богом. Чтобы растрогать меня, довольно обращался не к твоим коллегам, а к Богу. Это проникновение становится лаской, если оно от ума переносится к душе. Талант — искусство удачи в этом тонком переходе.

Русский далёк от античной или флоберовской идеи, запрещающей видеть кисти в своих картинах. Даже в величайших своих произведениях русский неизбежно оставляет следы своих лесов, своих кистей или своих словарей. Чудо Творца — довольствоваться одушевлением бытия и не оставлять никаких следов ни Своих рук, ни Своего мозга (и где воздвигаются наши храмы и молитвы).

Одно и то же французское слово *conscience* соответствует часто диаметрально противоположным сущностям толстовского и Достоевского гениев: моральное сознание с фиксированными ценностями — у первого, и психологическое, аксиологическое сознание — у второго. Зов совести всегда побуждает исследовать глубины, цели, маршруты, но делает неспособным к высоте начал.

Чтобы смягчить сокрушительный удар нашего рациональной ограниченности, Творец вообразил иррациональное утешение — человеческое творение. Но каковы его истинные причины, мотивы, побуждения? Два ответа наиболее распространены — ради спасения русской души или ради выполнения европейской миссии, диктуемой другим, потусторонним, долгом. Первое — суетно, симптом графомании, но второе не более почётно, ибо предполагает мимезис вместо поэзиса.

Чтобы судить произведение искусства, было бы иллюзорно ставить его рядом с предметом, созданным Богом, — деревом или бабочкой — и оценивать расстояние, их разделяющее. Творение ex nihilo недоступно человеку. В лучшем случае я предамся началам, но источник останется вне моей досягаемости. Три восходящие меры в распоряжении моего глаза: европейская геометрия (ум), всеобщая механика (разум), русская душа (тайна). Именно мой взгляд, когда я способен оживить его, сделает меня смиренным и гордым перед лицом божественного гения. *Я в начале, но дерево — Ты — Рильке — Ich bin das Beginnende, du aber bist der Baum* — поэтическое начало тоже есть древо, и если в нём достаточно неизвестных, оно может сливаться с древом божественным.

Даже если в целом А. Сюарес заблуждается в своём антигерманизме: *Un ou deux hommes en Angleterre, trois ou quatre en Russie, trois ou quatre en France, voilà tout le siècle. À l'entour, le désert* — *Один или два человека в Англии, три или четыре в России, три или четыре во Франции — вот и весь век. Вокруг — пустыня*, — можно подумать о том месте, которое заняла бы русская культура без революционной катастрофы.

В человеческих делах то, что не унифицируется с универсальным, может относиться лишь к фольклору, безумию или глупости. Не зная глубин европейской культуры, русский солидарен с её формами: *Русская душа есть драгоценнейший фрагмент мировой души* — Ш. Цвейг — *Die Seele des Russen ist das Kostbarste Fragment der Weltseele*.

Душа известного я — это чувствительность и открытость настоящему; душа неведомого я дана лишь творцам и поэтам, она открыта лишь бесконечности, она отрывается от текущего времени. Первая,

очевидная, — это русская душа; вторая, тайная, — та, о которой говорит Пушкин: *Чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!*

Понятия славы, чести, величия порождают культ героя, стремящегося восторжествовать; у русского писателя эти понятия не в чести. В русской литературе нет следа преуспевшего героя, зато неудачники жизни — но пленники мечты! — в ней кишат. Чтобы оценить её, надо быть чувствительным к стыду больше, чем к славолобию. *Если ты слушал русских писателей, ты станешь чище, добрее, стыдливее* — К. Моргенштерн — *Wenn man den russischen Schriftstellern zugehört hat, wird man reiner, gütiger, schamhafter.*

Конфликт есть сущностная основа всех европейских литератур, но форма может меняться, когда человек сведён к одиночеству: немец погружает эту форму в глубину нижележащих понятий; русский — в высоту стыда и самозванства; француз — в неистовость или жеманство плоских обвинительных речей.

У всякой великой культуры есть свои ориентиры глубины: у немецкой — интенсивность и понятия; у французской — ум и стиль; у русской — смирение и трагедия. Все эти ориентиры укоренены в реальности; тогда как высота оценивается лишь долей и качеством мечты. Русский, кажется, в этом наиболее компетентен.

Положенные на музыку, некоторые стихи Гейне или Арагона выигрывают в ценности; но внутренняя музыкальность Пушкина делает иллюзорной всякую попытку превзойти её новой гармонией, дополняющей или улучшающей.

Не *Дон Жуан*, а *Евгений Онегин* — истинный музыкальный и драматический шедевр; не *Свадьба Фигаро*, а *Кармен* лучше всего воспевают свободу и женственность. Я говорю об этом с одним единственным именем в голове — [Пушкина](#), слегка обобранного Мериме, Бизе и Леонкавалло, и чей гений стоит за этими двумя памятниками. Он же автор двух романтических легенд: увидеть интригу Сальери в поводе для моцартова Реквиема и приписать арию *Voi che sapete* слепому уличному музыканту, которого Моцарт услышал на улице и признался в этом Сальери.

В искусстве России господствует чувство, в Германии — музыка, во Франции — высота. Из их встречи рождается поэзия. Англичанин, желающий посмеяться над всем этим, остаётся с одной иронией.

В Европе понадобилось четыре столетия, чтобы перейти от культуры Ренессанса к современности; для того же перехода Россия после смерти [Пушкина](#), единственного художника Ренессанса, потратила четыре года (впрочем, с копией Золотого века Ренессанса — Серебряным веком).

Человек природы, русский вносит культуру в небо своих грёз; для европейца культура вписывается в рамки его повседневного существования. Отсюда это поразительное и наивное заблуждение русских: *Уничтожение культуры в России идёт медленнее, чем в более цивилизованных странах* — В. Арнольд. Держать голову среди звёзд позволяет не видеть пепла под ногами.

Орёл-властитель присутствует во французской, немецкой, русской литературах, которые соответственно посвящены живописи оперения, изучению скелета или размаху крыльев. У американцев он неотличим от

индюшки.

Французское аристократическое искусство — самое утончённое в мире; буржуазное искусство — самое вульгарное. В России аристократическое искусство редко — Пушкин, Тургенев, В. Набоков — и оно иронично или романтично; а буржуазное искусство там предназначено для лавочников или мужиков. Французские интеллектуалы вмешиваются в политику, чтобы обличать её законодательные изъяны; русская интеллигенция тоже интересуется ею, но чтобы жалеть о нищете униженных или клеймить их пассивность.

Лишь автор с сильной личностью, благородным небосводом и умной глубиной должен помещать себя в глубину своего произведения; смелость, принятая Шатобрианом и Стендалем и благоразумно отклонённая Гюго и Флобером. Опьяняющий русский темперамент подтолкнул к этой смелости Пушкина, Толстого и Цветаеву, чтобы мы восхищались грацией, нравственным сознанием или страстью.

Планетарное одиночество

В Европе быть одиноким значит смотреть не в ту сторону, что и все; в России — жить не так, как все. А поскольку художественные страницы заполняются не только идеями, но и жизнью, русская литература одиночества подлинней и чище. Европейский отшельник продолжает грезить об успехах, русский — смакует свои поражения. Одиночество утверждается не в салонах и даже не в лесах, а в подпольях, на кровлях или в руинах.

Желание остаться наедине с собой было обречено на неудачу в советской России, где жажда уединения в собственном логове была так же неодобрема, как и выстрел в партийного начальника. Россия вернётся к своему прошлому, когда вновь научится порождать великих одиночек. Европа помогает ей в этом, замечая лишь её гниение и оставаясь глухой к её пению.

Как может лавочник — человек стадный, прозрачный, уверенный в своих правах и расчётах, — не питать неугасимой ненависти к стране, описанной Рильке: *Россия — это страна одиноких люди, каждый со своим внутренним миром, каждый полный тьмы, дали, неуверенности и надежды — Rußland — das Land, wo die Menschen einsame Menschen sind, jeder mit einer Welt in sich, jeder voll Dunkelheit, voll Ferne, Ungewißheit und Hoffnung?* Увы, этого человека больше нет: истреблены — аристократ, который его защищал, интеллеktуал, который его оправдывал, и мужик,

который в нём жил.

В моей привязанности к России, этой обширной и святой стране, я нахожу новую причину для одиночества и высокое препятствие в моих отношениях с другими — Рильке — Ich trage meine Zuneigung für dieses weite, heilige Land in mir, als einen neuen Grund für Einsamkeit und als ein hohes Hindernis zu den anderen. Паломнику, отшельнику, пророку нужны простор и святость для их путей, их мечтаний, их взглядов.

Не находя опоры, твёрдой или замкнутой, ни на земле, ни в небе, русский изобретает заменители открытые: подполье — в соприкосновении с землёй, и руины — обращённые к небу.

По своему происхождению я чувствую себя лучше на кочующей льдине, чем на необитаемом острове, в воздушном замке или в башне из слоновой кости. Разница? — над льдиной не может реять ни один флаг.

Север научил меня трезвому счастью дружбы. Которого я никогда не знал. Юг открыл мне хмельное несчастье одиночества. В котором родилась эта книга. Сибирь и Москва служили мне фоном; краски я привёз из Сиены и из ущелий Вердона.

Германия — там, где я — Т. Манн — Wo ich bin, ist Deutschland. Всякий истинный русский проводит жизнь в изобретении своей родины, и физическое изгнание лишь завершает и подтверждает изгнание мистическое. *Нужная мне Россия всегда при мне — В. Набоков.* Ту же мысль высказал Помпей: *Рим — всюду, где я — П. Корнель — Rome, elle est toute où je suis.*

Одно и то же расстояние отделяет меня от русских, немцев, французов. И не из-за их раболепия, дисциплины или мелочности, а из-за моей неспособности опьяняться по-русски, плакать по-немецки, улыбаться по-французски. Вкус к изгнанию поддерживает эти спасительные дистанции.

В любой стране есть горцы или моряки, но человека степи или реки, и тем более — леса или отшельничества, можно найти лишь в России. В России сельский простор граничит с Богом и предоставляет человеку огромное пространство свободы — Д. Фернандес — *En Russie, la campagne confine avec Dieu et fournit aux humains leur plus grand espace de liberté.*

Ницшеанский сверхчеловек оставил двух естественных наследников — в нацистской Германии и в советской России: то, что должно было воплотить новые ценности (и презрение к старым словам, забвение Истории) в гордом пессимизме, дало Новый Порядок и Нового Человека с их житейским оптимизмом, а одинокая и трагическая песнь обернулась военными маршами или фольклорными наигрышами.

Западная цивилизация ищет взаимно-однозначного равновесия между вещами и местами: на пустое место она ставит вещь, а для вещи изобретает место. Древние греки, по наущению Платона, были одержимы местами, не слишком заботясь о вещах; а русские обожают вещи без места — вещи, людей или идеи — беспочвенные, вырванные с корнем!

Я познал изнутри советское уродство. Пария, бродяга, одинокий пёс среди стад рабов. Я в Европе: конкуренция, ничего чрезмерного, ни жалости, ни стыда, ни тёплой слезы, ни сердца друга. Там — проклятие, брошенное мерзавцем; здесь — отчуждение, навязанное роботом. *Да*

увидит Царь вся Русь жалкую бессмысленность моей жизни глазами, полными жалости — Шекспир — *That the Emperor of Russia did but see the flatness of my misery with eyes of pity* — даже не будучи раздавлен бессмысленностью, я смиренно принимаю жалость, особенно в компании иронии. *Высочайшие формы понимания — смех и человеческое сострадание* — Р. Фейнман — *The highest forms of understanding are laughter and human compassion.*

Пришёл час горизонтальности; лишь тверди небесные и подполья остаются недостижими роботизации. Мир будет американским и китайским — или никаким. Русский, со своими вертикальными крайностями, будет оставлен на обочине, в очередном тупике. *В России нет средних талантов, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей* — В. Ключевский.

Самое ужасное одиночество сопровождало великую Цветаеву — одиночество трёх языков, трёх чувствительностей, трёх культур — русской, немецкой, французской — в которых она была и мученицей, и мастерицей. Я не знаю другого голоса — и столь прекрасного! — который звучал бы в таком множестве пустынь. Люди двойные (Л. Арагон) упиваются этим, да вот тройные...

Чувствовать себя изгнанником изнутри, в собственной стране, это и доказывает, что я её часть. *Я не твой, снеговая уродина* — Маяковский. Лучшие отпрыски России были её блудными детьми. Некоторые даже обнаруживали в изгнании ореол миссии: *Мы не в изгнании, мы — в послании* — Берберова. Другие выдумывали искусственные изгнания, отказываясь от любого пристанища (В. Набоков).

Ты ведёшь жизнь беженца, когда язык твоих ответов не тот, что и язык чужих вопросов. Моя жизнь — это два изгнания: в России, где невозможно было уединиться, и во Франции, где невозможно показаться. Слишком много тупейших вопрошателей или слишком много тончайших вопросов. Никакой охоты давать ответы — или ответы, все до одного общие.

Эти янкоиды, изгнанные в Пасси или Монпарнас, практикующие свой аристократизм среди торговцев картинами, взращивающие Изящный Ум в ресторанах, ликующие на скачках в Энгиене и на прогулках по Ривьере, напоминают мне двух великих русских изгнанниц, А. Ахматову и [Цветаеву](#), которые во Франции общались лишь с другими изгнанниками — Модильяни или [Рильке](#). А обыватель умиляется всеми этими Г. Стайн, В. Вульф, А. Нин — пресыщенными и ничтожными. Да и их мужские собраты — Э. Паунд, С. Фитцджеральд, Э. Хемингуэй — тоже были отвратительными буржуями, предприимчивыми и снобскими.

Величие русской литературы: интерес к одинокому человеку и его защита. Одиночество речи подтверждается её читаемостью на необитаемом острове или в пещере.

Прекрасный пример изгнания, носимого в себе повсюду — Л.Саломе, экзотическая русская для [Ницше](#) и [Рильке](#), благопристойная немка для Тургенева и [Толстого](#). Почему она не привела в Россию [Ницше](#), как привела [Рильке](#)! Какой *Книги возвращений* нам не достаёт!

Будучи изгоем и земель, и небес, я не могу ни воздвигнуть русское небо (его душу) на французской земле (её нежности), ни принести на русскую землю (её страдание) немного французского неба (его ума).

Случайность пространства, климата, нищеты и тайной полиции лишала русского оседлого чувства дома. Случайность обстоятельств толкает к кочевничеству в голове.

Петербург, *самый отвлечённый и умышленный город в мире* (Достоевский), своего рода анти-Алетоволь Вольтера, — вот что нужно делать из подполья своего я, служащего то руинами безжалостного прошлого, то окном в бесстыдное будущее. *Лучшее окно — то, через которое небо изливает свою полноту навстречу моей жалости* — А. Камю — *La meilleure fenêtre est celle, à travers laquelle le ciel déverse sa plénitude à la rencontre de ma pitié*. Венеция могла бы оспорить у Петербурга лавры постоянного, искусственного и вдохновляющего изгнания.

На Западе быть избранным значит подняться над толпой, опираясь на неё, черпая в ней свою жизненную энергию. В России — бежать от неё, не зная ни её лиц, ни её суждений. Вот почему русские не знают своей страны, тогда как лучшие европейские умы — глашатаи и летописцы своего времени. Аристократизм обескровливает.

Ещё один неверно понятый русский образ: человек подполья, в котором европеец видит аутсайдера, *einen unbehausten Menschen*, бездомного (только Ницше понял его истинный смысл), тогда как это лишь недочеловек, одна из четырёх составляющих каждого (наряду со сверхчеловеком, человеком племени и просто человеком).

Европейцы сбиваются в стадо, чтобы лучше проявить свой эгоизм. Русские уединяются, чтобы громче провозглашать альтруизм. Первые достигают своей цели, вторые — не достигают её.

Оставшись наедине, француз остаётся общительным, немец превращается в зверя, русский становится отшельником, святым, в компании ангелов и демонов.

Какое местоимение я предпочитаю — первое лицо, второе или третье? Чтобы определить свою позицию? свою позу? свою походку? — Европейец обживает *я*, азиат активен в *он*, русский мечтает о *ты* — свобода, равенство, братство — субъект, объект, проект.

Русский писатель, в своей пещерной изоляции, проповедует встречу братских толп; французский выставляет напоказ свою полярную отрешённость через несколько часов после ужина в ресторане, в компании своего издателя.

Пушкин был сослан в то же место, что и Овидий; примерно в то же самое время Бонапарт со своего острова Эльба мог видеть Башню Сенеки, где некогда скучал его предшественник по несчастью; я посетил оба места: атмосфера либо удушающе скучна, либо захватывает дух; следовало бы поменять эти места местами, чтобы певец любви не уронил свою лиру, а проповедник мужества возвысил свой стоицизм.

В современном мире можно без особых усилий представить Гёте или Гюго. Но **Пушкину** там нет места. Какое развенчанное предвидение: *Пушкин — русский человек в его развитии, каким он явится через двести лет!* — Гоголь. Сегодня **Пушкин** так ужаснулся бы падением русского человека, что укрылся бы среди цыган или черкешенок. Но ни один поэт не пользуется такой любовью на родине — и не находится в таком жутком одиночестве.

Европейских поэтов навещали сугубо личные просветления, у русских же случались скорее головокружения, вызванные эпохой: свобода (Золотой век), искусство (Серебряный век), голод (Железный век), скука (Век макулатуры).

Моя писанина и Франция: стадное равнодушие издательского мира. Полное равнодушие, которое, однако, легче переносить, чем хихиканье знатоков, но труднее принимать, чем роботизированное равнодушие американизированных русских. Здесь я лишний; там — невозможен. *Здесь я не нужна, там — невозможна. Здесь меня не печатают, там — не дадут писать* — Цветаева.

Непрерывность — плохая геометрия для человеческой жизни; она должна состоять из пунктиров, прерывностей, искр. Напротив, жизнь нации должна быть непрерывной, с наследствами и фильтрами. Россия хочет жить как личность: *Nous avançons, mais dans la ligne oblique* — Чаадаев — *Мы движемся, но по косой линии* — где следовало бы уточнить, что в ней есть узлы, но нет рёбер.

Пантера Рильке, Интеллектуальное животное Валери, горилла В. Набокова, кашалот Г. Мелвилла, меланхолический орангутанг Ортеги-и-Гассета: взгляд, чья красота или ум отражаются в стенах или прутьях их клеток. *Мы все живём за решёткой, которую носим с собой* — Ф. Кафка — *Jeder lebt hinter einem Gitter, das er mit sich herumträgt*. Покинуть эту клетку — значит ли это встретить безымянного Бога? — *Чтобы снова обрести Бога без Имени или Слова, без того, что есть или чего нет, надо переступить через эту клетку Бытия* — А. Арто — *Pour retrouver Dieu sans le Nom ou le Mot de ce qui est ou n'est pas, il faut franchir cette cage*

d'Être. Доказывает ли моя клетка божественную свободу? Или наоборот: чем лучше я вижу свои прутья, тем лучше понимаю (со)страдание их создателя. Но моя клетка — это язык, этот французский, который утолщает прутья, приближает горизонт и принижает небо.

Из всех стран Западной Европы именно во Франции человек с сильным племенным инстинктом испытывает наибольшие трудности с интеграцией. Но для того, кто хочет остаться чужим для всего мира, для мира посредственности, Франция — страна благословенная. Важно, чтобы европейская элита одиноких людей не отвергала ни одного живого содранца — будь то по языку, по коже или по душе.

Ничто, даже звёзды, не говорит со мной в ночи; такова моя ночь с французскими словами, которые оставляют меня в моём безмолвном одиночестве, с насмешливым мерцанием и неверными тенями.

Над своими поступками я обычно потешаюсь; а вот гордиться своими мечтами — это моя желанная цель. Докучливый пария в России (где похоронена мечта), незаметный пария в Европе (где мечта родилась), дождусь ли я часа смехотворного признания в Америке (где мечта никогда не ступала ни ногой ни духом)?

Цельная жизнь: под знаком стыда, жалости и энтузиазма, вдохновлённых благородством и выраженных умом. Но это сегодня — лучший рецепт полной околеваемости, окончательного одиночества; я стал бы гробовым деревом, чужим в священном лесу. Как верно говорит русская пословица: *Лес по дереву не плачет*.

Цивилизационный нигилизм — политический, экономический,

технический — может объясняться невежеством как таковым, ибо изобретать точки отсчёта, как это делают русские, здесь неуместно, так как всякое творчество есть накопление. Культурный нигилизм оправдан поднебесным невежеством — в искусстве или философии. Три рода почтенного нигилизма: этический — забота о средствах, эстетический — благородство ограничений, мистический — смутное почитание начал и концов (здесь и разворачивается русский нигилизм). Три рода точек отсчёта первоначального творения.

Русский нигилизм — это не глупая мания отрицания, а сила и искусство обходиться без утверждений других, чтобы строить свои собственные. Три уровня нигилизма: онтологический — отрицать бытие реальных вещей (платоники), метафизический — верить, что всякий творец должен начинать со своих собственных моделей реальности (русские), герменевтический — исключать всякую связь между реальным и представленным (феноменологи); Ницше осуждает первый и третий, но сам является нигилистом во втором, русском смысле.

Христос, мораль, нигилизм — не мишени Ницше, а крайности натянутых осевых струн, на которых играет его музыкальная насыщенность; он не отрицатель (как русские радикалы) и не диалектик (как немецкие педанты), а музыкант (по-французски).

Русский нигилизм противостоит рутине эволюции, но ему не хватает средств для проповедуемой им революции тотального или универсального отрицания. Невыносимая европейская болтовня вокруг небытия, бессмысленности, переоценки, субстанциальной пустоты — признак убогого воображения; русский нигилизм — это пышное и бескорыстное воображение, с богатством и свежестью музыкальной пустоты.

Русский нигилизм — это не победа нет над да; это лёгкость обращения с обоими в малом и решительная склонность к да в великом, но беззащитном.

Нигилист-отрицатель по-достоевски = недочеловек; нигилист-соглашатель по-ницшеански = сверхчеловек. Нигилист пассивный, у которого не вибрируют струны; нигилист активный, у которого не выпускаются стрелы. Отрицание не на полуоборот, а на весь целиком, это и есть вечное трагическое возвращение, когда всякая поражённая цель оборачивается новым взглядом. Трагическое, ибо предмет нашего томления, эта запредельность — земная или небесная, которая существует, но будет всегда сбиваться с наших путей, разрывов, взглядов.

Русский нигилизм совершенно земной, дионисийский, анти-аполлонический. Дионис, изящно танцуемый, сближается с Аполлоном. Первоначалие жизни, окутанной прекрасными метафорами, неотлично от идеализма. Воля к власти, выливающаяся в унижительные поражения, уравнивает отказ и согласие. Великодушный Антихрист протягивает руку Христу с опущенной головой, — какой же Ницше совершенный нигилист! И сам он в минуты ясности не признавал ли, что его нигилизм есть божественный образ мысли (eine göttliche Denkweise)? *Метафизика Ницше есть сам нигилизм — Хайдеггер — Nietzsche's Metaphysik ist eigentlicher Nihilismus.*

Юношеская ошибка — размахивать достоевским громким нет. В зрелости искупаешь её пением, молитвой или молчанием вокруг монументального да, ницшеанского согласия, которое на самом деле есть мета-согласие в нигилизме, основанном на принципах: позволять да и нет

сосуществовать, благодаря одновременному владению интенсивностью обоих. От временной ценностной точки — к пространственному вектору, от волнующей цели — к неподвижной стреле!

Русский нигилист, которого следовало бы изоблачить, — это нигилист расхлябанного лука, непеределанного в лиру, равнодушия к нужной насыщенности, уравниательства в выборе целей и дистанций.

В здании моей души только основания должны сохранять свои пространственные привязывания; окнам и кровлям я в этом откажу. Таким образом, я окажусь в достоевских руинах, нигилистических, лишённых временных опор. Высвобожденный от необратимого становления, я буду жить там вечным возвращением вневременного бытия, в отличие от простоватого Ницше, для которого именно воспоминание о становлении делает возвращение вечным (но это одна из тех противоположностей, которые сложноватый Ницше любит сочетать со всё уравнивающей насыщенностью — возвращение всё того же!). *Этот пафос универсальной иллюзорной реминисценции пленяет* — В. Янкелевич — *On est séduit par ce pathos universel de l'illusoire réminiscence*. И чем меньше я вижу банальных опор, тем крепче я привязываюсь к дистанции величия.

Из всех ценностей самые упорные, сопротивляющиеся русской воле помещать их по ту сторону добра, — это те, что рождаются целями. Ницше и сам поддается им: *Что значит нигилизм? — что высшие ценности обесцениваются. Что цель отсутствует; нет ответа на зачем? — Was bedeutet Nihilismus? Daß die obersten Werte sich entwerten. Es fehlt das Ziel; es fehlt die Antwort auf das Warum?* Как только как и кто, таланта и благородства, органически живы, зачем ума проявляется почти механически.

Сохранять высоту значит уметь смотреть свысока даже на самые благородные собственные порывы. Ницше, самый совершенный из нигилистов, *пережил нигилизм в себе до конца и держит его позади себя, под собой, вне себя — hat den Nihilismus in sich zu Ende gelebt, – der ihn hinter sich, unter sich, außer sich hat*. Русский держит свой нигилизм перед собой, в необъятности времени и пространства.

В отличие от русского вкуса к пространству, моё нигилистическое счастье — это желание, далёкое от дорог и привязанное к высоте. Так стоит понимать древних, видевших счастье в подавлении наших желаний. Было бы благороднее искать путь к нему лишь по вертикали моего взгляда. Высота есть недостижимая граница Открытого; и мой нигилизм не в нарушении пределов плоскости, а в почитании наших высочайших непересекаемых границ и в *вертикальном устремлении в Открытое — den Absprung, senkrecht ins Offene* — Рильке.

Как и всякое великое умонастроение, нигилизм легко осквернить, чему ярчайший пример — русская мания систематического отрицания общепринятого. Однако противоположность нигилизма — механическое принятие чужих ценностей, и там даже не нужны злоупотребления или преувеличения, чтобы бежать от этого и искать собственные начала.

Русский нигилист не говорит, что нет причин для восторга или уныния, но что не разуму, то есть чему-то неподвижному и плоскому, решать это, а вкусу, то есть глубокому порыву к нарождающейся высоте.

Русский нигилизм — это не система ценностей, а тип оценивающего, стремящегося избавиться от коллективной инерции языка, цивилизации,

привычки и довериться порыву, творческому и индивидуальному.

Если русский видит начало, нигилистическое (*ex nihilo*) и прекрасное (*maxima de males*), как конец, он заставляет жизнь соприкасаться со смертью, красоту — с ужасом, и я понимаю, что это свойственно всякому искусству. *Кто имел несколько рождений, столько же раз умирал* — Р. Дебрэ — *Quiconque a eu plusieurs naissances est décédé autant de fois* — без надежды на возрождение — художник говорит прощай, а не до свидания тому, что было пережито на высшей ноте.

Русский находится в невозможном симбиозе фатализма и нигилизма. Фатализм — достойная поза, когда мучаешься в мелочах; в делах важных предпочтительнее его противоположность, нигилизм: устранять, стирать или переоценивать то, что не носит моей печати.

Экстатический нигилизм: не выжженная земля по-русски, не новшества любой ценой по-европейски, но поиск того, что инвариантно или вневременно в текущих превратностях.

У экстатического нигилиста точек зацепки не меньше, чем у других, но из его привязанностей не вытекает механически его сущность; она проистекает скорее из случайностей, сопутствующих всякому рождению первого шага или всякой свободе шага последнего.

Если у меня творческий темперамент, я должен начинать с выбора своих отправных точек. Либо я подхватываю нить, начатую другими, и добавляю к ней ещё одно звено; либо я отвергаю эту инерцию и создаю свои собственные источники, становясь таким образом нигилистом: *filum – hilum – nec-hilum – nihil*.

По тому, какое место я отвожу *ничто*, будет виден род моего нигилизма. В лучшем случае, целью будет отправная точка, начало или нулевая точка моего взгляда на мир, очищенная от присутствия других. Но бесы [Достоевского](#) помещают её в финалы, а [Ницше](#) — в путь; у них становишься противником Бога или людей, вместо того, чтобы стать своим собственным противником.

Русский нигилизм — это очистительное и воскрешающее пламя, но помогающее лишь Фениксам. *Из огня нигилистического уничтожения восстанет Феникс новой внутренней жизненной силы* — Э. Гуссерль — *Der Phoenix einer neuen Lebensinnerlichkeit wird aus dem Vernichtungsbrand des Unglaubens auferstehen* — внешняя тепловатость предоставлена безжизненным роботам.

Нигилизм начал — не взбираться на плечи других; нигилизм ограничений — быть их единственным автором; нигилизм средств — уметь пользоваться своими слабостями; нигилизм пути — следовать больше взгляду, чем ногам; нигилизм финалов — признавать их незначимость. Думаю, я близок к этому. И очень далёк от русского или европейского нигилизма.

Русский нигилизм противостоит европейскому цинизму: там, где последний помогает переоценивать чужие ценности, первый изобретает свои собственные. Актёры или драматурги: циники играют пьесы, нигилисты создают роли.

Интеллектуальный взгляд на жизнь может начинаться с русского этического *нет* или с европейского эстетического *да*; первое может быть

только частичным, второе универсально. Говорящий *нет* — человек прогресса, следовательно, скуки; говорящий *да* — человек неизменного, того что вечно возвращается. Плохой отрицатель или хороший нигилист.

Чтобы мой взгляд обладал достаточной глубиной, надо осознать грандиозную тайну мира и утвердить тем самым моё восторженное согласие. Но моему взгляду нужна также большая высота, чтобы сделать из меня нигилиста, творящего свои собственные начала. Европейское согласие отнюдь не является преодолением русского нигилизма, а партнёром на той же оси ценностей.

Заёмные ценности, как и отказ от ценностей, сближают европейца с роботом; поэтому русский нигилизм, как воля исходить только из собственных ценностей, противоположен ему. Но Хайдеггер: *Полный нигилизм должен уничтожить само место ценностей — Der vollständige Nihilismus muß die Wertstelle selbst beseitigen* — делает их синонимами. Чтобы избежать конформизма, место индивидуальных ценностей должно быть ближе к небу, чем к земле.

Русский нигилизм — это внимание к своей родовой инерции (иррациональному голосу своей души) и презрение к их массовой инерции (дороге, проторённой привычкой и конформизмом); это отказ предоставлять одному лишь разуму оценку своих жизненных выборов и отказ принимать социальный миметизм; с этим парадоксальным оружием инерции, он один противостоит и барану и роботу.

Словесное жонглирование, которым забавляются пустые люди: *ничто есть всё* (полифонисты), *ничто не есть всё* (анти-нигилисты), *всё есть ничто* (нигилисты), *всё не есть ничто* (фрагментаристы), *всё не есть*

ничто (монисты). Можно надстроить ещё один этаж: *Что мне не всё, то мне ничто* — Гёльдерлин — *Was ist mir nicht Alles, ist mir Nichts*. Другой поэт оказывается логиком посильнее: Ничто не есть ничто (всё есть нечто), хотя ничто не есть нечто ещё тоньше: даже отсутствие некоторых вещей может служить для освещения присутствия других. Чтобы усугубить эту банальность, думая её поправить, некоторые всовывают туда истину: *Истинное есть Целое* — *Das Wahre ist das Ganze* — Гегель, или *Целое не есть Истинное* — *Das Ganze ist nicht das Wahre* — Т. Адорно.

Сомнение в существовании (à la Декарт), столь распространённое среди лже-нигилистов, связано со смыслом самого слова существование. Несуществование значит или не суметь подвязаться к множеству или даже не пытаться этого сделать. *Говорить о существовании индивида — значит использовать экзистенциальный квантор* — М. Серр — *Dire l'individu, c'est utiliser le quantificateur existentiel* — как для обозначения множества прибегают к универсальному квантору. А что делать с метафизическим существованием? — как приходит к существованию прекрасное? Почему благо существует до поступка, и никогда — после? Где и когда выражение вещи столь же убедительно, что и сама вещь? — Лучшему из воображений вещи даже не нужны: начать с ощущения, спроецировать его до образа, облечь словами, заново открыть вещь.

Нигилизм не есть отрицание ни точек присоединения (онтология), ни ценностей (аксиология), но русская свобода и европейский талант их (пере)изобретения.

В единственной доступной мне архитектуре — архитектуре руин — платоновские идеи или ницшеанские порывы суть лишь стили-здания, а аполлонические кружева или дионисийские фибры — лишь строительные

материалы. Руины, освобождённые от жизненности оснований и тяжести вершин, обходятся без реального существования и предаются виртуальным ценностям. В этом и состоит русская нигилистическая переоценка — прямая противоположность платонизму: вместо предопределённых точек привязки — их свободное изобретение.

Нигилизм эсхатологических начал, по-русски, — самый благородный; он противостоит подражанию, инерции, эпигонству. Но если мне удаётся сделать началом каждый шаг, каждое действие, каждую метафору, я осуществляю вечное возвращение того же самого: *Учение о вечном возвращении есть совершенный нигилизм — Ницше — Die Lehre von der ewigen Wiederkunft als Vollendung des Nihilismus.*

Взгляд не имел бы смысла без видимых вещей — такова исходная нелепица феноменологии. Высшая человеческая сущность проявляется в том, чего даже нет на свете: античный или средневековый аскет любит своего Бога или свой идеал совершенно бестелесными; европейский эстет трепещет при воплощении своих призраков красоты, русский нигилист страстно увлекается идеями или чувствами, которые, однако, сводятся к небытию. Даже в Искусственном Интеллекте идеалистическая сущность предшествует материалистическому существованию.

Всё есть интерпретация — феноменологи, лингвисты, люди действия; всё есть представление — метафизики, концептуалисты, люди мечты. Человеческое всегда в конце концов берёт верх над божественным; первое провозглашается победителем всеми голосами — от многолюдных до элитарных. Кроме того, и по ту сторону есть нигилисты — Достоевские или Ницшеанские — для которых интерпретация есть дарование смысла, жизненной силы или интенсивности, в которых выражается воля к власти.

По сравнению с идеей или ценностью, метафора имеет десятикратно большую продолжительность жизни, прежде чем погрузиться, как и всё остальное, в банальность; поэтому начинать надо с живых метафор, а не с абстракций; культурное наследие моих русских предков обязывает меня практиковать фильтрующий, устраняющий нигилизм, чтобы отсеять всё уже испробованное и ставшее общим. Хорошо подготовить моё грядущее поражение — означает часть моего сегодняшнего успеха.

Упрек Бл.Августина: *И поскольку они ни во что не верят и ничему не учат, их называют нигилистами — Nihilisti appellantur, quia nihil credunt et nihil docent* — есть лишь комплимент русскому нигилисту, который создаёт свою собственную веру вместо того, чтобы верить в чужую.

Русский нигилист отворачивается от чужих начал — или не нуждается в них — и, когда он вдобавок художник, снабжает свои собственные начала — интенсивностью финалов. Уметь обходиться без чужих плеч и проторённых путей.

Русский нигилизм есть одновременно болезнь воли ([Ницше](#)) и здоровье мечты. Мечта есть одухотворённая воля держаться в одиночку; воля есть воплощённая мечта смешиваться с другими.

Неподвижному бытию противостоят два динамичных нигилизма: естественный — мрачное европейское небытие, или культурный — русское творческое становление.

Благородство начал — синоним воли власти. Иметь веские причины выбирать себя самого в качестве источника, не развивать чужой речи, — но

это и есть определение русского нигилизма!

Бесплодные европейские скептики, вопящие об абсурдности или суетности коллективного существования и его целей, часто узурпируют прекрасное русское звание нигилиста. Нигилист ведёт одинокое существование, одушевлённое прежде всего собственными началами, для которых ему никто и ничто не нужно; а его средства — его талант и его благородство.

В речи всегда участвуют три персонажа: его автор, читатель, которого он имеет в виду, и читатель, которого он находит. У одинокого русского нигилиста два последних персонажа — сам автор: известное *я* пишет, вдохновлённое неизвестным *я* и обращаясь к нему.

У меня есть моё мирское, временное, известное *я* и моё божественное, вневременное, неведомое *я*. Первое общается с миром, и мир хочет, чтобы *я* разделял его заботы и ценности; второе несёт смутные отзвуки вселенной и нащёптывает мне смысл её развития. Русский нигилист — тот, кто твёрдо говорит *нет* мирским меркам, предлагая своё *да* порыву второго. Осуждённый на одиночество в прозрачном мире, он окружён непознаваемой звёздной вселенной.

Что досадно в письменной речи, так это то, что она создаёт иллюзию пути, исходящего из моих нигилистических руин, отрезанных от остального мира, или иллюзию обитаемого здания над моим вырванным с корнем подпольем; но, может быть, это лишь метафоры: *Путь к этим «местам» без путей, подполью наших эмпирических мест* — Э. Левинас — *Le chemin vers ces «lieux» sans chemins, sous-sol de nos lieux empiriques*. Европейское вживание в глубину поощряет русский нигилизм высоты.

Быть русским нигилистом — значит посвящать радикальному одиночеству рождение своих ценностей или узлов рода-вида. В одиночестве лучше всего куются отправные точки наших привязанностей или отказов. Отказываться, оставаясь беспочвенным, полагаться на плечи гигантов. Сверхчеловек? — *Недочеловек, верхом на человеке* — Ф. Искандер.

Какое величайшее бедствие могло бы поразить мозги стадных людей? — русский нигилизм. Какого благословения следует желать свободному уму? — европейского нигилизма!

Когда я вижу в европейском начале сам предел, к которому должны стремиться мои русские тени, я гашу всякий внешний свет и зажигаю свою нигилистическую звезду. Это прекраснее утра, это ночь: *Предел: ночь начала* — М. Фуко — *La limite : nuit du commencement*.

Последовательный нигилизм, который не сбивается с пути, предполагает двойное убийство: людей — чтобы я мог один нести все свои начала, и Бога — чтобы никакая божественная финальность не освящала ни моих начинаний, ни моих ограничений. Нигилизм есть двойное одиночество — моего глубокого европейского бытия и моего высокого русского становления.

Если я сотру из памяти все следы Гераклита, Паскаля, Ницше, Валери, я смогу сохранить неизменной целостность моих постулатов начал — так я подтвердил бы и оправдал свою приверженность истинному русскому нигилизму — быть единственным автором моей сущности.

Для европейца, паразитирующего на чужих мерах, или для русского, ищущего безмерное, *нигилизм есть исчезновение всякой тяжести* — Хайдеггер — *der Nihilismus ist das Schwinden aller Gewichte*. Для тех, у кого есть свои собственные веса, это исчезновение сопровождается нисхождением благодати.

Почти всё общепринято в воображении финалов или путей, которым предаются соответственно абсурдисты и педанты. Только нигилисты со своим воображением начал спасают интеллект от рутины комментариев чужих мыслей. Но прекрасные начала рождаются лишь в одиночестве; сталкиваться с ним почти всегда неудача для французского ума и удача для русской души.

Ирония расцветает, когда смешное господствует над ужасным; поскольку в России соотношение сил обратное, ирония там отсутствует; страдание или сострадание занимают окружающим ужасом. Русский становится интересным лишь когда теряет всякий контакт с реальностью. Когда воображение отрывается от вещей — два возможных исхода: падение из-за тяжести, вознесение из-за благодати. Их сопровождают жалость и ирония — их траектории сходятся. Ирония будучи уравниванием смешного и ужасного, позволяет понять Пушкина: *Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения*.

Останавливать свой взгляд на одних финалах, по-европейски, сулит лишь отчаяние и/или цинизм. Держаться за надежду, это краткое и прекрасное утешение, можно, лишь не покидая начал, то есть оставаясь последовательным русским нигилистом.

Европейский стоицизм не хочет видеть в одиночестве и страдании —

чудовищных бедствий, как их видит русский нигилизм. Отрицать это — жить в трагическом оптимизме; признавать — оптимистическую трагедию. Именно прилагательное указывает, говоришь ты *нет* или *да* невыносимой жизни; существительное указывает только тональность. Низкая борьба или высокое утешение.

Начиная с разбиения человеческих ценностей по осям дел, мыслей, мечтаний, я вижу в итоге лишь банального homo faber. Даже наши мечты несут коллективные стигматы, не говоря уже о мыслях или делах: *Оценивать человека по его высочайшим делам — нелепо* — Сартр — *Donner une valeur à l'homme d'après les actes les plus hauts est absurde*. Именно человек-творец, homo sacer, одиночка, с незаслуженным талантом, одним словом — нигилист, созданный для метафор, обретает в моих глазах изысканный облик истинного героя, творца сакрального.

Русский революционный нигилист — это человек, провозглашающий своим делом безапелляционное *Нет* настоящему; русский благородный нигилист приветствует своей мечтой гордое *Да* вечности. *Нигилизм есть нет действием* — Хайдеггер — *Der Nihilismus ist das Nein der Tat*, сочетающееся с *Да* чувством и словом. И самое действенное ценообразующее дело — это создание ограничений, приводящее к избирательному безразличию к тому, что не допускает прекрасных подстановок или метафор. Нигилизм есть культ первого шага, акт личного оплодотворения весомых *нет* и *да*. Его противоположность — стадность путей и целей.

Оставив одного пессимиста, оставленный другим оптимистом, аксиолог Ницше оказывается один. На той же оси согласия я всегда был и остаюсь один; мой Шопенгауэр и мой Р. Вагнер воплотились в одном лице

— оптимисте в начале и пессимисте в конце, который сохранил моё одиночество не через оставление, а через поддерживаемую дистанцию. Без этого одиночества я не смог бы написать книг, о которых я могу сегодня сказать, что *нигде не существует книг более гордого и более утончённого рода* — Ницше — *Es gibt durchaus keine stolzere und raffiniertere Art von Büchern*. Только выше витийствующей силы и цинизма я ставлю гордую слабость и утончённый нигилизм.

Европа интересуется прежде всего социологической Историей, а Россия — апологетической. Господствуют две темы: о страдании слабого и о славе сильного; недостаёт песни одинокого, где речь шла бы лишь о его благородстве, а не о его слабой славе или сильном страдании.

1812, 1941, 2022 — три противостояния Запада и России: политическое (для господства), расовое (для подчинения), юридическое (чтобы одолеть захватчиков); коалиции из 10, 30, 75 стран. Во главе России: утончённый европеец, кровожадный азиат, продажный мафиози. Русские воины: аристократы и казаки, униженные и мстители, наёмники и пьяницы.

Изгнание есть свобода. Непризнанный всегда свободен, как стали ими первые русские эмигранты. Даже родной язык не лишает этого преимущества. В реальности мне безразлично, *на каком непонимаемой быть встречным* — Цветаева. Ложные близости и истинные встречи — в словах, понятых превратно. Истинные близости и ложные встречи — в словах прочувствованных. Буква и дух.

Границы привычной среды обитания, теряющиеся за незримыми горизонтами, лишают русского уютного ощущения своего вне-временного

места и пробуждают ностальгию изгнания или кочевничества. Отсюда его слабый интерес к измерению глубин или вершин; ему уютно в хаотической горизонтальности, тогда как высота имеет свой личный порядок, а глубина — универсальный. Инерция рук, ушей и даже сердец несла русских к самой тусклой заурядности — к земному простору, которому они жертвуют и высоту, и глубину, подобно Тристану, принявшему первую попавшуюся Изольду с белыми руками, которая заставляет верить, что парус чёрен, а лазурь — цвета крови. *Жизнь оценивается двумя мерами: горизонтальной — «белеет парус одинокий» и вертикальной — «под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой»* — М. Пришвин.

Достоевский — человек побеждённый, человек подполья, оставленный вещами и людьми, — связывает своё поражение с извращением окружающей морали, хочет возвыситься в ницшеанского сверхчеловека аффектом повелевания, но кончает самой банальной жалостью — жалостью к себе; за неимением признательных или общеизвестных единомышленников, он провозгласит саму дистанцию — насыщенностью, видимой и прочувствованной им одним.

Памяти нации достойна лишь красота её творений; выдуманный фольклор или подлинные традиции годятся лишь для потехи или сентиментальности. **Пушкин**, видевший в них *самостоянье человека, залог величия его*, забывает, что только одиночество — и его руины — могут нести это прошлое, и что в национальных руинах нет ни подлинных печалей, ни подлинных восторгов.

Уже сиротой я открывал сибирские угольные шахты, задолго до открытия дворца Эльсинора. Однажды, я приравняю горе сирот шахтёров, отравленных газами, к горю принца, осиротевшего от королевского яда.

Если вы ни разу в жизни не читали «Гамлета», это всё равно что прожить её на дне угольной шахты — Берлиоз — Si vous n'avez jamais lu Hamlet au cours de votre vie, c'est comme si vous l'aviez passée au fond d'une mine de charbon. Вылезши из моих глубоких шахт, я не искал невзрачных принцев этого мира, чтобы оставаться с ангелами высоты.

В интимных дневниках французских писателей узнаёшь главным образом ранг, географию, гастрономию ресторанов; у немцев — словно присутствуешь на заседании Учёного совета; оба клана постоянно толкуются вокруг своих издателей. Русские дневниковые авторы сосредоточены на безумии: в ослепительности или нищете повседневности, в печалях, которые надо утопить, или в радостях, которые надо освятить.

Одиночество среди свободных людей тяжелее переносить, чем вынужденно быть окружённым рабами; это я узнал в Европе после России. *Невыносимее быть всегда одиноким, чем никогда не иметь возможности им быть — Монтень — Il est plus insupportable d'être toujours seul que de ne le pouvoir jamais être.*

Столько ложных отшельников пересекают океаны или взбираются на скалы, не расставаясь в глубине души с общими буднями. Истинных отшельников, одержимых своими тайными мечтами, я встречал только в Москве и Париже.

Одиночество в реальном или в воображаемом: в России столько безумия, лжи, нелепиц не мешали моей мечте чувствовать себя среди своих; во Франции изысканная культура, уважаемая свобода, естественное достоинство делали мою реальность полной безмятежности. В России — ужасное одиночество в реальном; во Франции — печальное одиночество в

воображаемом.

Ни в одной стране я не пустил корней; но были три, в кронах которых я укрывался.

О её Доле

Даже в нашем долге обязательное и выборочное соседствуют. Много неизбежного диктуется географией, воспитанием, физиологией, случаем. Почти ничего абсолютного в них не оказывается. Оттого решить, чего мы не должны делать часто важнее и индивидуальнее того, что мы делать должны, часто под давлением нашего окружения. Фильтры оказываются порой ценнее реле, удлинителей и усилителей.

Наш долг — это игра, в которой знание правил перевешивает, по воздействию на наши выборы, сами ставки. Нужна изрядная доля смирения, чтобы принять внешние стеснения, не слишком попирая стеснения внутренние.

Исполненный долг определяет моё место в мире. Если моя настоящая жизнь — не здесь, я не должен чересчур заботиться о должностях и состояниях.

Исполняя свой общественный долг, я не буду ни ангелом, ни зверем, но разумным сплавом барана и робота.

Страны претерпевают ту же эволюцию, что и род человеческий. До сих пор Россия держалась в стороне от хлева и цеха — в том и была её величайшая особенность. Но ныне страх свободы и гипноз денег сделали её и стадной и механической и по-бандитски жестокой.

— Доля -

В страдании

Сен-Прё, Чайльд-Гарольд и Вертер открывают нам красоту страдания; гоголевская шинель, князь Мышкин или Иван Денисович бросают на страдание взгляд добра. Невозможно, без разрушительной или смиренной иронии, соединить эти взгляды. Вершина боли — чувствовать себя покинутым одновременно и красотой, и жалостью; это — человек русского подполья.

Стрaдание избирает Россию для своих затянувшихся пребываний. Оттого Россия больше похожа на личность, нежели на место. Искушённая во всех болезнях внутренних органов, неподвижных и неустойчивых сердечников, она ничего не ведает о здравии внешних, деятельных конечностей.

Противоположность страдания — умиротворённая совесть. Когда видишь опустошения, творимые ею в сердцах, ты становишься готов оправдать страдание за его опустошения в умах. Жизненная сила без зазрения совести или зазрения совести без жизненной силы. *Русская литература средневекова по тону, ибо её доминанта — становление человека через страдание* — О. Уайльд — *The Russian fiction is mediaeval in character, because its dominant note is the realisation of men through suffering*. Истинное страдание (средневековое и русское) происходит не из-за внешнего несчастья, а бьёт ключом из недр внутреннего счастья.

Без её писателей, разве пришло бы ко мне сознание моих ран и долга

им предаваться? — Чоран — Sans ses écrivains, eussé-je jamais pris conscience de mes plaies et du devoir, qui m'incombait de m'y livrer ? Твоя заслуга заключается скорее в невосприимчивости к обезболивающим лекарствам, коими тебя пичкала Европа.

В чувствительности этого великого народа всякий услышит нескончаемую мольбу — Ш. Пеги — *Dans l'attitude de cet immense peuple, tout homme verra une infinie supplication.* Нет более ни разумных просьб, ни разумных ответов — бог преторий оказался стоворчивее бога ораторий.

Неуклонимый выбор между скукой и страданием, провозглашённый мадам де Сталь и подтверждённый Шопенгауэром, стал всеохватывающим: столько ужасных страданий заполняет страницы современных европейских писателей, от которых веет лишь невыносимой скукой; их русские коллеги стараются выставить напоказ столько пошлой скуки, но в ней продолжают видеть лишь вечное и благородное русское страдание. *У нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем* — Горький.

Култ русской земли заставляет вспомнить Антея, ищущего соперника себе подстать, и живущего сообщничеством с небесами. Сегодня, вырванный с корнем железным экскаватором, он был бы задушен серийными Гераклами. Земля же русская, частенько, вся в грязи: *Пред взором — жар палящий, в ушах — рыдание, повсюду грязь — таков удел твой, Русь* — Р. Киплинг — *Except the sound of weeping and the sight of burning fire, and the shadow of a people that is trampled into mire.*

Свет, закон, мужество, голос — всё искажено в России адскими, бесчеловечными подземными течениями. *Россия — царство мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести* — А. Герцен.

За молочным младенчеством и сочным детством наступает зрелость; пьются сомнительные жидкости, сходящие за сок, но лишённые вкуса: пот, кровь, чернила, всё же предохраняющие от гниения лучше, чем соль слёз, которую предпочитают русские. *Русские гниют прежде, чем созревают* — Дидро — *Les Russes sont pourris avant que d'être mûrs*.

При национальных крушениях, европеец находит материал для штопки социальной ткани заново, русский же извлекает из них лишь горестные строфы для опьянения своего подсознания. Кто станет оспаривать уникальное мастерство русского в области гибельных идей?

Главные симптомы пессимизма: русский пессимизм; эстетический пессимизм; искусство для искусства; анархический пессимизм; «религия жалости»; этический пессимизм — Ницше — Die Hauptsymptome des Pessimismus: der russische Pessimismus; der ästhetische Pessimismus; l'art pour l'art; der anarchische Pessimismus; «die Religion des Mitleides», der ethische Pessimismus. Эти симптомы равноудалены от пессимизма и оптимизма. Пессимизм во вторичном, в существовании: факты, глаза, рассудок; оптимизм в сущностном: зрение, взгляд, мечта. И всякое роскошное слово может быть написано при свете цифр или в тени глагола. Пессимизм грубой силы, оптимизм тонкой слабости. Ты, певец античной трагедии и нигилистической схватки, или декадент Сократ, палач трагедии.

Сколько ни протягивай ей весы, Россия указывает свой вес только на большом расстоянии. *В той невидимой России, которая питает наши души, украшает наши сны, нет никакой силы, кроме нашей совести* — В. Набоков.

Россия — страна страданий, бывших всегда в почёте, с непредсказуемым поведением, без предков и знатности, но с торжественными титулами, скорее монастырскими, чем аристократическими. Страна, разоряемая собственными варварами, растерявшая плоды своих побед, упивающаяся своими поражениями, не помнящая своей колыбели, одержимая завершением времён. *Франция — страна моды, Англия — капризов, Испания — предков, Италия — роскоши, Германия — титулов — Кант — Frankreich ist das Modeland, England das Land der Launen, Spanien das Ahnenland, Italien das Prachtland, Deutschland das Titelland.*

Можно подчиниться (действие), не принимая (расчёт), и принять, не подчиняясь. В первом случае страдают, не борясь; во втором — борются, не страдая. Страдание блага и насилие зла. *Русский народ никогда не участвовал во власти, не развращался участием в ней. Его христианство делает резкое различие между подчинением насилию и повиновением ему — Толстой.* Зов света, приманивающий тьму: *Россия: внизу — власть тьмы,верху — тьма власти — Толстой.*

Размышление, домашний очаг, открытие пейзажей — таковы рамки нашей жизни, бродячей или оседлой: *Германия создана для путешествий, Италия — для пребывания, Англия — для размышлений, Франция — для жизни — д'Аламбер — L'Allemagne est faite pour y voyager, l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser, la France pour y vivre.* Но в России, путешествуешь ли, размышляешь или живёшь, всё сводится к страданию.

Настоящая жизнь, как и настоящая литература, состоит вся из музыки; *malinconico* лучше подходит к словам о красоте и благе, нежели *allegro*. *У русских господствует минор — Шопенгауэр — Bei den Russen, herrscht das*

Moll vor. Что касается истины, этого оппонента музыки, то для её передачи достаточно даже языка информатики.

Немецкий гений ласкает романтическую чистоту и сводит её к улыбчивой поэзии. Три русских гения — [Достоевский](#), Чайковский, Чехов — владеют чистотой реальности и открывают в ней рыдающую философию; чистота у них обречена на сожительство с низостью, пороком, мимолётностью.

В глубине — бесплодность; под ногами — серь; к счастью, высота зияет пустотой для твоего заполнения. В пространстве, как и во времени. *Наше прошлое ужасно; наше настоящее отвратительно; к счастью, у нас нет будущего* — сербская пословица. Гитлер слишком добр: *Будущее принадлежит исключительно этому восточному народу, который оказался сильнейшим* — *Die Zukunft gehört ausschließlich dem stärkeren Ostvolk* — они растратили свою силу, это их слабость.

Путь европейской комедии: бунт, скука и, наконец, хорошо усвоенный урок — *равнодушие, высшая степень свободы* — Декарт — *l'indifférence, degré suprême de la liberté*. Русская трагедия вызывает сначала восхищение, затем ужас и, наконец, смех или равнодушие.

То, что отличает русских — не в том, что они выносят унижение (и будто бы европейцы — нет), а в том, что для них существует унижение согласия и терпимости, и унижение жала и калечения. Унижение вне их духовной жизни и унижение, в неё вторгающееся. Или одухотворение унижения: *Духовное узаконение претерпеваемого насилия — безымянная вещь, на которую не способен ни один раб* — [Цветаева](#). У европейцев нет этого нюанса; унижаться или быть униженным — для них одно и то же.

Всякое страдание, говорят они, принижает и унижает.

Неоглядный географический простор не играл большой роли в обретении высоты лучшими из русских. А вот страдание и стыд, этот вертикальный простор, — приблизил их к высоте. И Ницше ошибается в измерении: *Глаз, избалованный далью, — а Заратустра видит дальше, чем сам Царь! — этот глаз вынужден заострять то, что под рукой, рядом, временно — Das Auge, verwöhnt fern zu sehn — Zarathustra ist weitsichtiger noch als der Czar —, wird gezwungen, das Nächste, die Zeit, das Um-uns scharf zu fassen.* Простор, воспаляющий глаз и вооружающий его взглядом, этот простор хорош когда он незрим; прояснённый, привязанный ко времени, взгляд окаменеваеt.

Страдание чаще оскверняется метафорами, нежели освящается риторическими формулами. Маркиз де Кюстин, знаток словесных безделушек, спутал бы страдание даже с дидактикой: *Русские имеют привычку, а не опыт несчастья — Les Russes ont l'habitude et non l'expérience du malheur.* Однако русские чертовски преуспевают и в счастье, не будучи в нём компетентными.

Русского никогда не удовлетворить посредственным горем — Чоран — Le Russe ne s'est jamais contenté de malheurs médiocres. Поверх этих горестей, русский возводит грандиозные причитания, вроде сказаний, песен, романов или симфоний. Питания вместо пропитания — удел народов, видящих перед своим челом или замыслом — одну лишь стену.

Европе известны очистительные кровопускания и выгодные перемирия. Войны заливают русских несчастьем, мир не делает счастливым никого. *Коммунисты выигрывают войны и проигрывают мир*

— Р. Дебрэ — *Les communistes gagnent les guerres et perdent la paix* — от царизма к коммунизму причины меняются, а следствия всё те же — порабощение и нищета.

Когда-то революции были драмой, завершавшейся отчётами, инструкциями и новыми гражданскими кодексами. Русская революция — оптимистическая трагедия, превратившаяся в пессимистическую комедию.

Ни одна страна не знала столько гибелей и возрождений, как Россия. Оттого она так одержима жизнью. *Ибо жизнь, безмерная, есть только в этой непрестанно умирающей и возрождающейся стране* — Л. Саломе — *Aber Leben, ungeheures, ist nur in diesem fortwährend sterbenden und wiedergeborenen Lande* — ибо жизнь проявляется в поиске первых или последних слов — слов Ильи Муромца или слов старца.

Это грустное наблюдение: в России нет руин, как на всём средиземноморском побережье. Они не только не облагораживают никакой почвы, но даже в головах всякое обрушивание оборачивается кашей, быстро слитой и забытой. *Упадут у нас не камни, а всё расплывётся в грязь* — Достоевский.

Кладбище и каторга не покидают русского духовного пейзажа — с его расписной жалостью и плохо соблюдаемым законом. *Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после Петра Великого — одно уголовное дело* — Тютчев.

В России невозможно отличить хама от приличного человека. Неумение переводить в дело то, что переживается в чувствах. Отрицательный фатализм дела, положительный фатализм чувства. Самое

непостижимое для русского правило: жить в согласии со своими убеждениями. И, прочтённое на втором уровне, жить в разладе с собой — источник величайших страданий; эта глупость становится для него высшей мудростью (худшее, парадоксально, оборачивается лучшим), ибо зло, страдание приводит его в соприкосновение с единственным интересным я.

Падения, по крайней мере, позволяют сетовать на участь неустойчивой вертикали, но смерть окаменяет наши мозги и слова в горизонтальности морга — таков мой взгляд на Россию XXI-го века, где тщетно искать малейший след толстовской совести, Достоевского проникновения, пушкинской грации. Нет более ни следа мужика, боярина или попа, какими их знали прежние века. Чувство величественного — в улыбке, гримасе или стыде — покинуло этот край, лишённый пастырей и певцов, и где царит шарлатан.

Музыка жизни всегда ностальгична — перед лицом слишком далёкого детства, слишком высокой надежды, слишком глубокой слабости; но её шум печален, однообразен или циничен. Художник должен отказаться воспроизводить шум и творить лишь музыку; так поступает Чоран. Но музыка Чехова более широка, ибо включает в себя шум, чей ужас или скука звучат в контрапункте с его музыкой. Перед лицом Европы русский охотно признаёт, что находится посреди *оазиса ужаса в пустыне скуки* — Бодлер — *une oasis d'horreur dans un désert d'ennui*.

Четыре уровня прочтения отчаяния чеховских героев: они утопают в ничегонеделании, они не знают, что делать, они сострадают тому, что неминуемо погибнет, они видят фатальность непереводимости бытия в делание. Любовь, благо и искусство — самые плачевные примеры бытия, обречённого на непонимание.

Сстрадание побужает к ненависти, говорит Запад, и, искореняя его, мы строим справедливость. Сстрадание ведёт к любви, говорит русский, и, воскуря ему фимиам, парализует себя. Как только русский видит несчастного, он изливается в смиренных и сострадательных сетованиях, тогда как европеец искал бы неисправную администрацию, лекарство или шутку.

У французов страдание слишком стремится к безднам, а у немцев — к небу. Реальным, то есть звериным, неизлечимым, сокрушительным, оно бывает лишь у русских. И поскольку свобода — в небе верности или в гипогее жертвы, можно понять, почему страдание не превращается у них в свободу.

Только у русских можно найти эту сентиментальную меланхолию, обращённую к другим и исполненную желания протянуть им руку — что я говорю — спасительный взгляд. Видеть в каждом потенциального несчастного — прекрасное умонастроение! Всё благородство русской литературы заключено в этих словах [Пушкина](#): *Вникнем во всё это — и вместо негодования сердце наше исполнится состраданием.*

Сочувствие русских к униженным велико, ибо велико унижение, наносимое произволом грубиянов. В Европе закон образумил грубиянов, и там сочувствуют лишь страданию, причинённому несоблюдением кодексов.

Европейская интеллигенция: заботиться о всеобщем счастье; русская интеллигенция — сокрушаться о частном несчастье. Первая ищет, как исправить Налоговый кодекс, вторая — как осушить слезу. Первая видит

самую драматическую коллизия в несовместимости всеобщего и частного, вторая — в несоизмеримости мечты и дела.

Бунт может быть благородным лишь в цивилизованной стране; в России он всегда кончается отвращением и унижением. Русский бунтарь узнаёт себя в Дон-Кихоте: *В христианской литературе самым совершенным является облик Дон-Кихота. Он внушает сострадание — Достоевский.* Сегодня его можно найти лишь в юмористическом ракурсе. Как и Алёша Карамазов и князь Мышкин окажутся однажды на полках детективных романов. Раскольников соседствует со сверхчеловеком, тогда как единственный прототип последнего, сохранивший своё изначальное значение, — Великий Инквизитор (впоследствии подражаемый старым Папой Ницше), хотя его послание обращено скорее к Биржам, чем к Церквам, и его образ укоренён уже не в синагогах, а в расчётливых душах, избавленных от жертв и верностей.

Ум хорошо передаёт силу нашего здоровья, но наши страдания и слабости исповедуются лишь нашей душе — отсюда болезненная пышность русской словесности, где господствует душа. Средний европеец видит в Достоевском литературу сумасшедшего дома, больных, смиренных и фаталистов, которую не следует читать из соображений интеллектуальной гигиены. Сумасшедший дом, называемый иначе пещерой, норой, подпольем или домом мёртвых, никогда не привлекал тех, кто задерживается в салонах, прихожих или на кафедрах. Преисполненная здоровья, стойкости и ясности, их литература, в общем, вполне гигиенична.

Мир души, уже опустошивший французского рыцаря и немецкого романтика, одолеет ли русского поэта и мужика? *Сбор урожая ещё ждёт русского. В ходе этого созревания мир займёт в его сиянии место тревоги*

— Э. Юнгер — *Dem Russen stehen die Ernten noch bevor. Im Laufe dieser Verwandlung wird Sicherheit, wie vordem Schrecken, von ihm ausstrahlen.*

Русский интеллекуал происходит из сострадагельной слезы. Его европейский тёзка — из дебатов вокруг уличных происшествий. Жалость Радищева к бедствующему крестьянину или участие Вольтера в пересмотре судебных процедур. Держать совесть настороже или вызывать журналистский резонанс. Влечение к трагикомическому или к любопытному.

Во всех идеологических позах великих русских есть смирение: не-сопротивление Толстого, уход Чехова, возвращение билета Достоевского — словом, всё, что избавляет от деловитости. *Основу жизни составляет одно единственное слово — смириться* — Тургенев.

Русская литература — единственная в Европе, устоявшая перед соблазном героя-триумфатора. Она представляет бесконечную галерею побеждённых, добрых витязей: князь Игорь, князь Мышкин, князь Андрей.

Крушение советской России — падение Третьего Рима. Первый сулил цивилизацию, второй — веру, третий — великодушие. Гуманизм — умер именно он, а не коммунизм, — гуманизм не имел никаких шансов быть поддержанным чем-то благородным; ему следовало бы, чтобы выжить, соединиться с торгашом, который в наших Римах был вытеснен солдатом, монахом или подлецом. *Крушение гуманизма — главный итог нашей эпохи* — Солженицын.

Подлинная драма нынешней России, после её крушения, — это неспособность изобресть новые мифы, которые придали бы смысл её

новому существованию; надо признать, что миф — грандиозный и планетарный, миф о достоинстве слабого, ныне униженный и осмеянный, — нелегко заменить. И утопии больше нет в повестке дня. *Всякое государство обязано создать себе утопию, когда оно утратило связь с мифом* — Э. Юнгер — *Zur Utopie ist jeder Staat verpflichtet, sobald er die Verbindung zum Mythos verloren hat.*

С Октября 1917-го года столько вещей и злобных провидений о конечном падении России. Но она тонет не в звоне битой посуды, а в пустоте и безмолвии витрин скобяных лавок. Какова Пифия, такова жалость.

После оргии, обескровленная Россия рухнула, но по адресу клиники оказалась бойня. И русские потроха стали известнее, чем её забавы. *Диагноз был поставлен верно, операция проведена блестяще, но вскрытие показало, что она была преждевременна* — Куприн.

Когда же русские смогут участвовать в мировых форумах, где говорят на языке здоровья? Они уже приобрели право рассуждать о страдании души и болезни тела, но высокое здоровье духа — предмет дебатов, из которых они ныне исключены.

Три трагедии в жизни [В. Набокова](#), три потери: детства, отца, родного языка. Несмотря на эти общие черты, всё остальное нас разделяет.

Жизнь предстаёт радугой; моё желчевыделение зависит от недостатка лазури; почему в этом мире, который сегодня лучше, чем когда-либо, эти потоки всё так же переполнены? Мир моего детства являл два сверх-цвета: красный и чёрный, тогда как сегодняшний — лишь серый. Палач и

чудовище уступили место барану и роботу, одинаково серым. Неужели серое не поглощает других цветов?

В моём родном городке хлопчут люди иного цвета мечтаний и иной толщины кожи. Они возделывают ароматы и взращивают скот, которые мне чужды — люди с непонятными смехом и слезами, с языком, не связанным с моим детством. И. Кублановский — *Возвратись в свой или нет край замороженный, ночью, когда ближе рассвет* — чем лучше я храню обеты рассветов, тем меньше держусь за отчаяние сумерек.

Соотечественник древа, соотечественник слова — этого племени более нет с тех пор, как леса и пароли охраняют границы. Но если теряешься в лесу, то обретаешься в древе. *Новосёлы моей страны! Из-за древа и из-за слова* — Цветаева.

Для европейского ума, обязательно стремящегося к силе, всякое страдание умаляет; оно может быть искупительным для русской души, склоняющейся над нашими слабостями. Христианское утешение могло бы быть философским, если бы оно было обращено к безнадежному настоящему, а не к исполненному надежд будущему.

Для русского, цель утешения — не принести оптимистической радости, но возвысить или облагородить пессимистическую тревогу, которая никогда нас не покинет.

Душа есть лишь ум, обращённый к бесконечному; русское утешение состоит в том, чтобы отвратить ум от конечного, где всё трагично и безутешно, и стремиться превратить его в душу, смилившуюся почитать Непереводимое Благо и решившуюся переводить Бессмысленную Красоту

— единственные неоспоримые бесконечности.

Русский понимает, что всякое утешение — капитуляция. Капитуляция ума. Но о сколь более жалкой, или скорее недальновидной, является капитуляция души, которая принимает бой и хочет его выиграть, чтобы затем стать безутешной! Это и происходит с современной Россией.

Утешение более не навязчивая идея русских. Русские ныне восхваляют, как и все, мужество и борьбу перед лицом отчаянных проблем. Некогда, чтобы соизмеряться с тайнами, ведущими к надежде, русское утешение было на своём месте.

Тайна нашего происхождения (земля космическая? воздух поэтический? вода биологическая?) приносит некоторое утешение нашим страданиям, но у нашего будущего его нет: оно — лишь окончательное решение, с остывшим огнём нашего пепла. Некогда забота о благом или прекрасном тоже вырывала нас из слишком прозрачной реальности; сегодня нам остаётся лишь страдание, чтобы напоминать нам о тайне природы, частью которой мы являемся; эта тайна — тайна рождений и агоний, перед лицом механической цепи слишком ясных проблем или решений.

Моё детство присутствует в реально звучащем воспоминании и в картинах восстановленных, выдуманных, переделанных — печальный и ласкающий голос матери и древо, стремящееся вырваться из леса. Вот к чему отныне сводится моя первая родина. *Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству* — В. Набоков.

Память о вооружённых конфликтах у цивилизованного человека

принимает форму траура — хватит, никогда больше! Два кровожадных чудовища, Сталин и Гитлер, утопили Россию в океане крови, слёз, пота — холодного или горячего; их память у русских — праздник: *нам не хватает твёрдой руки* или *можем повторить*.

Из квадриптиха, приписанного Р. Дебрэ Франции — *элегантность, страдание, детство, романтика* — *élégance, souffrance, enfance, romance* — я сохранил бы только *элегантность*. Страдание, особенно русское, плохо сочетается с лёгкостью; дитя — персонаж заброшенный и оттеснённый повсюду в Европе; вся французская романтика проистекает непосредственно из лёгкой элегантности. И романтизированное детство знакомо даже отпрыскам каторги, мне, в частности.

Ностальгия, неведомая русским дикарям, боль, оцениваемая американским варваром, или жажда, о которой вопит сытый европеец, — не забывай их, чтобы взгляд, более чистый, чем твой, не увидел в твоих чернотах лишь серость, вполне читаемую налегке.

Трагедия по-европейски: ужас перед жестокостью поступков; трагедия по-русски: страдание, оторванное от всякого поступка, томящее сознание фатальности, поглощающей всякое воспоминание о наших мечтах. Первая, даже облачённая в напыщенный стиль, вызывает жалость прежде всего у обывателя; вторая, даже изложенная смиренно, убеждает любого — от мужика до аристократа, включая поэта. Вот почему величайший трагик всех времён — Чехов.

У всех трагиков сюжет строится на ужасающей реальности; только чеховские трагедии не отводят реальности никакой роли — мирной ли, смятенной ли. Волшебство любви, экстаз творения, высота мечты, с

течением времени, фатально, теряющие интенсивность или смысл и сводящиеся к состоянию, близкому к скуке, — такова подлинная трагедия чувствительных людей; она внутренняя, а не внешняя.

Европейский писатель ищет действия, русский писатель потерян в бездействии — Пушкин в игривости, Достоевский в истерике, Толстой в нравственной совести. От Софокла до П. Корнеля, включая Шекспира, трагедия следовала аристотелевскому рецепту — выражаться через действие, а не через повествование. Только Чехов превзошёл — в высоту! — это довольно примитивное видение, иллюзию событийной глубины; он угадал (бессознательно!) великую трагедию в непостоянстве, уязвимости или угасании прекраснейших душевных состояний — состояний влюблённого, художника, мечтателя — словом, не актёра, а зрителя. Не следует забывать и Л. Стерна: *Наше прекраснейшее наслаждение завершается содроганием — The loveliest of our pleasures ends with a shudder.*

Реалистический ужас углубляет европейскую трагедию; фантастический ужас возвышает русскую трагедию. Человек реальности знает несправедливости, боли, крушения — он не знает внутренней трагедии, лишь общие заботы, свойственные его положению. Человек бестелесной мечты носит в своей плоти, фатально, стыд; и подлинная трагедия, трагедия одиночки, — это разрыв между небесной мечтой и земным стыдом. Случайность реалиста или фатальность мечтателя. Ничего трагического нет у Медеи, Гамлета или Федры; трагедия присутствует лишь у Чехова.

С этим глупым пониманием трагедии: *Частный случай несправедливости, опровергающий притязания порядка на господство* —

Дж. Штейнер — *The individual instance of injustice that infirms the general pretence of order* — вы, увы, согласны со всеми европейскими трагиками, но вы против содержания русского трагического искусства. К счастью, был Чехов: *Сократовская демонстрация конечного единства трагического и комического драматического искусства окончательно оставлена. Доказательство тому — искусство Чехова* — Дж. Штейнер — *The Socratic demonstration of the ultimate unity of tragic and comic drama is forever lost. But the proof is in the art of Chekhov*. У Чехова нет доказательств, есть лишь томящееся одиночество агонизирующей мечты.

Человек вообще — пустое понятие; универсализм имеет так много граней. Француз видит человека размышляющим, немец — рассчитывающим, русский — страдающим (он несёт в себе гений искусства страдания). И поскольку, какова бы ни была траектория человека, в конце нас ждёт страдание, русский, возможно, самый универсальный человек. *Почему умнейшие из европейцев искали утешения, надежды и души в России? Не потому ль, что русский ответ касается человека в целом?* — В. Соловьёв.

Отчаяние — продукт разума, и поскольку разум редко задерживается в России, там чаще встречается надежда — всегда смутная, всегда монументальная, всегда обманутая. Б. Шоу, возвращаясь из России: *Я покидаю эту страну надежды и возвращаюсь в страны отчаяния — I leave this land of hope and return to the countries of despair* — не подозревал, насколько этот восторженный и победный крик был на самом деле юмором — горьким и печальным.

Странная надежда, основанная на чудесах с закрытыми глазами, на переворотах душевных состояний, на мифических подвигах смиренного

сердца, — надежда, следовательно, без всякой реальной опоры — сопровождает русского в бедствиях, составляющих его повседневность. У Чорана, с его отвращением ко всякой форме надежды, есть кое-какие пробелы: *Ничто русское мне не чуждо — Rien de ce qui est russe ne m'est étranger.*

Чехов понял суть трагедии лучше, чем Шекспир, — он изображает лишь неизлечимые страдания.

Если начинить трагическую пьесу отсылками к напыщенным, церемонным и абстрактным понятиям — слава, грех, величие — получится Ж. Расин и П. Корнель, внушавшие Валери отвращение к этим смещениям мистагогии и фальсификации мечты — самой отвратительной фальсификацией был условный, однообразный, очевидный, клановый, кодифицированный язык. Всякая подлинная трагедия должна уметь разворачиваться на необитаемом острове, в сознании одинокого человека, и ничего не оставлять падению амбиций или козням злодеев; поэзия или сострадание — вот что находишь у Шекспира или Чехова.

Там, где европеец ждёт понимания, великодушия, справедливости, русский рассчитывает лишь на жертву. *Необходимость жертвы: великая идея, господствовавшая во все эпохи русской истории, пронизавшая русский дух, пропитавшая русскую душу, вдохновившая русскую культуру — Д. Фернандес — Nécessité du sacrifice : la grande idée qui a présidé à toutes les époques de l'histoire russe, traversé l'esprit russe, imprégné l'âme russe, inspiré la culture russe.*

То, что прекраснодушные головы именуют русским смирением и покорностью страданию, оказывается ленью и равнодушием, что ввергает

в замешательство просвещённого зрителя, вынужденного воображать там великие скрытые ценности, тогда как *некоторые ценности никогда не могли вырасти там, где не умеют страдать* — Валери. У подлецов лишь мелкие ценности — зависть, труд, праздники — и они полезны для рода человеческого.

Русское остроумие развивается особенно вокруг несуществующего. Так, православная русская душа, отрицая существование Чистилища, использует его образ для истолкования жизни, тогда как немецкое сердце превращает его в Рай, а французский ум — в Ад. Равновесие между тремя необходимо для полноты жизни; доля ада остаётся стабильной, единственная опасность — от расширения ложного рая; добрый Папа ошибается в опасности: *Церковь существует, чтобы предотвращать наступление ада на земле.*

Все наши струны, настроенные в унисон с благородством, творчеством, мечтой, фатально ослабевают — такова подлинная человеческая трагедия, но с терапевтической точки зрения это дегенерация. Русский жалеет свои неизлечимые падения. Европейец ищет напыщенности для похорон, полных накала и глубины.

Что остаётся в душе после очищения, предписанного Аристотелем: Ужас и жалость суть страсти души, которые трагедия очищает — самодовольство (*sibi sufficientia*) комическое или мелодраматическая спесь. Сделав страх и сострадание основанием души, русское христианство предпочло очищению — катарсис.

Эта мания Аристотеля казаться сильным: *Цель поэта — исцелить нас от жалости, источника всех зол* — которую он разделяет с Ницше,

проистекает из дурного культа трагедии; чистота или интенсивность были бы несовместимы со слабостью; к счастью, русское христианство остаётся последним, проповедующим сострадание к побеждённому. Литые сердца, увы, вытеснили разбитые.

Неудача для человека, живущего инициативами, ответственностью, прогрессом, часто парализует энергию его деятельности и даже духа; но русский, смиренный, лентяй и фаталист, сохраняет в самых страшных крахах всю энергию своей пассивности и души, позволяя себе преодолевать бедствия, которые уязвляют других.

Материальная нищета обладает уникальным свойством умножать миражи из-за множества недоступных вещей; и так, после устранения несущественного, формируются мечты о существенном. После материнской любви — вторая причина моей привязанности к детству.

Самые душераздирающие письма, когда-либо написанные, возникали вокруг образа Матери — воспроизведённое В.Гроссманом последнее письмо его матери, жертвы Холокоста, и письма [Цветаевой](#), нацарапанные её девятилетней дочерью Ариадной на пороге смерти, в ужасном сиротском доме.

В человеческих перипетиях всё можно свести к игре, кроме трагического чувства. Оно неведомо среднему французу, чья жизнь разыгрывается как бесконечный водевиль. Тончайшие игры могут быть трагическими или комическими — отсюда русская меланхолия или итальянская весёлость.

Француз любит жизнь, когда она избавлена от страдания; русский

любит жизнь в страдании, ибо оно необходимо ему для права на суждение. Немцу нужна абстракция: *Русский любит жизнь такой, какова она есть; немец — такой, какой она могла бы быть* — К. Моргенштерн — *Der Russe liebt das Leben wie es ist, der Deutsche – das Leben wie es sein könnte*.

В широте своей души русский располагает томления и страдания; в глубине своего сердца немец погружается в тайны и словоблудие; в высоте своего ума француз возвышает общие места и стили.

Франция, победительница *Великой* войны, превращает славу выживания в радость жизни; Россия, победительница Второй, переходит от траура выживания к ужасу жизни.

Самая редкая вещь в России — невинность; самая распространённая — страдание. Пристрастие к контрастам порождает самую заезженную тему — как у мужика, так и у интеллигента — страдание невинного — оксюморон в данном контексте.

Без дела

Моё предубеждение против людей дела исходит от моих русских провалов. В советской и нынешней, мафиозной, России предприимчивы одни мерзавцы. Прозябают — мечтатели и пьяницы. Мой опыт Запада подтвердил, что хмель и мечта неизбежно испаряются в голове, ведомой задиристостью локтей. Ваши бездомные скоро станут единственными пережитками грёз. Их будут навещать, как навещают в России старцев.

Часто воспринимаемая как воплощение лени, лихорадочная Россия, однако, надрывает глотку, призывая своих детей к работе. Голос охрип, но вновь и вновь берётся за поиски новых спасителей или целителей. Когда голова под водой, как рукам удастся удержать на плаву тело, которое тянет ко дну?

Жизнь, устремлённая к горизонтам или в тверди небесные, мешает России смотреть себе под ноги или рыть вглубь, извлекая собственную память. Звезда, не направляющая ноги, быстро становится звездой падучей. *Россия — сверкающая, чудная, незнакомая земле даль!* — Гоголь.

Не знать, зачем ты пришёл в этот мир, чего ты стоишь и к чему стремишься, и мириться с этим — таково русское настроение. Всё, что слишком отчётливо, не может быть жизнью: *русский хорошо делает, довольствуясь пока ничем, вместо того чтобы закабалиться в какую-нибудь дрянную определённость* — Белинский. Призракам, в конце концов, не нужны зеркала, отзвуки и тени, но Замки, которые стоит обитать, надо

сначала построить.

Вся русская литература — лишь прославление безвольного и бессильного — П. Клодель — *Toute la littérature russe n'est qu'une glorification de l'aboulique et de l'impuissant*. Заранее признавать своё поражение в деле — поражение, возвещающее бесследный триумф души, — да действительно ли ты христианин со своим ожиданием власти и побед? Благородство русской литературы — в её презрении к русской реальности, столь же ужасной, сколь сладка реальность европейская.

Что ведёт к разумной цели? — прямой путь. Вот почему русские, одержимые окольными путями, промахиваются и не достигают целей, захлёбываясь при этом от головокружения: *Русские никогда не достигают своей цели, ибо перегоняют её* — де Сталь — *Les Russes n'atteignent jamais leur but, car ils le dépassent*.

Ни один путь, достойный приблизить нас к нашей звезде, не прямолинеен. Таким образом русский возражает на: *Savoir croître et non pas mûrir, avancer mais jamais en ligne droite, celle qui mène vers le but* — Чаадаев — *Знать, как расти, а не созреть, двигаться вперёд, но никогда по прямой, той, что ведёт к цели* — и знать, что зрелость — это безвозвратная утрата цветения.

Три классических русских вопроса с правдоподобными ответами: что делать? — ничего; кто виноват? — тот, кто при деле; где жить? — в иных местах.

Какой образ приходит на ум западноевропейцу, когда он сближает русского с медведем? — что его изба удручающе похожа на берлогу. Но

русский лицемерно отвергает и приукрашивает это обвинение, толкуя его так, словно западноевропейец видит медведей, бродящих по улицам русских городов, и, убаюканный этой идиллической картиной, возвращается к своей спячке — даже среди лета — вместо того чтобы взяться за работу.

Европейец озабочен прежде всего тем, что не ладится в его экономической машине, и в конце концов приводит её в рабочее состояние; русский цепляется за то, что танцует у него в глазах, и что, как и всё прочее, в конце концов перестает работать. Расчётливый и танцующий — сойдутся ли они когда-нибудь?

Величайшие русские деяния рождаются из её величайших мечтаний, а не из расчётов: процесс увлекает русского больше, чем цель. *Россия — это страна, где можно сделать величайшие дела с ничтожнейшим результатом* — А. Кюстин — *La Russie : c'est un pays, où l'on peut faire les plus grandes choses pour le plus mince résultat*. Русские пользуются разнообразными весами для оценки своих результатов. Те, что ты выбрал, — кстати, единственно употребляемые, торгашеские, — и возможно, не самые ходовые в этой стране безмерности. Здесь воспевают то, что могли сделать, как другие *вытанцовывают то, что хотят сказать* (Ницше) — вам остаются повествование и то, что вы всего лишь должны.

Уверенные, что они - всё, русские ничего не делают, чтобы быть чем-то. *Во Франции, если ты чего-то из себя представляешь, ты захочешь быть всем. В Германии надо отказаться от всего, чтобы иметь право быть чем-то* — Маркс — *In Frankreich genügt es, daß einer etwas sei, damit er alles sein wolle. In Deutschland darf einer nichts sein, wenn er nicht auf alles verzichten soll*. В Какании шли ещё дальше: *В Австрии каждый становится тем, кем на самом деле не является* — Г. Малер — *In*

Österreich wird jeder das, was er nicht ist.

Быть русским — значит говорить больше всего о том, что делаешь меньше всего. Быть европейцем — значит делать больше всего то, о чём не хочется говорить. *Русский становится наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех — Достоевский.* Русский мнит себя европейцем, когда он, говоря, делает то, что европеец говорит, не нуждаясь в том, чтобы это делать.

Воля в устах русского означает наслаждение своими капризами и прихотями в рамках, очерченных чином, деньгами или полом. Его возбуждает процесс, а не цели цивилизации или ограничения культуры. *Свобода есть отречение личной воли — Вяземский.*

Русское содержание — в *нет* ума, его форма — в *да* души. *В России воля готовится хлынуть наружу; неизвестно, будет ли это волей отрицания или утверждения — Ницше — In Russland wartet der Wille, ungewiss, ob als Wille der Verneinung oder der Bejahung.* Оставаться в возможности или полагаться на силу, щеголять бездействием или гордиться сделанным, упиваться возможным или растворяться в умопостигаемом — русские склонились к первому выбору. Воля к власти пребывает в душе; сила воли не покидает ума.

Избыток формы часто выдаёт недостаток содержания. Но именно избыток содержания объясняет порой недостаток формы у русского. И его потребность в содержании сулит лишь поражения. *У француза слишком много организованной энергии, у немца — слишком много неорганизованной; и той и другой с избытком хватает за собственные*

нужды — Э. Юнгер — *Das Vorrat des Franzosen an geformter entspricht dem deutschen Überfluß an ungeformter Kraft, und beide reichen weit über den eigenen Bedarf.*

Бунт или фатализм — два приукрашивания, скрывающих, чаще всего, лавочную честь или лакейскую лень. Перед реальностью бунт — это соглашение с одной единственной возможностью, то-есть отвержение одной в пользу другой. Фатализм — открытость перед безбрежностью возможного. Бунт мне симпатичен лишь эстетический, фатализм хорош лишь в голове. Наилучший бунт — при закрытых глазах, наилучший фатализм — с открытыми.

Интерес русского к дорогам — не в удобстве ног, а в фиксации взгляда — на горизонты или на звезду. Эту русскую особенность подметили великие путешественники: *В России нет дорог, есть только направления* — Наполеон — *En Russie, il n'y a pas de routes, il n'y a que des directions.* Неудивительно, что колесо Истории там увязает и его приходится изобретать заново в каждую новую русскую эпоху.

Демократия пробуждает энергию людей дела и парализует людей мечты. Русский, будучи аллергиком на действие и заражённый мечтами, — оказывался сегодня в замешательстве. *При демократии Россия представляет такой жалкий вид, что даже сердце щемит. Даже не трагичный — хуже... А диктатура — в конце концов лишь жалкая пародия на монархию* — И. Шафаревич.

Отправная точка русского — на Востоке, финальная оценивается в западной перспективе. Но он увязает на первом же шаге.

Европеец хочет сосредоточенности для своего разума и свободы — для сердца. Мир как итог: *Быть свободным — значит верить, что ты свободен!* — М. Унамуно — *¡Ser libre es creer serlo!* У русского наоборот: он хочет простора для дела и фатальности — для чувства. Как итог — бунт. Быть свободным — значит уметь больше не верить.

Единственная власть, которую признаёт европеец, — это власть, воплощающаяся в делах, тогда как всё сильное у русского остаётся невыраженным в его блаженной и лихорадочной душе. Точно так же и дешёвая русская надежда часто принимается за мрачное отчаяние. *Русская простота, ужасная и разъедающая простота, в которой мистические фразы прикрывают наивный и бессильный цинизм* — Дж. Конрад — *Russian simplicity, a terrible corroding simplicity in which mystic phrases clothe a naïve and hopeless cynicism*. Цинизм бывает ужасным и разъедающим лишь когда он расчётлив и силён; это определение, если и не формулирует проблему, то оправдывает тайну. По словам С.Лема, автора *Соляриса*, Тарковский вдохновлялся для своего одноимённого фильма не этой книгой, а *Преступлением и наказанием*. Сегодня дела идут ещё хуже: *Братьев Карамазовых* читают — даже сами русские — как *Соляриса*.

Жизнь обретает смысл для европейца в очевидных целях; для азиата — в очевидных средствах. Русский видит за каждой целью невозможные средства, а за каждым средством — цель, не стоящую внимания.

Европеец: сделав или делая то-то и то-то, моя нация заслужила вот такие лестные эпитеты; русский провозглашает свою страну Великой — чтобы оправдать свою маленькую лень — и Святой — чтобы избавиться от угрызений совести за свои постоянные кощунства.

Действовать ради улучшаемого снизу (быть французом) или ради того, что влечёт сверху (быть русским), — значит сбегать от плоскости жизни, но жизнь — в качестве наших побегов. Цепляться за сами вещи или действовать лишь от их имени — не большая заслуга: *Действовать ради самой вещи — значит быть по-настоящему немцем* — Р. Вагнер — *Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen zu tun*. Перспектива или близость — надо выбирать.

Помещая идеал вне реальности, Россия в этом ближе к Востоку. Но как и на Западе, всякий идеал вызывает прилив энергии. На Западе она идёт на постепенные достижения; в России она накапливается и изливается лишь в грандиозных и диких усилиях: война, строительство коммунизма, освоение космоса.

Как француз, немец или русский читают волю к власти? — как волю (только) готовности (по-шекспировски), волю дела (*pouvoir*, по-валериевски) или волю обладания (*die Macht*, по-ницшеански)? Их единственный общий знаменатель зовётся интенсивностью.

Все итальянцы поют; и самые бездарные выходят на подмостки. Русские — нация зрителей, но самые одарённые посещают лишь кулисы. Сцена — ангелам; природа — демонам. Говорят, дьявол *parle italien avec l'accent russe* — *говорит по-итальянски с русским акцентом* — П. Верлен.

Когда горизонты сужены, универсальное легко принимает облик ближайшей часовенки. Так и следует видеть русское притязание на универсальность. Бегство от дел, выдаваемое за широту ума, иссушает плодородие души.

Русский — не прометеевский человек; он апокалиптичен, иоанничен, чувствуя в глубине себя гармонию, что делает его весьма снисходительным к собственным проступкам и лени на плоскости жизни. Заметьте, что смертный грех постыдной лени переводится по-русски как романтическая меланхолия (*уныние*) — две крайние интерпретации греческой акедии (Фома Аквинский или И. Лойола) — то есть пофигизма.

Восток хочет остановить Время. На Западе оно течёт однообразными тактами, хорошо слаженными звеньями. Но лучший его ритм — рваный, раздражающий, захватывающий дух — звучит лишь в России. Лишь сновидческое дыхание умирающих может его ускорить или обездвигить.

Облик племени — в соотношении его моральной и духовной граней. С одной стороны зреют идеалы, с другой — нормы. Русские — среди тех редких племён, где нет пропасти между ними. Им одинаково знакомы и азиатское выкорчёвывание и европейское укоренение центра. Они умеют двигаться вперёд, но их настойчивость не измеряется числом шагов.

О терпимости европейской, приторно-слащавой, и резкости русского вкуса к нетерпимости можно судить по реакции на мой опус: слишком ангажирован — говорят европейцы, слишком дезангажирован — говорят русские.

Русское ожидание: чтобы в бесконечной череде рациональных жестов внезапно прорвалось безумие поступка, слова, взгляда. Западное ожидание: чтобы в том, что кажется хаотичным и плохо организованным, разум, наконец, окончательно ввёл бы порядок, норму, оправдание.

Спокойная совесть порождает качество, которого никогда не знал русский, — естественную стихийность. Титанические усилия и посредственный результат, постыдная лень и мощная оригинальность. *Неспокойная совесть может сделать жизнь интересной* — Кьеркегор.

Дело (la cause), идеал, за который ты борешься, называется по-русски дело (l'action), то есть всего лишь действие. Понятно, почему русский, равнодушный к действию, твердит, что не существует дела, стоящего наших сердцебиений. В России сочувствуют лишь делам проигранным, безнадёжным, заранее обречённым. Страна св.Иуды и св.Риты. Психоз (psy-chose?) сомнительности вместо наркоза уверенности.

Русский хочет жить ex nihilo, ступени истории и узкая сосредоточенность ему чужды. Он теряет свою идентичность при каждой попытке учиться, ибо учиться — значит загромождать часть спасительной пустоты, где сосредоточена наша душа. Из страха перед свободой — он раб пустоты. *Открытие, что он свободен, делает его пустым* — Ортега-и-Гассет — *De puro sentirse libres se sienten vacías*.

Почти всё в этом мире — дело наших рук — говорит европеец. Ничто в этом мире не есть результат моих поступков — говорит азиат. Я смотрю в этом мире лишь на то, что не несёт следа чьей-либо руки — говорит русский.

Восток стремится усмирить страсть бездействием, обращённым внутрь; Запад — смирить её действием снаружи; Россия — испытывать её на своей коже.

Скука, кажется, общее место французской и русской революций. 14

июля 1789 — Ничего — le 14 juil. 1789 — rien. Восторженные перья и камеры изобретут то, чего не видели глаза и не воспринимал ум. *Ноябрь 1917: среди этих отвратительных ужасов, на дне этой бессмыслицы — скука. Всё летит к чёрту и — нет жизни. Нет того, что делает жизнь: элемента борьбы* — З. Гиппиус. Потомки изобретут борцов, арены и венцы.

Если бы какой-нибудь университетский Пугачёв во главе партии затеял революцию на европейский манер, у меня слов нет, чтобы выразить, чему можно было бы ужасаться — Ж. де Местр — *Si quelque Pougatscheff d'université, à la tête d'un parti, commençait une révolution à l'européenne, je n'ai point d'expression pour vous dire ce qu'on pourrait craindre*. Жаль, что при столь точном предвидении у тебя не нашлось для него слов. Европейец привык не путать салонной мечты с уличными поступками; русский, всегда неповоротливый в деле, захотел перенести в свою реальность то, что в глазах европейцев было лишь предметом обсуждения в литературном салоне. Не европейская идея виновата, а русская активность.

Хорошо сказанное стоит хорошо сделанного — таково доброе кредо француза. В этом Франция превосходит другие страны, которые хотят говорить лишь после того, как вещь сделана. Художник предшествует вещам, посредственность следует за ними. Dictum factum. Однако, по И. Павлову, *условные рефлексy русского человека координированы не с действиями, а со словами* — существует, стало быть, конкуренция и на Востоке.

Русский Нарцисс видит в озере лицо человечества. Только Нарцисс любит в этом лице то, что возможно, и не терпит того, что действительно.

Для обделённых лицом ценность всех, включая себя, сводится к их поступкам.

Русский, знаток мечты, всегда был жалок в поступках. Но наша эпоха — торжество существования в деле над сущностью в мечте. Чем больше я доверялся мечте, тем оправданнее была моя поза Нарцисса; чем больше я отождествляю себя с делом, тем разрушительнее моё сомнение в собственной ценности. Мои дела — для других, тогда как мои мечты — это я сам. Но, как это ни парадоксально, взгляд мечты универсальнее видения сквозь дело.

Русская воля так дрябла, что её хватает лишь на начала — субъективные и дерзкие. Противоположность воли зовётся инерцией — мыслить и/или действовать в соответствии с объективностью. Когда воля исчерпана, русский предаётся рабской инерции. Однако он думает, что то, что завершается, уже не жизнь, а инерция. Жизнь — в дерзости первого шага, в том смысле, которого инерция не знает. *Здесь, на земле, всё начинается и ничего не кончается* — *Достоевский*. Finis coronat opus — поговорка, годная лишь в механике.

Страстная инерция — таково парадоксальное отношение русского к разношёрстным поступкам, когда душа уже растерзана, а ум ещё слишком мягкотел. Восхитительные тупики души становятся запасными путями ума.

В своей реальности, русские подчиняются случайности. Но они владеют законом своего воображения. И когда реальное встречается с воображаемым, первое выигрывает в безнадёжной глубине, а второе всё чаще забирается в призрачную высоту. Если бы они избегали друг друга,

искр столкновения было бы меньше, но было бы больше ясности для первого и больше мрака для второго. Было бы лучше видно либо путь, либо звезду.

Благо есть состояние нашего сердца, где мечутся наш стыд и наше бессилие. Ни идеи, ни, тем более, поступки не могут ассоциироваться с благом. *Добрые дела, которые совершаются для спасения собственной души, совсем не добрые* — Бердяев. Спасение европейской души — верность музыке; спасение русской души — жертва делом (а не дело жертвой).

Когда я понимаю, что русский сделан из лени и мечты, я слышу всю иронию марксистского определения человека как продукта труда.

В развитом мире, любой цивилизационный проект начинается с проблемы финансирования. Но *русскому говорили о железных дорогах, школах, самоуправлении. Его воображение слышало: всеобщее счастье, беспредельная свобода, райские крылья* — Л. Шестов. Эти лирические взлёты имели, порой, счастливые последствия: Леверье видит новую планету (Нептун), возникающую из-под его пера, русский композитор пишет на это прекраснейший романс *Гори, гори, моя звезда!*

Пылкий гимн лени обнаруживается в орфографической опечатке слов прекрасной советской песни: *всё что я нЕ сделаю светлым именем твоим я назову* (вместо: *что бы я нИ сделаю*). Если я этого не делаю, значит я лишь мечтаю об этом!

Вкусы посредственности проистекают из случайных привычек, а её предубеждения — из навязанных дел. Но предубеждение во вкусе и

привычка в жесте, возможно, менее предосудительны. Философия, проповедуемая Ницше, не должна ли была *предвосхищать возможности принципиального нигилизма — die Möglichkeiten des grundsätzlichen Nihilismus vorwegnehmen?* Человек так скор на создание сценариев — рассудочных или поведенческих, — что дарвиновская гипотеза о том, что в божественном Начале была Привычка, выглядит вполне правдоподобно (и что подтверждают нейросети).

Сводить всё к интенсивности и гармонии начал — определение вечного (начала) возвращения (интенсивности) того же самого (гармонии). И если, вдобавок, метить в смысл, то это и есть определение русского нигилизма — ремесла удаления от светского и искусства создания сакрального.

Русский нигилист — творец своих собственных начал. Остальные — инерция нанизывания шагов.

Отсутствие цели описывает одинаково хорошо и плохой, и хороший нигилизм. Первый, европейский абсурдист, констатирует это и начинает сетовать на него, оправдывая свой цинизм. Второй, благородный русский, провозглашает это актом воли, ибо главное в наших порывах и личностях связано с высотой наших начал и благородством наших самоограничений.

Нигилизм, провозглашающий нелепость целей, ребячлив; нигилизм, требующий равенства путей, наивен; единственный достойный и созидательный нигилизм — русский — приветствующий начала вне проторённых дорог.

Своим культом действия и эффективности Америка заражает всех

европейских изгнанников (И. Стравинский, В. Набоков, Арендт). Сопротивляются лишь некоторые поэты (Рахманинов, Чаплин, А. Эйнштейн). Все Мариин там становятся Марфами. Русский там становится неотличим от швейцарца.

Вместо того чтобы опредметить практические идеи, русский обожествляет идеи теоретические, приписывая им мистический смысл. Европейский интеллигент претендует на привнесение теоретического смысла в вещи — устаревшая наивность. Смысл рождается из диалога пользователя с владельцем вещей, из диалога, ведущегося на языке победителей — языке Гермеса. Интеллектуалу следовало бы поискать иных языков, а не доктрин.

Отворачивающийся от тяжкого труда, русский заменяет его всё оправдывающей противоположностью — лёгкой молитвой. Молиться перед Богом — невнимательным собеседником, перед женой — сварливой и ворчливой, или перед белым листом — безответственным. *Труд есть молитва рабов. Молитва есть труд свободных людей* — Л. Блуа — *Le travail est la prière des esclaves. La prière est le travail des hommes libres*. Свободный человек, будучи лучшим геометром, чем раб, понял, что всякий труд, угодный Вечному, достоин приличной оплаты, и он превратил свою молитву, бывшую некогда просьбой о невозможном (*Величие молитвы — прежде всего в том, что в этот обмен не вмешивается безобразие торговли* — Сент Экзюпери — *La grandeur de la prière réside d'abord en ce que n'entre point dans cet échange la laideur d'un commerce*), в предложение доходных услуг, сообразно спросу платёжеспособных неверующих. Он стал *рабом меркантильных каторг* — Ш. Фурье — *esclave des bagnes mercantiles*.

Русский доказывает свою внутреннюю свободу тем, что кладёт на божественные весы лишь невесомую волю, а не тяжесть дел. Натянутую тетиву, а не пущенные стрелы. Никакой внешний поступок не был повелеваем Богом; в высоте Его Блага находится стыд, а в глубине — смирение, оба без *что* и без *почему*.

Европеец исходит из ясных финалов, к которым подбирает адекватные, рациональные средства; русский доверяется порывам тёмных начал, и первоначальный мрак увлекает его больше, чем ясность целей. *Русские остаются тем более самими собой, чем более они открыты скрытым силам, которые ими управляют* — Д. Фернандес — *Les Russes sont d'autant plus eux-mêmes qu'ils sont plus ouverts aux forces cachées qui les gouvernent*.

В жизни невозможно хранить ту же высоту, что и в мечте; глубина или низость так часто сопровождают жизнь — то тяжёлую то безжалостную. *Русскому человеку свойственен возвышенный образ мыслей, но почему в жизни он хватается так невысоко?* — Чехов. Чаще всего это бред, лозунги, заклинания, и очень редко — мысли.

Необходимое, изначально таинственное, обречено на плоскость общего. *Русские имеют право смотреть на Францию свысока, ибо они дышат в возможном* — Чоран — *Les Russes ont le droit de regarder la France de haut, car ils respirent dans le possible* — это возможное остаётся таинственным надолго.

Русский чувствует себя уютно в состоянии дешёвых и даже надуманных верований. **Достоевский** допускал, что оккультная идея русской миссии братского примирения европейского континента была

мечтой и бредом, но он хотел в неё верить и жить ею.

Питаться подслащёнными тенями прошлого, успокаивать стыд видением лучезарного будущего — все средства хороши для русских, лишь бы не сталкиваться с мраком настоящего.

Среди дикого племени

Одни искали Град Божий, другие — Запретный Город, третьи — самые прозорливые — город, удобный для жизни. Только русские дали себя обмануть мерцанием лучезарного града. Лагерь верующих, укрепленный лагерь, лагерь победителей — это всё же лучше, чем концлагерь.

В кои-то веки я согласен с демократическим градом, ужасающимся русским сборищам. Разбойники, не стесняющиеся величать себя элитой. Бездарные подражатели, претендующие на исключительность или исключение. Медведи, пытающиеся выслужиться, подчиняясь ослу или барану. Состояние дорог — ужасающее, зато какой вид открывается из тупиков!

Жизнь — это преторий. Русский чувствует себя виноватым перед своими судьями. Он ведёт себя как плут, хвастун, скрытник, хотя он ничего предосудительного и не совершил. Европейец, весомыми и самонадеянными словами, излагает свои обвинения с покоем в душе. Для него оправдательный приговор — психологическая уверенность. Русский никогда не ладил со своими защитниками. Более того, он всегда видел в них сообщников своих мучителей!

Чтобы воздать честь любви, надо стать её рабом; чтобы предаться знанию, необходимо аскетическое рабство; чтобы писать правду, надо быть рабом блага — такова установка русского. Даже все советские промышленные достижения совершались благодаря труду гулаговских

рабов.

Любимая речь русских тиранов — филантропия. И рабы возмущаются, когда их называют рабами. Сообщничество мерзавцев-сатрапов и мерзавцев-сеидов! Ф. Кастро был прав: *Огромная страна, управляемая карликами.*

Череда тиранов навязала русским пост свободы, не уточняя его сроков. Решили, что это навечно, и успокоились.

Свобода остаётся недостижимым принципом, часто враждебным и угрожающим для большинства русских мелких тиранов — реальных или потенциальных. *Либерализм есть нападение на самую сущность наших вещей* — Достоевский.

Чтобы оценить демократию, нужен примат закона, тогда как русские, всех мастей, видят в презрении к закону, в своеволии, в произволе — основу своего существования. При диктатуре истекают кровью не только сердца, но и мозги, и тела, что огорчает и сбивает с толку русских куда меньше, чем демократическая мелочность. Жалкие, отведывая демократию, трагические — при любом другом режиме.

Русские в политике незрелы; они не знают тонкого искусства преобразования свободы: из воодушевляющей цели — в прозаическое соблюдение. Вместо того чтобы составлять трезвые законы и пользоваться свободой, они хотят продолжать любить свободу, воспринимаемую как вольную мечту, а не как правило жизни. *В нужде люди живут мечтой о свободе; приходит свобода, и люди не знают, что с ней делать* — Пришвин.

Политик **Достоевский** — бессильный памфлетист, отнюдь не оракул. Ни один из персонажей *Бесов* не воплотился в жизнь. Центрального героя Русской революции угадал лишь Д. Мережковский в *Грядущем Хаме* (наследнике платоновского крупного животного, Левиафана Гоббса, сборища — multitude Руссо). **Достоевский** велик лишь как человек подполья, видящий в самоволье выход из Закона, единственное строгое подтверждение своей свободы.

Надо быть потенциально свободным, чтобы сознательно бороться за свободу, ставя перед собой достойные цели. Раб довольствуется средствами: В России — *вечный бунт вечных рабов* — Мережковский.

Судьба коммунистической России решалась ни в Риме, ни в Берлине, ни в Варшаве, ни в Кабуле, ни в Вашингтоне, а исключительно в Москве, с её пустыми витринами и лживыми газетами; Россия на коленях молила о помощи, но развитый мир предпочёл не лишать себя радостного зрелища разложения поверженного врага; ближайшее следствие — слово демократия останется проклятым для нескольких поколений униженных русских.

Своим коммунистическим опытом Россия дала человечеству страшный урок, о котором русские твердили три столетия. Но самая поучительная жертва этого опыта — не тоталитаризм, а гуманизм, это прекрасное дитя, выплеснутое вместе с концентрационной грязью и кровью.

Считают, что в неравном браке России и коммунизма худшим из супругов был коммунизм. Но настоящая травма — столкновение двух

прекрасных грёз, из которого рождаются лишь чудовища. Не коммунизм погубил русскую реальность, а Россия погубила коммунистическую мечту.

Даже противники русской революции были одержимы историческими — если не сказать истерическими — видениями: *Я одинаково вижу две возможности революции — путь опоминанья и путь всезабвенья* — Гиппиус. Опомниться или потеряться. Открыть наконец глаза или же навсегда их закрыть. Видение в ущерб слушанию — пути к демократии.

Русская революция — последняя европейская религиозная война. Инквизитор повержен, исповедальня безопасна, индульгенции и иконы распространяются как скоропортящиеся товары.

Революция состоит из слова, жеста и идеи. В революции большевистской слово было русским, жест — азиатским, идея — европейской. Но эти три составляющих встречаются гармонично лишь у бухгалтера или у фанатика. А русский никогда ими не станет.

На купели мечты вода быстро обернулась кровью, которую, в ужасе, выплеснули вместе с младенцем. В следующий раз Христос обратится к стране с обмирщёнными обрядами и лимфатическими жидкостями, а Россия в лохмотьях будет побираться на паперти.

Прекрасная любовь между Мечтой и Справедливостью завершилась рождением выродка. Отец, насильно стерилизованный, лопнул от стыда, мать продалась тому, кто больше даст, их прежние соития объявлены преступными. Такова история русского коммунизма.

Коммунистический опыт в России: как высокая надежда для лучших

европейских умов и как глубокое отчаяние для лучших русских умов.

Лучшие западные попутчики коммунистического дела, если бы им довелось жить в СССР изо дня в день, стали бы самыми яростными противниками большевизма. Нет ничего более удручающего, чем небесная мечта в земной оболочке. Быть умиляемым своим будущим рыцарским образом, в оттенках, и быть пытаемым в застенках КГБ.

Надо разбивать яйца, если хочешь накормить человека, — и получился колоссальный человеческий омлет, от которого до сих пор идёт несварение.

В вопросе о происхождении коммунистической трагедии, ясность обретается в последовательности ответов: поскольку в России были мерзавцы, поскольку они были и в странах-сателлитах, поскольку в любой стране можно найти великодушных людей. Эта великодушная идея обречена на ужас, ибо стоит идее превратиться в правило государственного управления, как неизбежно до власти дотянутся подлаживающиеся мерзавцы, а невинные станут бояться собственной невинности.

Несчастье России в том, что, в отличие от Рима и Парижа, после кровавых схваток плебеев и патрициев, ни Храм, ни площадь не носят имени Согласия, а самая знаковая площадь продолжает называться Красной — символом красоты или цвета крови, как та церковь в Петербурге, что напоминает нам о Пролитой Крови, вместо того чтобы призывать к её искуплению.

В европейском восприятии советского опыта столько упрощений: он был, по их мнению, дьявольской махинацией по озверению людей, тогда как на деле это было ангельское предприятие по превращению людей в

ангелов. Которые, как хорошо знал Паскаль, кончают зверями.

Сон разума, как и отключение тока, делают человека или компьютер стерильными и безвредными. Именно попытка заставить компьютер грезить или практиковать сон разума порождает чудовищ (Гойя). Реальный гуманизм есть сон разума, а советская Россия — его чудовище. Впрочем, слово *совет* — русская калька с греческого — *символ*.

Легко понять европейца — попутчика большевиков, приветствующего свирепость НКВД: революционеры, впервые в истории человечества ищущие лишь счастья, равенства и братства, разоблачают врагов, которые, стало быть, против всех этих благ — как можно жалеть таких чудовищ? И у этого европейского интеллектуала не было любопытства взглянуть в детали, например, что большинство этих врагов были озадаченными мужиками или последними из безобидных дворян.

[Достоевский](#) вкладывает в одного персонажа (нигилиста, либерала, революционера) черты, которые на практике распределяются между тремя поколениями: мечтатели, убийцы, бюрократы. Фатальность наследия и рутины, а не теория и цинизм, лежит в основе коммунистических ужасов.

Русская революция была единственной не-националистической революцией в мире. Единственной, вовлёкшей в свою гибель саму нацию, призванную с самого начала отречься от себя.

Нет, Сталин не был в Ленине, ни Ленин в [Марксе](#). Вооружённые прекрасной идеей, азиатский сатрап, космополитичный трибун, европейский мыслитель фатально превращаются в свирепого надзирателя перед лицом отвратительной реальности людей — *вырождение*

великодушия в сталинизм — Левинас — la dégénérescence de la générosité en stalinisme.

Учитывая кровавую жестокость и решающее место идеологии у большевиков, именно темперамент и риторика Гитлера подошли бы им идеально. Учитывая мелкобуржуазный дух нацистов и завистливую мелочность их расизма, именно ласковый голос и лукавый взгляд Сталина должны были их пленить. Два чудовища, чуждых своим странам.

Для развитого мира в советском опыте решительно нечего удерживать. Его следует забыть начисто, целиком. Кретинизм был его основанием, идеология — удобным ореолом вокруг ослиных голов. От близости с этим отвратительным и бессильным мародёром коммунистическая идея выходит девственной.

После советской катастрофы нет никакой охоты предаваться учёной критике коммунистической идеи, а хочется выть от отчаяния, что прекрасные идеи никогда не восторжествуют (*Коммунизм не так плох в теории, но в России он совершенно не работает — Эйнштейн — Der Kommunismus ist in der Theorie nicht so schlecht. In Russland funktioniert er aber nicht*). Всё прекрасное следовало бы оставлять за голубой линией мечты, и со связанными руками.

Путь русского разочарования в XX веке: ужас бедственных буден, гордость от несения надежды человечества, унижение от открытия, что любой тоталитаризм — без обещанной любви и подлинного величия — мог бы сыграть ту же роковую роль.

Советская Россия не ведала ни макиавельевых расчётов, ни умения

обманывать, ни захватнической стратегии — всё это измышления людей Запада, чтобы заострить противостояние, где обманщики и жертвы были не с той стороны, как принято думать. У России было лишь огромное и старческое однообразие средств, замаскированное яркостью и молодостью провозглашённых целей. Великодушный бред, исходящий от слабоумных голов.

Не слабому устанавливать соотношение сил, не бедному распределять богатства, не расточителю протягивать руку помощи — таковы истинные, и страшные, уроки советского крушения.

Среди европейцев существует консенсус по главному — свобода, демократия, справедливость; им остаются лишь скучные дебаты о технических деталях налогообложения или бюджетирования. У русских этот консенсус касается лишь второстепенного — произвол, каприз, импровизация как правила общественной жизни; чтобы приправить эту кашу в головах, они упиваются дебатами, страстными и бесплодными, о свободе, Боге, смысле существования; а справедливость по отношению к диссидентам тем временем всегда сохраняет одну и ту же природу — травлю и месть.

Форма, которую принимает спор идей: в России — Нагорная проповедь; в Германии — восхождение столпника; у англосаксов — демократический прагматизм; во Франции — гражданская война.

Россия слишком полна бесформенной жизни; я радуюсь всякий раз, когда она обращается к другим, чтобы проявиться. Франция блистает жизненной пустотой, форму которой придают лишь утончённые умы; я возмущаюсь больше, чем коренной француз, её заимствованиями из

русского коммунизма, немецкого порядка или американской мощи.

Демократия работает при условии, что ответственность сопутствует свободе; нынешняя Россия колеблется между двумя — там живут либо в постоянной бесхозяйственности (свобода без ответственности), либо при византийском режиме (ответственность без свободы).

Равенство тел и братство душ были мечтой аристократов. Но именно свобода умов похоронила её. Несправедливость, которую Токвиль приписывает французам: *Французы хотят равенства в свободе и, если не могут его получить, хотят его ещё и в рабстве — Les Français veulent l'égalité dans la liberté et, s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage* — приложима, однако, к русским былых времён. К тому же они хотели свободы в равенстве и, не получив её, не хотели её больше в неравенстве. Равенство есть долг свободы (а не, как говорит Бердяев: *Свобода есть право на неравенство*).

Римский цезарь был императором, жрецом и богом, византийский василевс — царём и жрецом, московский генсек — только жрецом. Единственное место культа обосновавшись на рынке, в современном Риме, без бога, без господина, без героя, никто больше не хочет и не может поднимать головы — это общество может быть только горизонтальным, где всякое потребление есть лишь кормёжка.

Две попытки навязать диктат реального гуманизма — христианство и коммунизм — во имя спасения человека и уподобления его ангелу завершились крушением двух огромных империй, Рима и России. Права, рассматривающие человека как робота, ведут к стабильности рынков, стадных и дьявольских.

Всякий взгляд на нацизм или сталинизм, не различающий в них доли немецкого или русского лиризма и пытающийся свести их к тоталитарным соблазнам, поверхностен. Общая пружина этих двух чудовищ — патетическая попытка заменить мелкое величественным. Страсть, а не структура. Заставившая Р. Вагнера и М. Бакунина в 1848 году оказаться по одну сторону баррикад.

Мерзавец-раб, московский бюрократ, преследовал меня своей злобой из-за моего отсутствующего взгляда, что не мешало моему тайному слову дышать. Мерзавец-господин, парижский издатель, встречает моё свободное слово равнодушием, которое мутит от ярости мой взгляд, никому не нужный. Храни честь смиренных лавин, более долговечную, чем честь настенных картин.

Странная параллель между Германией и Россией: множество молодых и бунтарских голосов прорвались после катаклизмов Великой войны, мёртвое молчание последовало за крушением нацизма и сталинизма. Жизненность смирения более не существует; ужас или стыд нравственного сознания превращаются в мирное, гордое и бесплодное сознание умственное.

Поддержание равновесия европейского тела: русская угроза вызвала развитие со стороны мозга — органа общего интереса; американская дружба свела к атавистической невесомости лишний орган — душу.

Чтобы неон и гигиена удовлетворили потребность человека в свете и чистоте, пришлось в XX-м веке испробовать обе стороны толстовской альтернативы: светить или быть чистым, феномен или фантазм, коммунизм

или нацизм, приведшие к мраку и грязи. Панцирь исключает чистоту души, что бы ни думал Данте: *под броней чувства чистоты — sotto l'asbergo del sentirsi pura.*

Мои состояния души: в Скифии — апатия перед зловонным смирением рабов; во Франции — равнодушие перед пресным бунтом господ. Я культивирую смирение высокого властителя, знающего, что всякий бунт питает в нём глубокого раба.

Культурные расколы противопоставляют людей с гораздо большей яростью, чем различия материальные. Вертикальные разрывы культуры обострили французскую и русскую революции; горизонтальная американская масс-культура разоружает классовую борьбу и расовое чувство, сводя жизнь к торгу за должности.

Последние попытки внедрить сакральное в дела человеческие привели к Освенциму и Гулагу. С тех пор — никаких отклонений, никаких крушений, никаких разрывов: лишь консенсусное подтверждение или мирное восстановление вечной ценности — барыша.

Нацизм был провинциализмом, а большевизм — универсализмом. Фольклор или философия. И они рухнули, столкнувшись со своими антагонистами: с универсальностью рода человеческого и фольклором русского народа.

Два главных общих пункта между нацизмом и большевизмом: прославление победителя и уничтожение побеждённого. По первому пункту источники противоположны — антигуманизм против гуманизма: прославление сильного, высшего или слабого, эксплуатируемого; но по

второму пункту сходство полное: видеть в противнике недочеловека, насекомое, врага народа — презрение видовое, ведущее к бойне даже вернее, чем к застенкам. А что если это фатальность всякого материализма? — *Устраняя несправедливых, мы обеспечим себе большие спокойствия* — Демокрит.

Именно Кант вдохновлял большевистские и нацистские чистки: *Кто становится червяком, не должен потом жаловаться, что его топчут ногами — Wer sich zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, wenn er mit Füßen getreten wird* — право включения в семейство червей предоставлялось тайной полиции. Можно ли быть надзирателем концлагеря, видя в каждом человеке божественное чудо? Видя в нём лишь робота, по крайней мере, не отключают ему питание и не ликвидируют.

Место политической оппозиции в самые драматические моменты истории страны: в России — подполье, в Германии — концлагерь, во Франции — облака парламентских благих пожеланий.

Приверженность Гитлеру могла быть лишь эгоизмом того, кто хотел бы оказаться среди сильных; приверженность Сталину была прежде всего альтруизмом, состраданием к слабым. Беда в том, что не сильный, не слабый воспользовались этим порядком, а доносчик, убийца и подхалим.

Социальная мечта прекрасна лишь когда она бессильна. Как только лирика (Маркса) воплощается в динамику (Ленин), её сменяет концентрационизм (Сталин).

Объяснения мира надоели; зуд преобразований охватил в прошлом веке Россию и Германию, вызвав огромные восторги и приведя к огромным

братским могилам. Вместо того чтобы терпеть одновременное присутствие ангела и зверя в одиноком человеке, захотели взрастить коллективистского ангела или расистского зверя, которые должны были образовать нового человека. Но изменилось не это — изменилось всё человечество: никто больше не интересуется объяснениями мира, все довольствуются его управлением.

В политике, как и в культуре, я плохой гражданин и плохой современник. Я приветствую дебаты о национальной идентичности, но знаю, что по обычным критериям я плохой русский, плохой немец и плохой француз. Утешает меня то, что я оказался бы в одной категории с [Пушкиным](#), [Ницше](#) и [Валери](#).

Вклады двух революций. Французской: в свободу — почти ничего, в равенство — микроскопический прогресс равенства возможностей, в братство — опьянение нескольких лет. Русской: в свободу — окончательное удушение нарождающейся свободы, в равенство — огромный скачок к равенству в нищете, в братство — опьянение нескольких месяцев. Обе — рождены из прекрасных мечтаний: мечтаний энциклопедистов, с одной стороны, и мечтаний марксизма и Серебряного века — с другой. Народы решили избавиться от мечтаний.

Сущность Запада неумолимо улетучивается; она обречена превратиться в безвкусный американизм. США воспроизводят траекторию деловитого Рима, как СССР — траекторию блуждающего Карфагена. Обе — презираемые Грецией — единственным Западом, заслуживающим искреннего уважения.

При каких системах духовность возносилась до небес? — при нацизме

и при большевизме. Чем меньше политический режим заботится о душах, тем лучше будут чувствовать себя тела и умы.

Какая толпа была более мерзкой — советская или нацистская? Та, которую парализовал страх, или та, которая не знала страха? Бараны, дающие вести себя на бойню, или роботы-убийцы? В сущности, страх не меняет исконной природы любой толпы, и Спиноза: *Толпа ужасна, когда она без страха — Terret vulgus nisi metuat* — мог бы написать — без страха или со страхом.

Немецкая история — солдат и его подвиги, русская — полицейский, английская — инженер, французская — государственный муж, итальянская — финансист, испанская — царедворец, американская — предприниматель. И хотят сделать из Истории школу мудрости и даже усматривают в ней философию! В этих нагромождениях фактов, которые, кстати, были ещё более случайны и утомительны в старину, чем ныне.

Роковой проект, рождённый в воспалённых головах [Маркса](#) или [Ницше](#), — воспитать нового человека — был запущен большевиками и нацистами, но всякая попытка создать нового *человека, внутреннего и небесного — homo novus interior et celestis* (Фома Аквинский) терпит крах из-за человека ветхого, целиком внешнего и приземлённого.

Поступки нацистов совершенно соответствуют их идеалам: война, расовое превосходство, истребление или порабощение низших рас. Но поступки сталинистов не имеют ничего общего с коммунистическим идеалом: освобождение трудом, коллективное счастье, братство сильных и слабых, гуманистические ценности, противостоящие барышу и беспощадной конкуренции. У первых всё честно и прямо; у вторых всё

лживо и лицемерно. Идеал первых внушает лишь отвращение; идеал вторых — лишь жалость.

Ницше ошибался: *Борьба за мировое господство будет вестись под знаменем философских принципов — Der Kampf um die Erdherrschaft wird im Namen philosophischer Grundlehren geführt werden.* Так была предвосхищена последняя европейская война: большевизм против нацизма, где механически первый должен был пасть перед вторым. Но конфликт отклонился и, вместо классовой борьбы, стал расовой войной, где славянская душа оказалась выше германского духа.

В российском социализме было столько же, если не больше, градаций нищеты, сколько градаций богатства на Западе. *Присущий капитализму порок — неравное распределение благ; присущая социализму добродетель — равное распределение нищеты* — Черчилль — *The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.* Социализм даёт два преимущества: сладкую безнаказанность лени и поучительное присутствие чудовищ, выдающих себя за ангелов.

Европеец и американец могут сказать, что у них тот политико-экономический порядок, которого они хотели, чего не могут сказать ни русский (где голоса слишком одержимы), ни индеец (где голоса слишком невняты), ни китаец (где голоса слишком напуганы). Первые знают свою судьбу, вторые её не знают. Одни выигрывают в программировании, другие — в странствиях. Только машина может знать свою судьбу.

Трагикомическая деталь о нынешней русской политике: разделение на левых и правых, столь чётко определённое в Европе, в зависимости от

предпочтения, отдаваемого соответственно справедливости или свободе, немыслимо в России, ибо её общество, принимая огромную несправедливость, одновременно презирует свободу.

Либераст и *мердократ* — таковы ныне в России враги народа. И вы хотите привить там вкус к свободе и любовь к народу?

Можно ли найти другую страну, где доля сочувствующих демократии составляет 1%? И русские любят не тиранию, а власть безграмотных жуликов и распущенной мафии. Они дураят мужика своим бормотанием о величии и мощи Святой Руси; так быдло может продолжать свою спячку. Горстка демократов имеет лишь две перспективы: эмигрировать или быть отравленной.

Нынешнюю Россию окутывает не тьма, а серая тоска смертельной скуки — без свободы, без света. А я в Европе, перед столь верным светом, освещающим мои неписанные и очевидные права, кончаю тем, что перестаю различать прекрасный облик свободы, ибо *свобода освещается тьмой* — [Бердяев](#). В этом веке прозрачности я ценю то, что мне удаётся сохранить свою непрозрачную душу безмятежного человека.

Главное препятствие для интеграции России в Европу — не её политика, не экономика, не цивилизация, а, попросту, культура её правящего класса: жуликоватые бандиты, безграмотные, грубые и хищные. Это не диктатура, а свободное народное предпочтение близкого мафиози в ущерб так далёкому демократу.

Всякий человек в России был единством человека града и человека одиночества, человека внешнего и человека внутреннего, гражданина и ...

идиота — таково было слово для обозначения деклассированного, агорафоба, как одноимённый Достоевский персонаж. Сегодня есть лишь стаи, стада, банды или покинутые, забытые, неудачники.

После возвращения Крыма в Россию наследственная, животная, примитивная русофобия захлестнула общественную сцену Европы, что толкает всякого независимого европейца искать оправдания разбойничьему русскому режиму. Та же намеренная слепота поражала европейских интеллектуалов после Русской революции, но тогда страной, по крайней мере, управляли мечтатели, образованные и бескорыстные, тогда как ныне ею управляют безграмотные воры и убийцы.

Свобода, подаренная Горбачёвым, никого не сделала счастливым — самое очевидное доказательство врождённого русского илотизма.

Новый человек, воспитанный величием или движимый братством, невозможен, чем объясняется провал тоталитаризмов XX века. Историческое начало готовится лишь первым человеком (бараном) или последним (роботом). *То, что произошло в России, не представляет исторического интереса; поэтому это строго противоположно началу — Ортега-и-Гассет — No es interesante históricamente lo acontecido en Rusia; por eso es estrictamente lo contrario que un comienzo.*

Освободившись от тирании, человек, уже свободный в своей глубине, будет искать для неё форму — Закон, строго соблюдаемый и позволяющий сохранить обрётённую свободу. Но человек, в своей глубине никогда не бывший свободным, будет искать лишь новую форму произвола. Таков печальный облик русского общества XXI века.

Быдло стоит у власти в России уже сто лет. Оно безразлично к изяществу в деле и неспособна к строгости в мысли. Поэтому это благое пожелание — *Если они смогут превратить суровость в твёрдость, хитрость в грацию, они станут любимы* — Амьель — *S'ils peuvent convertir la dureté en fermeté, la ruse en grâce, ils se feront aimer* — останется без последствий.

Русские революционеры: обожание народа с его воображаемыми добродетелями, ненависть к власти с её воображаемыми пороками — пропасть между мстителями и справедливостью. Европейский эволюционист: адаптация прав человека и писаного закона к политико-экономической реальности — сближение нации и государства.

Мотивы и цели Русской революции были ангельскими; для их осуществления достаточно было бы спустить с небес ангелов. Но на земле оказались лишь звери, что сделало их дело — дьявольским.

Французская революция уничтожала привилегии, Русская революция уничтожала привилегированных. Французская революция проповедовала Разум и Закон, Русская революция — страсти и произвол. Французская революция выносила войну за свои пределы, Русская революция развязывала гражданскую войну. Французская революция высмеивала сверхъестественное суеверие, Русская революция заменяла её идеологическим суеверием. Французская революция подрывала власть тиранов, Русская революция порождала худших из тиранов.

Если во взгляде на Россию исключить всякий лиризм — геополитический, идеологический или религиозный, если, следовательно, держаться лишь реальности, то-есть материи или духа, то нынешний

русский режим можно определить так: под углом материи — плутократия, под углом духа — охлократия.

Ненависть, происходящая из чувства несправедливости, в конце концов образумится. Ненависть, имеющая предками лишь варварство, может привести лишь к смертоносному безумию — таков итог большевизма. *Большевистский исход жестокости и свирепости, доведённых до безумия всеобщей ненависти* — Расселл — *The Bolshevik outlook is the outcome of the cruelty and the ferocity, maddened into universal hatred.*

Две жестокости — внешняя и внутренняя — выковали русский характер — монголы и крепостничество. *В наших жилах течёт рабья кровь — ядовитое наследие татарского и крепостного ига* — Горький.

Горстка интеллектуалов пыталась прицепить посткоммунистическую Россию к демократической Европе; свобода пробудила лишь бандитов, которым в конце концов удалось пробиться к власти. Европа, ужаснувшись, отшатнулась от неприличного пришельца. Тот, обидевшись, самопровозгласил себя антиглобалистом, не понимая, что демократия — лишь крошечный исключительный островок посреди океана бесчисленных глобализирующих тираний. Мировой элите он предпочёл стаю, банду, клановую мафию.

Нацизм обращался к зверю, а большевизм — к ангелу; но страстный человек есть нерасторжимый сплав обоих, откуда тождество результатов — террор, истребление нерешительных или нежелательных. К счастью для человечества, страсти ушли с политической сцены; и безмятежный человек предстаёт ныне как мирное сожительство барана и робота.

Здесь поэты были наивны, а великие умы — сухи. Второе монгольское иго! Но тогда материальное унижение привело к духовной нищете, тогда как ныне духовное унижение призвано было привести к материальному благополучию. *Une domination étrangère, féroce, avilissante, dont le pouvoir national a hérité l'esprit* — Чуждое господство, свирепое, унижительное, дух которого унаследовала национальная власть — Чаадаев.

Некогда буржуа воображал себя дворянином, якшаясь с художником — символом аристократии духа. Ныне единственная видимая аристократия — медийная. Буржуа отворачивается от художника и окружает себя журналистами, сам художник снижается до ремесла журналиста и становится буржуа. Как я скучаю по Франции герцога N, страдающего от последствий блуда с маркизой Y и из-за этого пропустившего набег на Фландрию или Каталонию, чтобы предаться в своём Замке написанию духовных комментариев к Гераклиту!

На словах француз призывает к хаосу и бросает гордое *Нет* миру, но на деле он одержим логикой, смягчённой гармоничным *Да*. Немец на словах хочет обнаружить порядок повсюду в мире, которому адресует смиренное или героическое *Да*, но на деле позволяет себе столько поведенческих эксцессов, продиктованных поэтическим *Нет*. *Нет* — в языке, идея — в мысли. Хаос переживает слова, но уступает понятиям. Почитать порядок — значит отречься от последнего слова и искать минимальную идею.

Традиционно всякий литератор во Франции обязан выбирать свой лагерь — левый или правый. Я не мог бы определиться: некогда можно было восхищаться высокой красотой сомнения правого и/или глубокой

благостью убеждения левака; но с тех пор как обе стороны избрали плоскую истину единственным ристалищем своих мелких схваток, ни душа, ни сердце не могут более быть их судьями; лишь бесстрастный разум приветствует или отворачивается от победителя экзаменов на магистратуру.

Франция остаётся последней страной в мире, где интеллеktуал вмешивается в политические дела, решаясь иногда даже выходить за рамки фискальной тематики. *Франция слишком благородная страна, чтобы подчиняться материальной силе* — Наполеон — *La France est un trop noble pays, pour se soumettre à la puissance matérielle*. Последним, кто в это верил, был генерал де Голль. Но капитаны промышленности, которые ныне нами управляют, плевать хотели на душевные состояния генералов.

Экстаз как состояние духа следовало бы оставить только джентльменам (и запретить монахам, адвокатам и журналистам). Следовало бы изгнать с общественной сцены восторги широты (Р.Вагнер), глубины (*Достоевский*), высоты (*Ницше*) и убаюкивать людей успокоительной плоскостью или медоточивостью М. Пруста, Шопена, Гегеля, которые следовало бы ставить на одну ногу с волнениями стадионов, бирж и залов дебатов парижских интеллеktуалов.

Тип бунтаря, в типичном стиле, каким его видит типичный интеллеktуал (Соллерс): *он любит Людовика XV, ненавидит Наполеона. Он желает знать только морскую Германию. Нет ничего более далёкого от него, чем Россия. Зато Нью-Йорк ему нравится, Китай интригует. Калифорния завидует его арьер-плану. Он сух, скрытен, проницателен. Яростный индивидуалист, он охотно дезертирует из коллективов. Короче, он всегда будет смутьяном* — *Il aime Louis XV, exècre Napoléon. Il ne veut connaître que l'Allemagne maritime. Rien de plus loin de lui que la Russie. En*

revanche, New York lui plaît, la Chine l'intrigue. La Californie lui envie son arrière-pays. Il est sec, secret, lucide. Farouchement individualiste, il déserte volontiers les collectivités. Bref, ce sera toujours un frondeur. Да трепещут тираны перед этим бунтарём! — вы поняли, речь идёт о виноторговцах города Бордо. Линия вкуса совпадает с линией коммерческого успеха. Завистливый взгляд нынешнего русского на олигарха, путану, продажного чиновника — разве он более презренен?

Абеляр и Св.Бернар назначают публичный диспут о свободе в католическом соборе; король Франции спешит туда. Ныне князья мира сего удостаивают своим присутствием лишь собрания о денежных затруднениях. Впрочем, одно из самых ненавистных слов в сегодняшней России — само слово свобода.

Именно в латиноамериканской сельве, ввиду реальной борьбы за свободу — неясную, но упоительную, — [Р. Дебрэ](#) пережил сильнейший экстаз в своей жизни. Мои же экстазы проистекали главным образом из абстрактных мечтаний. Что до свободы, я ценил её лишь конкретной, я открывал её, опьянённый, в момент, когда ступал на французскую землю и избавлялся от тяжёлого отвращения к реальности, и открывая её нежный вкус. [Р. Дебрэ](#) хотел примирить логику мысли с логикой дела — цель, которую я всегда считал неосуществимой и обманчивой. [Р. Дебрэ](#) страдает ностальгией по прошлому; я радуюсь своей вневременной меланхолии. Но что стоит моя воображаемая гармония рядом с его вполне реальными мелодиями!

Из трёх революций — английской, промышленной и обширной, немецкой, философской и глубокой, французской, политической и высокой — лишь первая сохраняет актуальность в современной меркантильной

плоскости. Вертикаль мыслителей или мечтателей ныне столь же экзотична и анахронична, как тайны или слёзы. К счастью, ужасное воспоминание о русской революции полностью погребено.

Престиж французского политика был обязан торжественной наготе слов *справедливость* и *свобода*, не сопровождаемых прозаическими эпитетами, и которыми упивались псевдо-щедрая левая и псевдо-освободительная правая. Европейский Союз, говоря лишь о социальной справедливости и экономической свободе, обнажил наготу политической сферы и вызвал падение политика в пользу экономиста. Нынешнее русское общество, не ведая ни справедливости, ни свободы, прибегает, как и во всех гнилых режимах, к патриотизму, сводящемуся к прославлению текущего заводителю.

Все русские набаты обращены ныне к внешнему миру; внутрь доносятся лишь фанфары. *Во Франции оставляют в покое тех, кто зажигает огонь, и преследуют тех, кто бьёт в набат* — Шамфор — *On laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin*. Бьющие в набат пресытились, переквалифицировались в бдительных и дисциплинированных пожарных и теперь насмеваются над поджогами. За отсутствием пожаров души, скучают с набатами ума.

Скука и отвращение русского интеллектуала находятся ныне между старыми вздохами или молитвами, с одной стороны, и ужасом и страданием — с другой. *Монастырские кельи и застенки накладываются друг на друга, кнут заменяет власяницу, хрипы сменяют псалмодии* — Колосимо — *Cellules monastiques et cachots se superposent, le knout dispense du cilice, les râles succèdent aux psalmodies*. Но возврат к этим двум крайностям по-прежнему на повестке дня.

В СССР престиж математика или актёра затмевал торговца; ныне бизнес-школы берут реванш. Упразднение гуманитарных факультетов кажется единственным способом освободить Францию от тирании критиков и социологов искусства. Или оставить их столько же, сколько кафедр топологии, а остальное естественным образом включить в инженерные или коммерческие школы (эргономика инжиниринга).

Пагубные нелепицы русской революции понятны, если вспомнить, что для Ленина жалкая гегелевская логика была провозглашена алгеброй Революции! Так же и неприятие буржуазной науки объясняет, почему в великих социалистических стройках господствуют серп и молот в ущерб машинам.

Прекраснейшие идеи и прекраснейшие чувства пленяют нас лишь нереальными или неосуществлёнными. *Коммунизм есть реальный, осуществлённый гуманизм* — Маркс — *Der Kommunismus ist der wirkliche, der vollendete Humanismus*. Гуманизм, перешедший в реальность, ставший humanity in action, умирает, как умирает любовь, вопреки всему вовлечённая в практику. Христианство умерло от допуска холодной реальности в его горячее слово (и тебе следовало бы сохранить название *Коммунистический катехизис* для твоего *Манифеста* — по образцу *Позитивистского катехизиса* О. Конта и *Катехизиса революционера* твоего русского единоверца — добавив: *для колеблющихся*).

Дух или душа легко воспламеняются, когда взывают к великодушию, чтобы пуститься в общественные авантюры, тогда как сердце остаётся верным своему призванию одиночки. Поэтому послания **Вольтера** (дух свободы) и **Толстого** (сострадательная душа) сыграли столь пагубную роль

в революционных свирепостях, французских и русских, тогда как немецкий романтизм (мечтательное сердце) исключал всякое братство на улице с филистерами.

Краткие оттепели отмечали постсталинскую историю России, но заканчивались очередным загниванием. Но, может быть, К. Леонтьев был прав: *Россию надо подморозить хоть немного, чтобы она не гнила*. В XXI-м веке поняли, что надо дать России сгнить, прежде чем она будет заморожена снова. Петербург, изобретённый Петром Великим как окно в Европу, должен быть избавлен от европейского влияния, по мнению дикого мэра этого несчастного города.

Бесполезно задавать русскому вопрос: *как вы можете поддерживать вашего угнетателя N?* Гораздо поучительнее дать ему ответить на вопрос: *почему N — ваш угнетатель?* — и констатировать недоумение вашего раболепного собеседника.

В России ангел справедливости показывает свои кровотечения, но прибегает зверь, чтобы лишь усугубить раны и заодно прикончить ангела. *На вопросы ангелов отвечают демоны. На смену битве орлов приходит битва спрутов* — Р. Шар — *Les questions des anges provoquent l'irruption des démons. Au combat des aigles succède le combat des pieuvres*. Ангельская вертикаль, невидимая в звериной горизонтали, видна лишь издалека — временного или пространственного.

Маркс оправдывает революции немецкой поговоркой: *Лучше ужасный конец, чем ужас без конца* — *Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende* — и я бы добавил: *Лучше восторженное начало, чем восторг без начала*.

Демонизировать ангельский подход, поскольку он фатально приводит к аду, — таков подход европейских консерваторов. Они хотят внушить нам, что революции делают для установления диктатуры. Русские думают, что прибегают к диктатуре, чтобы совершить революцию.

Последовательные стадии европейской эволюции: обезжизненность, приниженность, уплощение. Но русская революция делала хуже: поляризация, восхваление, обезглавливание. Надо искать убежища в инволюции: не доверять голове и жить накалом души.

Толковый европейский интеллеktуал: естественно сдерживать в себе революционные замашки; подло одновременно хоронить и мечту о них. Легкомысленный русский интеллеktуал: подло лишь мечтать о жизни; революция — воскресение уснувшей активности.

Я могу простить [А. Блоку](#) и Маяковскому, Э. Юнгеру и [Хайдеггеру](#), что они слышали музыку на вершине революционной башни из слоновой кости. Что они не слышали воплей в пыточных помещениях — непростительно.

Русский революционер хотел бы, чтобы всякий слабый мог рассчитывать на солидарность сильного. *Чтобы, если, упав, ты крикнешь: Товарищ! — вся Земля обернулась к тебе* — Маяковский. Но нынче, когда равнодушие ничуть не мешает жизни роботизированного человека, он идёт на кладбище с тем же спокойствием в душе, что и в свой офис. Проблема упростилась с тех пор, как человек стал рассуждающим роботом или бараном. Дежурные починщики продолжают своё дело, чтобы Земля с чистой совестью могла продолжать заниматься своим равнодушием, не

поворачивая головы.

Известна спираль революций: рождение пророков, создание апостолов, ад инквизиторов: *Шествие к звезде: идущие впереди несут посох, у идущих сзади есть бич — Брак — La marche à l'étoile : ceux qui vont devant portent la houlette, ceux qui marchent derrière ont un fouet.*

Чтобы реабилитировать революции, следовало бы вспомнить, что это слово *revolver* означало некогда возврат к истокам. Но культ тёмных начал обернулся в России догмой светлых финалов.

Так легко видеть в низости главный мотив консерваторов, а в зависти — революционеров. В Европе те и другие предаются, преданно и компетентно, защите покупательной способности. В России революционер становится бандитом-консерватором.

Революционером становятся, когда живут сущностью мира. Когда русский погружается в своё печальное существование, он придаёт слишком много значения его абсурдности (несообразности с мечтой) и кончает хаотическим бунтом, который ещё более абсурден.

Сначала приветствуют революционера, который приканчивает гиену, волка, ворона; но затем наступает черёд голубей или кротов: *Скорее головы канарейкам сверните — чтоб коммунизм канарейками не был побит!* — Маяковский. Когда речь идёт о сворачивании шей (канарейки, волка, акулы, насекомого, нечисти), свинья рискует возглавить крестовый поход. Так и случилось в России. Но если пытаться выпрямить свою собственную шею, превращаешься в гиену. Так случилось в другой стране. Склонить шею? — не решение ли это? Отказаться от лебединой песни?

Русские революционеры начали с провозглашения торжества светлого будущего над ненавистным прошлым, истребляя своих противников и лишая себя тем самым, необходимого элемента борьбы, чтобы оживить настоящее. *Революция есть борьба между прошлым и будущим* — Ф. Кастро — *Una revolución es una lucha entre el pasado y el futuro*. Русский революционер, утратив сострадательный взгляд на прошлое и братский взгляд на будущее, превратился в надзирателя бедственного настоящего.

Для человека справедливости, революция, как и благо, должна быть упоительной, мечтательной идеей, а не трезвым, пробным действием (как воображали русские революционеры). Ибо всякое действие в конце концов отрезвляет от всякого головокружения. Всё, что ощущается как сакральное, должно укрываться в храме или в его развалинах, в закутках нашей чувствительности.

Демократическая трезвость не вдохновляет поэта; русского поэта уносит деспотическое опьянение. И русская революция оставит его в застенке, в тошноте, в самоубийстве — вполне реальных и ужасных. Вернувшись по счастливой случайности к демократии, он примется изобретать застенки, отвращения, самоубийства — легко доступные.

Благороднейшие бунтари и лучшие мечтатели, безусловно, позади нас; будущее принадлежит американским менеджерам или русским бандитам. Революция более невозможна, ибо вся поэзия мертва. *Революция не может черпать свою поэзию из прошлого, но лишь из будущего* — Маркс — *Die Revolution kann ihre Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft*.

Первые удары русской революции были небесными молниями, поражавшими идею, Бога, привычки. Последующие удары — прозаические уловки разъярённых и продажных преследователей, направленные против соседей, соперников, счастливицов. Ищут идолов для ниспровержения и кончают резнёй зевак, таких как Бог, икона, священник, прохожий.

Ненависть, негодование или презрение — таковы состояния души, разделяющие нас по политическим кланам — революционному, демократическому, аристократическому. Нацеленность на финалы, средства или начала. В России это произвело тиранов политико-психологического масштаба (носителей света), рабов (получателей света), мечтателей (бросающих тени).

Не Достоевское негодование, а Толстовский стыд или презрение должны были бы двигать русским революционером. Презрение к циничной силе, стыд за привилегии рождения, ума, усердия, знаний, привилегии материальные. Но прекрасная и чистая революция, оставаясь верной демократии умов, должна была бы проповедовать аристократию душ.

Русский революционер — ясность того, что должно быть разрушено, и смутность созидательной задачи; европейский консерватор — сомнение в своевременности разрушения и поиск средств строительства. Но надо выбирать между восторгом и свежестью первого и скукой и инерцией второго.

Во время русских революционных ужасов бедняк не был уверен в своей честности, богатый — в своём состоянии, а невинный — в своей жизни — Жубер — Pendant les horreurs révolutionnaires russes, le pauvre n'était pas sûr de sa probité, le riche de sa fortune et l'innocent de sa vie. В европейской

демократии бедняк уверен в своём состоянии, богатый — в своей жизни, а невинный — в своей честности. Выиграли в серости и заурядности.

Гюго хорошо описывает русскую революцию: *Le peuple est conduit par la misère aux révolutions, et la révolution ramène le peuple à la misère* — Нищета ведёт народ к революциям, а революция возвращает народ к нищете. Голодная элита жаждет единомыслия, а кормилица-демократия внушит ей мироощущение сытых. Всё ещё не понимают, что само существование сытых означает существование нищеты. Нищета — в сравнительной степени цинизма, или изобилие — в превосходной степени ироничности.

А. Блок приветствовал русскую революцию: *Революция — это я — не один, а мы. Реакция — одиночество*. Реакция изобрела формулу: я как все, а революция заменила мы на вы — реакционное стадо стало более сплочённым и солидарным, чем революционная казарма.

Худшие тираны — действительные или возможные — те, кто не признаёт ни Бога, ни господина. От разгрома храмов и дворцов в России выиграли лишь казармы и хлева.

Советская тирания давала унижительную интенсивность благородной душе и торжествующую интенсивность душе низкой; она погрузила совесть обеих во тьму. Европейская демократия, делая обе однородными, алчными, расчётливыми, прозрачными, плоскими, безжизненными.

Русские революционеры проповедовали великодушие и благородство — страна очутилась в тирании, серости, царстве болтливых глупцов. Европейец принял суровость закона и низость расчётов — Европа обрела

свободу, монотонность, царство активных глупцов.

Рождающаяся свобода всегда волнительна; молодая свобода желанна; зрелая свобода бестрастна. К счастью, свобода никогда не стареет — перенося бесчисленные прививки всего жизненно важного, она мумифицируется в своей зрелости. Русская тирания, напротив, умеет сохранять вечную молодость лжи.

Удары, которые я получал в русской тирании, отождествлялись с духом тирана, которого я мог ненавидеть. В европейской демократии эти удары анонимны, продиктованы буквой. Плотская ненависть питает живое отчаяние, механическая, неорганическая обида заставляет отчаиваться в жизни.

Все русские тираны обещали царство духа, идеи, слова. Свободный европеец довольствуется почитанием буквы.

В русской тирании я восхищался и сострадал мученикам, лучшим из людей, ничтожному меньшинству, и таким образом, в моих глазах, свобода вступала в элиту ценностей. В европейской демократии посредственности, торжествующее большинство, внушают мне отвращение, и свобода низвергается в ряд самого вульгарного. Единственная *ratio essendi* страдания — моя собственная слабость, которую никакая *ratio cognoscendi* не приподнимает, — унижительный демократический вердикт, через отрицание, отказывает порывам моего стыда или гордости в земной опоре.

Два возможных идола: европейское развитие или русское братство. Шествие первого: скука, роботизация, прогресс; второго: восторг, тирания, крах — *Всякая общность, основанная на восторге, кончает идиотизмом*

— Прудон — *Toute communauté, fondée dans l'enthousiasme, finit dans l'imbécillité.* Отказаться от этой дихотомии — значит быть глупым до слёз или демагогом до верёвки, либо и тем и другим одновременно.

Надо постоянно изобличать правило тиранов: *cujus regio ejus religio* (большевизм и нацизм были религиями), но взгляните на скуку её демократической противоположности: *cujus religio ejus regio* — и согласитесь, что, возможно, наилучшее правило, это *religio sine regie*.

В русской тирании, в поисках одурманивающих средств, мечта как опьяняющее движение соседствовала с пусканием пыли в глаза и с деревянным языком. В трезвой европейской демократии мечта как товар сродни подделке. У мечты есть небольшой шанс удержаться при тирании, при демократии его нет вовсе. *Благословенная цензура, мать метафоры* — Борхес — *censura, madre de la metáfora!*

Очевидность *Нет* российскому обществу, порабощённому бескрайней тиранией, искусственно возвышает душу. Трудность *Да* демократическому, бесстрастному и мелочному европейскому обществу, неизбежно делает глупее. Но в политике вести бал должен ум, и горизонтальный марш вытесняет там вертикальный танец.

Русский тиран не может утвердиться, опираясь на посредственные причины, ему нужны прекрасные и возвышенные. Что защищает европейца от тирании, так это ничтожность сероватых поводов, выдвигаемых людьми. В суждении о делах человеческих природа носителей важнее высоты причин и низости последствий.

В России обратились к величию, чистоте, поэзии человека — пришли

к тирании мерзавца, жестокости и мракобесию. Европейец обратился к потребителю и налогоплательщику — последовала демократия, терпимая и просвещённая, без всякого пропагандистского усилия. Вот почему всякий театр ныне — театр бульвара, всякая книга — отражение газеты, всякая мечта — немедленно переводится в цифры.

Русская тирания и европейская демократия нацелены на одни и те же нормы, но первая проповедует их дух, то есть ценности, тогда как вторая довольствуется буквой, законами. Дух покрывает столько же коллективных мерзостей, сколько буква — личных. Кем хочешь ты быть униженным? — бараном или машиной?

Прогресс европейской демократии напрямую связан с политической грамотностью народа, поскольку все дураки должны симпатизировать русской тирании, где они могли бы править, даже не имея права голоса. Показывать глупость каждого и устранять глупейших — одно из величайших благ демократии.

Столько напыщенной болтовни вокруг европейского демократического плюрализма, тогда как плюрализма идей больше нет, а есть лишь плюрализм сил. Все проповедуют одну и ту же англо-американскую социальную модель, основанную на принципиальном неравенстве; её прежние противники не только не хотят более идеологически с ней бороться, они не могут этого даже материально. Истинный плюрализм существовал лишь в русской тирании, чтобы обсуждаться в подпольях или на кухнях. Когда ему удаётся вторгнуться в парламент, уже поздно — единая мысль уже заполнила все мозги.

Пот на лбу рабов, рабов плуга или пера, а не кровь свободных людей,

был семенем европейской свободы; русские тираны упивались кровью мучеников. Кровь, как удобрение или приправа, уже не оживляет потока русских слёз, пота или чернил. В версии трансгенного клонирования европейская свобода довольствуется отныне искусственным оплодотворением.

Как избавиться от человека у власти? Если он европейский демократ, он не знет что делать, когда народ, вместо перебирания цифр, принимается рыдать. Если он русский тиран, стоит ему споткнуться, как народ принимается за смех.

Все великие идеи тираничны; можно ли вообразить философского певца демократии? Но Платон хочет помочь тирану Дионисию, Гегель естественно влюбляется в Наполеона, [Ницше](#) — в Цезаря Борджиа, Сартр — в Сталина, [Хайдеггер](#) — в Гитлера.

Русская тирания: ссора без диалога; европейская демократия: диалог без спора. Ум в диалоге, душа в споре — чего же удивляться, что романтик склонен к произволу!

Неуравновешенность тоталитаризмов идёт из их систематической пристрастности: тирания левая, большевистская, механически на стороне слабых, что губит экономику и свободу, а правая, нацистская, цинично — на стороне сильных, что губит братство и свободу. Тогда как западное демократическое равновесие достигается властью, сильной в мире, и слабой в смуте.

Русская тирания пробуждала чувства поэтические, героические, эпические; такие чувства заставляют краснеть европейскую демократию, и

она от них избавляется. Демократия — это отчаяние оттого, что нет героев, чтобы тобой управлять, и удовлетворение от возможности обходиться без них — Карлейль — *Democracy means despair of finding any heroes to govern you, and contented putting up with the want of them.* Тирания — отчаяние или отвращение оттого, что приходится слушаться властных героев и следовать навязанным путём.

Нация, упивающаяся поэзией, — законная добыча трезвых тиранов: никогда так не превозносили Ф. Шиллера и Пушкина, как при Гитлере и Сталине. Центральное место, занимаемое бухгалтерией в головах людей, — лучшая гарантия прогресса терпимости и мягкости нравов.

Русская тирания всегда представлялась как исключение, но сопутствующие бедствия очень быстро оказывались правилом. Европейская демократия умеет делать правилом даже исключения; но это социальное благо, применённое к человеку, делает его роботом, что является бедствием прежде всего для творца, который всегда тиран.

Тоталитарная реальность в России была скорее суровой, поэтому её тираны, чтобы сохранить своё текущее место, вбивали в головы идиллические образы светлого будущего, тогда как *демократию занимает и поглощает лишь текущий момент* — Токвиль — *le moment actuel seul occupe les démocraties et les absorbe.* Чем лучше устроено пространство, тем лучше время держит свои обещания. Ясная цель смущает демократа; ясное ограничение разоружает тирана; и поскольку хорошие ограничения лучше хороших целей, следует предпочитать демократию.

Всё казалось монолитным в советской тирании — игла сомнения сдувает это за несколько дней. Всё кажется шатким в европейской

демократии, но всё держится благодаря прочному сомнению, которое питают граждане.

В русской тирании хотели, демагогически, сделать каждого человека благородным; в европейской демократии хотят, честно, упразднить всякую вертикальную шкалу. Лишь антидемократические режимы пытаются время от времени претворять свою цель в реальность (тогда как благородство переводимо в поступки лишь в качестве ограничения), что вызывает лишь новые приливы низости. Демократия есть смягчение низости, тирания — обострение благородства.

Все великие русские тираны были великими одиночками-охлофобами. Однако *толпа — мать тиранов* — греческая поговорка — она, возможно, лишь кормилица.

В русской тирании свободный человек кричит, стонет или шепчет; в европейской демократии он усмехается, доказывая тем самым свою внутреннюю рабскую сущность. Пожатие плеч, ложный знак господствующей ферулы. Именно шея — согнутая, склонённая или выпрямленная — лучше всего передаёт степень презрения, которое можно себе позволить.

Европейская демократия — полнота и жизненность, а мысли нужны пустота и скорбь, чтобы обрести вес и значимость. События же, напротив, запечатлеваются лишь в бесцветной демократической памяти, тогда как в русской тирании они оживляют картины или хоругви. Демократия — смирение перед серостью наших идей и подвигов.

Да, откровенность принадлежит европейской свободе, а ложь —

русскому рабству; но то, что выставляют напоказ в свободе, — плоские общие места, тогда как в тирании за общей ложью вибрируют истины личные и внутренние.

В сочинении, между доктором и доктриной, я слаб тем, что интересуюсь больше первым — источником чувственной мистики, нежели второй — приводящей лишь к умопостигаемой политике. *Все доктрины прекрасны в своей мистике и уродливы в своей политике* — Пеги — *Toutes les doctrines sont belles dans leur mystique et laides dans leur politique*. При разных режимах доктрины уродят не одни и те же части общественного тела: русская тирания калечит руки, гноит лёгкие и сотрясает мозг; европейская демократия успокаивает сердце, сушит глаз и усыпляет душу.

Европейская демократия — трезвость власти. Русская тирания — её опьянение, что ставит под одно знамя поэтов, бездомных, бандитов и палачей.

Русская тирания мутит зрение ложными тайнами вокруг своих безумных проектов; главное преимущество европейской демократии — лучшая видимость на общественной сцене: глупость, некомпетентность, лень, среди проблем и решений, не ускользают от гражданских взглядов.

Для свободного художника русская тирания была скорее благоприятным ограничением, чем парализующим унижением. Особенно если он дорожил тайным выражением своей души больше, чем дозволенными впечатлениями на бумаге. *Имея свободу мысли, они требуют свободы слова* — Кьеркегор.

Произвол тиранов в русском тоталитарном обществе заставлял

трепетать всякого инакомыслящего — политического или нравственного; но там легко уживались со своей беспокойной совестью, заслуженно или нет. В европейской демократии человека ограничивает лишь писанный закон, откуда размножение спокойных совестей у нравственных мерзавцев. Забвение первородного греха, присущего всякому поступку, удаляет от Блага.

Русские тираны начинают с убеждения слабого, что у того достаточно причин — отличных и неопровержимых — чувствовать себя счастливым, гордым, уверенным в будущем. В европейской демократии он волен изливаться в жалобах — посредственных и общих — на свои несчастья, унижения, суженные горизонты.

В России благородное и свободное *Нет* тирании сменяется подлым и вынужденным *Да* другой тирании. В Европе устанавливают демократию благодаря героизму *Нет*, который люди бросают в лицо тирании; демократия затем поддерживается благодаря низости *Нет*, которое ей противопоставляют сытые бараны и крепкие роботы. В демократическом обществе *Да* присуще монахам, клошарам и прочим одиночкам.

Европейский демократ хочет считать голоса, русский тиран — направлять их, космополитический аристократ — взвешивать или, лучше, модулировать — *testes non numerantur, sed ponderantur*.

Европейская демократия находится в творческом становлении, приводящем волей-неволей к механическому, но устойчивому бытию. Русская тирания замышляла воплотить вечное и органичное бытие в хаотическом или свирепом становлении. Человек исключительный нашёл бы себе место во втором случае, но **Ницше** думает иначе: *Гений*

испытывает чувство мести ко всему, что уже есть, но что более не становится — Das Genie kennt ein Rache-Gefühl gegen alles, was schon ist, was nicht mehr wird.

В России, чем больше ссылаются на коллектив, тем больше превозносят личность тирана. В Европе, чем больше культивируют личные права, тем банальнее становится всякий предводитель масс.

Русские тираны, как и европейские демократы, — за власть лучших, то есть за аристо-кратию. Что их отличает — это избирательный корпус: банда или толпа. Античность пыталась доверить голосование только элите, что всегда приводило к ещё большей капризной тирании или к ненавидимой демократии.

Демократия освобождает нас от Ужасного и делает Истину (Закон) единственной необходимостью нашего общества. Прекрасное становится излишним. Встречи Ужасного и Прекрасного, эти предпосылки поэтического искусства, становятся невозможны. Русская тирания, напротив, была соткана из Ужасного, пробуждавшего аппетит к Прекрасному.

В европейских демократиях правит идея; в русской тирании верховодит слово. *В начале было Слово, а не болтовня, и в конце будет не пропаганда, а снова Слово* — Г. Бенн — *Am Anfang war das Wort und nicht das Geschwätz, und am Ende wird nicht die Propaganda sein, sondern wieder das Wort.* И действительно, дистрибуция заменила пропаганду, и повествовательное слово заставило умолкнуть всякое имя, с которым поётся вместо того чтобы только повествовать. Пожелаем, чтобы следующим началом стал потоп.

Русские тираны хотели бы, чтобы предавались, страстно, слепой и блаженной рабской покорности; европейская демократия культивирует обдуманное и беспристрастное согласие. Даже Бог был бы демократом, ибо, по Декарту и Спинозе, он практикует свободу безразличия.

В русской тирании чем выше ты над другими, тем ты подлее. Тогда как в европейской демократии чем ты подлее, тем больше у тебя шансов быть над другими. *Деспотическое правление есть порядок вещей, когда высший подл, а низший унижен* — Шамфор — *Le gouvernement despotique est un ordre de choses, où le supérieur est vil et l'inférieur avili.*

Крушение СССР сделало деньги единственным судьёй в обществе: *Впервые в истории мира деньги одни против духа* — Пеги — *Pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est seul en face de l'esprit.* Ты не упоминаешь старых вероломных соратников духа: тиранию, произвол, каприз. Дух, между тем, приспособился ко всеобщей монетизации и даже стал её певцом.

Русская дилемма: необъятность материального пространства при нищете духовных объёмов. Здесь всё призывает к тирании. *Вопрос массы и объёма, а не поверхности* — Р. Шар — *Question de masse et de volume, plus que de surface.* Русская поверхностность примирилась с высотой жестов, объём же возжелал глубины и увяз в ней.

Ярым низвергателям всех мастей говорят: не нападайте на людей, а опровергайте их идеи. Но идеи, приведшие людей к величайшим бедствиям, были среди прекраснейших и неопровержимых! Возьмите идею нигилистическую (интимную) и чудовищ (социально-политических), из

неё рождающихся: нацизм и большевизм. Человек воистину ангел идей, выражающий себя на языке зверей. Надо идентифицировать зверя. Следовало бы поощрять лишь барана, белку и муравья. Остерегаться соловьёв, сов, орлов, львов, котов. В конечном счёте, всё прекрасное и соблазнительное не нашло бы места вне зоопарков, музеев и библиотек?

Восторг и созидание преобразуют человека; они уродуют людей. Русский политический нигилизм противоположен европейскому духовному нигилизму. Коммунизм отсылает к афинскому демосу, а нацизм подражает Иерусалиму избранного народа.

Шарлатан, подражающий мерзавцу и становящийся палачом, — так Б. Кроче видит путь фашизма, вторивший большевизму: *Подражание между канальством и шутовством — Una imitazione tra canagliesca e buffonesca.*

Русский коммунизм — дитя Просвещения (Вольтер, Руссо, Дантон), как нацизм — дитя Ренессанса или Средневековья (пропаганда Геббельса вдохновлялась propaganda fide римской курии, как модель СС Гиммлера, этого Лойолы Гитлера, была при ордене иезуитов, который является исходной моделью всякого тоталитаризма). Но нигилизм их новых людей или порядков многим обязан новым ценностям Ницше.

Не русский бунт, лёгкий и коллективный, против второстепенного, находится в центре европейского нигилизма, но трудное и личное согласие с универсальным.

Европейцы так привыкли всегда пользоваться одними и теми же весами и, главное, одной и той же единицей измерения, что русский

нигилистический призыв изобретать собственные измерительные инструменты, исходя из невесомости нулевых точек, их пугает. *Нигилизм есть событие исчезновения веса всех вещей* — Хайдеггер — *Der Nihilismus ist das Ereignis des Schwindens aller Gewichte aus allen Dingen*. Не к переоценке всех чужих ценностей я должен призывать, а к правильной ориентации моих собственных векторов, то есть моего взгляда.

Не участвовать ни в одной из главных мерзостей прошлого века — большевизме или нацизме, — чаще всего признак посредственности для того, кто был причастен к действию, несмотря на свою любовь к слову. И всё же благонамеренная Европа всегда ищет этих пресных чистоплюев и воздвигает их на пьедестал, покинутый прежними энтузиастами.

Мечта европейского интеллектуала — чтобы его объявили опасным, чтобы попытались поставить на место, заклеямили, заточили, объявили ненавистным и врагом общества. И он завидует Б. Расселлу, чьё произведение было объявлено Верховным судом США: *похотливым, сладострастным, вожделеющим, распутным, эротоманским, афродизиакальным, непочтительным, лишённым моральных фибр (lecherous, salacious, libidinous, lustful, erotomaniac, aphrodisiac, irreverent, bereft of moral fibre)*. Любопытно, что все эти качества действительно распространены в нынешней русской простонародной интеллигенции.

Больше всего русская клептократия боится горстки разрозненных интеллектуалов, которые в Интернете насмеваются над алчностью и дикостью этих безграмотных мафиози. А вот гильдия европейских интеллектуалов вызывает не больше беспокойства, чем ассоциация бакалейщиков (Ноланский шарлатан, увенчанный четырьмя отлучениями, авантюрный Т. Мур, освящённый и Ватиканом, и Кремлём, вызывают

зависть своими нимбами, в которых отказывают покладутому монтанизму). Надо признать, что именно лучшие правят Градом — щекотливое заключение для политика-профессионала или обличительного критика. Те, кто живёт обидой на карликов, редко способны на согласие с гигантами.

Перед решимостью Госдепа и Пентагона нейтрализовать русского солдата и китайского коммерсанта европеец сетует, что с этой стороны Атлантики не звучит ни один сильный и общий голос. Но европейский голос некогда сводился к душе, к вибрации струн этических, эстетических и мистических. Они более не вибрируют; и в монотонном экономическом гаме, единственном, что достигает ныне ушей, имеет значение лишь биржевая активность.

У русской клептократии нет правил, есть лишь смутные клановые понятия. У европейской демократии нет идей, есть лишь правила. Все прекрасные идеи тоталитарны, но именно демократия даёт наилучший инструмент для их реализации. Европейское единство — отличный пример, и утопический идеал равенства проявится на свет не вследствие страстности радикалов, а благодаря трезвому демократическому взвешиванию.

Умы — свободные предприятия; души воплощают аристократическую тиранию. Отсюда угасание последних и размножение первых. Нет больше русских мечтателей, невольников своих душ. В Европе — лишь свободное жвачное стадо, меряющееся своими умами. *Нет ничего мне более чуждого, чем вся эта европейская и американская порода свободных мыслителей — Ницше — Nichts ist mir unverwandter als die ganze europäische und amerikanische Species von libres penseurs.*

Из французского девиза лишь братство выживает, да и то с трудом, в несправедливой и рабской России. Свободно и братски принять материальное равенство — таков должен быть первый принцип европейского общества, то есть одновременно христианского, коммунистического и аристократического.

В России нет более ни первых, ни последних, это сплошная толпа бандитов, различаемых лишь степенью материального благополучия. По-человечески, я приветствую наступление в Европе царства последнего человека — оно уменьшает число слабых. Я сокрушаюсь о позиции первого: его подчинение вкусам последнего и поиск признания последним. Победённый владыка, завидующий победоносному рабу — жалкое зрелище! Как только появляется эта отвратительная жажда признания, больше нет владык, говорят даже (Кожев и Фукуяма), что больше нет и Истории, поскольку равенство шансов утишает все амбиции.

Более чем лирическому иступлению [Маркса](#), XX-й век обязан своими ужаснейшими большевистскими или нацистскими зверствами механической эрудиции Гегеля: вся этой чепухе об Истории, диалектике, религии, Государстве, где всё ничтожно, всё против непредсказуемой свободы человека и за ясность сугубо роботическую.

Грамматическая история большевизма: философская речь, идеологический лозунг, апокалиптическое междометие — высота, плоскость, бездна.

Прекрасные политические мечты следовало бы испытывать как европейские таинства, которые улечиваются, как только увидишь их

русское решение. *Коммунизм есть разгаданная тайна истории, и он видит в себе её решение* — Маркс — *Der Kommunismus ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung* — это решение называлось, увы, большевизмом.

В русской политической мысли было три рода перспектив: рай, История, карьера. Надо признать, что это нисходящая шкала причинённых бедствий, но также восходящая шкала нарождавшихся низостей.

Русская история доказывает, что счастье народов следует доверять лавочнику, а не поэту. Всякий деспотизм имеет своим истоком любовь к поэзии. Господство рынка — лучшая гарантия свободы. И Н. Шамфор, парадоксально, прав: *Единственная история, достойная внимания, — история свободных народов — Il n'y a d'histoire digne d'attention que celle des peuples libres.*

Русский бунт — сын глубины существования, и эта глубина — страдание. Для Камю: *Бунт — мать форм, он держит нас на ногах в истории — La révolte est mère des formes, elle nous tient debout dans l'histoire.* Но слишком часто он пренебрегает ограничениями, которые суть высота, и которые учат нас благородству приятия и положению лёжа перед безмолвной Историей.

Столько свободных европейцев остаются равнодушными к скандалу материального неравенства; столько русских рабов извергают свою ненависть перед свободным миром; именно будущая встреча стыда и благородства примирит когда-нибудь свободу и равенство; эта встреча, возможно, назовётся братством.

Свобода для русского тревожна и смутно желанна. Пушкин — *Мы ждём с волненьем упования минуты вольности святой. Как ждёт любовник молодой минуты верного свиданья.* Если бы ты знал, что между тем европеец готовит брачные контракты... И думает больше о когтях, чем о рогах.

Те, кто проповедуют великодушие и благородство, оказываются в русской тирании, серости, царстве велеречивых дураков. Доверяются европейской суровости и низости — добиваются свободы, скуки, царства дураков деятельных.

Европейская свобода — это то, что позволяет мне жить тем, что я есть: банальностью и бессилием. Русское угнетение заставляет меня заново изобретать то, чем я мог бы быть: чарующими и неотразимыми химерами.

Сегодняшний свободный европеец не знал ни порыва, ни терзания, ни ига политической идиллии, бросающей вызов силе денег. Он знал лишь безраздельное царство лавочника. Русские подопытные кролики поэтико-инквизиторских экспериментов легче угадывают прелести общества купцов, чем адепты экономической истины воображают ужасы утопической истины, ставшей плотью. Чем свободнее, тем слепее. *Вольтер* сказал: *чем более люди просвещены, тем они более свободны. Его преемники сказали народу, что чем более он свободен, тем более он просвещён; что всё погубило* — Ривароль — *Voltaire a dit : plus les hommes seront éclairés et plus ils seront libres. Ses successeurs ont dit au peuple, que plus il serait libre, plus il serait éclairé ; ce qui a tout perdu.*

Все русские тираны обещают царство духа, идеи, слова. Сегодня свободный европеец довольствуется почитанием буквы.

В русской тирании я восхищаюсь и сочувствую страдающим, лучшим, ничтожному меньшинству, и таким образом, в моих глазах, свобода вписывается в элиту ценностей. В европейской демократии посредственности, торжествующее большинство, внушают мне отвращение, и свобода сваливается в самый вульгарный разряд. Единственная *ratio essendi* страдания — моя собственная слабость, которую не устраняет никакая *ratio cognoscendi*, — унижительный демократический вердикт, отказывающий в земной опоре порывам моего стыда или гордости.

Русская мистика свободы (Бердяев) бесплодна; столкновение с её проблемой (Достоевский) делает бесплодным; размножение её решений (либералы) свидетельствует о массовом расползении робота.

В Европе больше нет индивидуальных тиранов и навязанных ими тиранией, но на смену им пришёл новый тиран, коллективный на сей раз, — масса, её мнение, её суждение — тирания невольная, безоговорочно принятая всеми элитами. Всё там оценивается в цифрах — число судей, читателей, слушателей, тиражи, продажи. Даже русские докатились до этого. *Зависеть от властей, зависеть от народа — Не всё ли нам равно?* — Пушкин.

Самый непримиримый политический конфликт противопоставляет русских сентименталистов европейским циникам, сторонников братской справедливости — поборникам формальной свободы. Первые порождают нищету и порыв, вторые — изобилие и скуку.

Политика имеет два основополагающих предположения — человек

добр (русские) или человек зол (европейцы). У них равные по весу оправдания; либо умиляешься участи раба, либо освобождаешь силы мерзавца. Тот же результат: раб сохраняется, мерзавец сопротивляется.

Жалкие олухи вроде Поппера и Хайека, более американские, чем сами американцы, видят в крушении реального коммунизма достаточное основание молиться лишь на свободное предпринимательство, технологию, равенство шансов. И они правы в своём храме — огромном и безмолвном машинном зале, где считают и суется свободные роботы с погасшим сердцем. А я был бы неправ, если бы захотел распространять свои идеи телесного братства и равенства тарелок за пределами моего клуба джентльменов.

Три тысячи лет культ мудрости — поэтической или научной — противостоял вульгарному господству денег. Идеи — гражданские, богословские, философские, политические — обладали силой притяжения, умеряя меркантильную тиранию. Но Град уступил Бирже, объявлена смерть Бога, братство свелось к кулинарному искусству. Последний удар по гуманизму был нанесён крушением СССР, похоронившим коммунистическую идею. Все вертикали рухнули; бесконечная горизонталь рисуется на форумах и в головах.

Губительный эффект обрётённой свободы — поддаёшься летаргическому миру души. И не случайно их (свободу и мир души) часто ставят вместе, будь то в сытом европейце: *Я посвящаю свои уединения свободе и покою* — Монтень — *Je consacre mes retraites à ma liberté, à ma tranquillité*, будь то в шутливом царедворце: *Покой и свободу дают не короли, или, вернее, они их отнимают* — Вольтер — *Le repos et la liberté, les rois ne les donnent point, ou plutôt qu'ils ôtent*; будь то в недовольном

русском — влюблённом или тщеславном: *На свете счастья нет, но есть покой и воля* — Пушкин. Жаль, ибо хорошо известно, что именно рабы двух господ — Аполлона и Диониса — лучше всего справляются с благородными задачами красоты и беспокойства.

После раёв прошлого: идиллия Аркадии (Гомер), царства Кроноса (Гесиод) или Хроноса (Платон), невинность Эдема (Библия), пришли раи будущего: Острова блаженных (Пиндар), христианское загробье, русское светлое будущее. Насколько более прочен романтизм, этот рай настоящего! Счастье — порыв к несуществующему, созданному и украшенному мною самим.

Александр I, проезжая на коне по Аустерлицкому мосту, не переименовывает его и, восхищаясь Шатобрианом и Талейраном, великодушный, покидает завоёванный Париж с облегчением. Он внушает благодарность пруссакам и австрийцам. Ах, если бы Сталин оставил Варшаве и Праге право распоряжаться их свободой! Какую благодарность, навека, испытывала бы Европа к этому героическому народу-освободителю! Но Сталин поставил там свирепых и грубых комиссаров, которые, потом, были так рады привезти в свою нищую родину пару ботинок, табуретку или зажигалку, которых было не сыскать в СССР.

Утопия родилась в Европе; она была только что похоронена в России. Торжество правды, упадок утопий — первые причины нынешнего царства серости в головах. Самозванство людей мечты, стремящихся к братству, состраданию, эмоциям, окончательно сметено справедливым натиском людей дела, провозглашающих культ приземлённого и равнодушие к высоте. Дело кормит, мечта не утоляет жажды. Впервые в своей истории человечество, лишившись своих поэтов, осиротело.

Произвол власти сильных и трусливая покорность слабых, оба азиатские по происхождению и легко переходящие друг в друга, — такова печальная русская политическая история, которую хорошо резюмирует самый известный из русофобов лорд А. Теннисон: *Дикая страна, где Власть и Страх сливаются в своей жестокости — A savage land where meet the coarse extremes of Power and Fear.*

Злоупотребительное прилаживание жаргона русской революции к жаргону революции французской — этот стих О. Мандельштама: *Присягу чудную четвёртому сословию* — переводится во Франции как — *великолепное обещание, данное третьему сословию* — *superbe promesse faite au troisième état*. Скрытый ужас перед кровожадными варварами превращается в идиллическую поправку к будущему гражданскому кодексу.

Европейская демократия: бараны, почитающие роботов, с пылкостью и набожностью, не чрезмерными, но искренними! Естественность и корректность — свойство демократии; там больше не лают, там лепечут или хрипят, в открытой шакальей склоке или в механическом согласии. В отличие от русского деспотизма, где бараны блеют перед ослами, но рычат за их спиной.

Злые при свободе, милейшие в рабстве — так Аристотель определял варвара. Я понял этот дуализм лишь после того, как увидел, что русские сделали со свободой, подаренной им в конце прошлого века.

Открытие свободных лиц, в конце прошлого века, в России, было для меня огромным сюрпризом, подавшим повод к безумным надеждам. Увы,

очень быстро русские вернулись к своим привычным гримасам: *Подчинённый должен иметь вид придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство* — Пётр Великий.

В царской России кричащее коллективное рабство было очевидностью, которую ничто не скрывало; зато в каждой голове кишели тайны. *Всё тайна в России, и однако ничто не секрет* — де Сталь — *Tout est mystère en Russie, et cependant rien n'y est secret*. После самодержавия, власть мерзавцев и бандитов перевернула тенденцию — мания секретности и испарение всякой тайны.

Лишь два русских государственных деятеля, Александр II-й и Горбачёв, попытались принести свободу своей несчастной нации; результат: первый — убит элитой, второй — ненавидим толпой. Обретаться в рабстве, равнодушные или довольные, — естественное состояние этого народа, неспособного к здоровому бунту. *Этот народ любит рабство больше, чем свободу* — Герберштейн — *Gens illa magis servitute, quam libertate gaudet*.

Наследственная русская болезнь, это, кажется, клептомания. То, что Белинский говорил два века назад: *В России нет никаких гарантий для личности, а есть только огромные корпорации служебных воров и грабителей* — приложимо ко всей русской истории.

До появления капитализма в XVIII-м веке борьба человечества с природой была оборонительной: против эпидемий, голода, стихийных бедствий. Затем она стала наступательной: производительность, рентабельность, покупательная способность. Весь советский эпизод был возвратом к дикости, к борьбе за выживание, смягчённой истребительными

чистками.

Столько хороших поводов для развлечения, перелистывая европейскую Историю. Но русская история внушает лишь ужас. *Нет истории темней, страшней, безумней, чем история России* — М. Волошин.

Большевикам не нужны были ни роботы, ни бараны, чтобы управлять Россией; люди были для них лишь инертным материалом для надзирательных и устрашающих опытов. И Хайдеггер приписывает России: *Первый и решающий шаг к неограниченной моторизации человечества был сделан советским социализмом — Den ersten und entscheidenden Schritt zur unbedingten Motorisierung des Menschentums hat der sowjetische Sozialismus vollzogen* — что по праву принадлежит американцам.

В Европе присутствие государства выражается в обязанности соблюдать налоговый, уголовный, гражданский, дорожный кодексы; в России — в скуке подчиняться продажному произволу чиновников и полиций.

Разглядывая фотографии средних русских типов, замечаешь эволюцию физиономий: до Революции преобладают держатели кнута и битые им; после Революции — те же два типа — палачи (большинство) и казнимые (в большом числе). Что любопытно, во втором случае, ценой лёгкой трансформации свирепости в ужас или наоборот, роли легко взаимозаменяемы; чего нет в первом, где царит врождённое призвание.

Бах очеловечивает божественное, Моцарт обожествляет человеческое,

но Бетховен питает одинаковое отвращение к Богу и к человеку — удаление от Того и от другого — это варварство. Возвышенное, но всё же варварство. С тех пор как [Чоран](#) написал *Апологию варварства*, этот мерзкий жанр окончательно скомпрометирован; я убедил в этом одного другого обитателя улицы Одеон, задумавшего *Апологию Советского Союза*.

Между двумя мировыми войнами какие страстные дебаты среди интеллектуалов о том, какая из двух великих культур — французская или германская — погибнет, чтобы восторжествовала другая. Известен результат: жалкая американская культура роботов лишает жизненности Западную Европу, а ужасная русская цивилизация рабов осквернила Восточную.

Оргия — самая распространённая форма выражения русской души: опьянение, покаяние, уничтожение, забвение, гипербола нравственная, интеллектуальная, поведенческая, ненависть к культурно развитому, страсть к природно изначальному.

Россия знала столько веков мрака и ни одного века Просвещения. *Русь моя, жизнь моя, вольному сердцу на что твоя тьма?* — [А. Блок](#) — равнодушие к свету, культ теней.

Все протестные течения в России происходят от примитивного мистицизма масонов XVIII-го века, толкавшего людей на создание кланов, банд, тайных кружков, вдохновляемых напыщенными, сюрреалистическими, неприменимыми формулами. Того, кого не хватало России, это не [Вольтер](#) и не Руссо, это Монтескьё.

Три века, пагубная привычка довольствоваться призрачным взглядом вместо того, чтобы питаться беспристрастными глазами, мешает русскому путешественнику в Европе извлекать из неё полезные уроки, погружает его в пафосное разочарование, позволяя ему поучать Европу, якобы утратившую рыцарский, помпезный и высокомерный дух. Стена с Европой снова воздвигается, и, оказавшись на своей родной стороне, русский погружается в свою социальную дикость с миром в душе.

Обнаружив, что у нынешних исламских головорезов первые добродетели — *вера, кротость и покорность*, я ужасаюсь, замечая, что в глазах [Достоевского](#) это именно три *светлые* черты русского национального характера — *вера, кротость, подчинение*. Ни один великий писатель не проповедовал рабскую покорность с такой искренностью и низостью.

Как называется братство, воздвигнутое против свободы и равенства? — мерзкая рабская покорность! Вся демагогия [Достоевского](#) к этому и сводилась: *Из католического христианства вырос один социализм; из нашего вырастет братство* — оба проповедуют неравенство, никакое откровенное братство там невозможно, но первые преуспели в социальной свободе, а вторые — в личной.

Единственные русские художники, которые не довольствовались своей внутренней свободой, но призывали к самой рискованной, самой бунтарской свободе — политической, — были аристократы, [Пушкин](#) и [Толстой](#). *Пушкин! Мы тоже, вслед за тобой, пели тайную свободу!* — [А. Блок](#) — эта тайна скрывала имена тиранов и пружины тирании.

Аристократа узнают по внутренней свободе и по иронии взгляда,

даруемой этой свободой. Самое убедительное испытание аристократического ума — употребление этой свободы в удушающей тирании, что продемонстрировал лучше всех Пушкин, сознававший: *если царь даст мне свободу, то я и месяца не останусь.*

Испанцам потребовалось 20 лет, чтобы окончательно избавиться от мусульманского наследия — от принятия террора как способа господства. Русские хранят семь столетий презренное монгольское наследие — равнодушие к свободе. *Равнодушный до справедливости, этот народ не признаёт ни человеческого достоинства, ни свободного человека, ни свободной мысли* — Пушкин.

В математике, за компьютером, за пианино, в балетных пачках — самая улыбчивая и одарённая молодёжь планеты; в политике и экономике — средневековое, бесправное царство тёмных и необразованных татаро-монгольских кретинов. Таков самый разительный контраст в России XXI-го века.

В начале и в конце прошлого века жажда свободы была столь мучительной в России, что русские забыли, что свобода упоительна; сорвавшись с цепи, они бросились на неё и опьянели до одичания, а протрезвев, — стали свирепыми или циничными, в безудержном произволе. Свобода была пережита ими как пора подвигов, не облечённая в кодексы законов или инструкции по применению, а это — самые полезные окончательные формы, которые может принять свобода.

Хозяева России практикуют произвол и жестокость не из-за своих личных пороков; их к этому приглашает рабская покорность народа, отнюдь не стремящегося к свободе. *Россия — страна рабов, в ней*

представители власти разнузданы и жестоки — Горький.

Эволюция облика хозяина России за два века: до Революции — любитель балов и плюмажей; капрал, превращающий страну в казармы; освободитель, истерзанный освобождёнными; мужик, любитель щей и выпивки; булочник, приспособливающийся к императорской роли; после Революции — умник, изобретающий классовые и массовые братские могилы; кровопийца, заполняющий братские могилы несчастными, wybranymi по жребию; серия безграмотных мужиков, бормочущих ритуальные литании во славу Маркса; добряк, открыватель свободы, быстро изгнанный насильниками; функционер, решивший похоронить Маркса и освятить монархов; бандит, вынырнувший из хаоса, в окружении бандитов и жуликов, все произведённые в миллиардеры, вырывающие робкие ростки демократии, убийство противников становится обыденностью.

В нынешней клептократической России услужливые богачи чувствуют себя в безопасности от денежных неприятностей. *Разбойники грабят богатых. Наша власть обирает бедных* — Толстой. Власть ныне принадлежит разбойникам; от грабежа страдают лишь бедные.

Все гуманисты видели в образовании народа вернейшее средство смягчения нравов. И однако никогда в Истории не видели столько свирепости, как после победного объявления в советской России о всеобщей грамотности крестьян.

Всякий взрослый русский подвергается пагубному давлению продажного государства; русские школьники и студенты блещут на соревнованиях во всех научных областях, но, став взрослыми, поступают

на службу к бандитам, чей цинизм и стадность они перенимают. Самые отчаявшиеся эмигрируют. *Студенты — это честный, хороший народ, это надежда наша, но стоит им стать взрослыми, как будущее России обращается в дым* — Чехов.

Охлократическая и клептократическая Россия, объявив войну демократии, неуклонно движется к очередному крушению. Тютчев был прав: *В Европе существуют только две действительные силы — революция и Россия; существование одной из них равносильно смерти другой* — где, устранив анахронизм, следует заменить революцию на демократию.

Спустя век после своей живодёрской революции, Россия ещё более потеряна, более одержима ненавистью, отдана на милость убогим капризам своих мелких тиранов-бандитов. XX-й век... *Ещё бездомней, ещё страшнее жизни мгла* — А. Блок.

Русская революция была поистине революцией народа, антидемократической, тогда как образованный класс был привязан к свободе. *Революция дала полный простор звериным инстинктам и отбросила все интеллектуальные силы демократии* — Горький.

Порядок: для француза — всеобщий Закон, для немца — личная дисциплина, для русского — произвол Начальника. *Попробуйте развязать нам руки, и мы тотчас же опять попросимся в ярмо* — Достоевский.

Свобода — духовная абстракция, не имеющая ни определений, ни правил; демократия — материальный перевод свободы в эти категории, но этот перевод разумом невозможен без свободы, уже несомой в душе.

Русские этого не понимают: *Либералы радеют за народ умозрительно, преследуя свои умозрительные цели* — Кублановский.

Понимать место своего народа в концерте наций — первое качество государственного деятеля и то, которое более всего сближает его с гражданами; единственным истинно русским государем был Пётр Великий. Россия родилась под топорами норманнских разбойников; она агонизирует ныне под дубинками, ядами и кражами безродных бандитов.

В лихорадочных поисках опор нынешние русские жалкие тираны, безграмотные и грубые, нашли лишь одну — Бога, материализованного в Церкви, продажной и фанатизированной. Свобода и равенство, революция или демократия, права человека или независимая юстиция — в их глазах лишь отклонения от божеского пути, рекомендующего рабскую покорность, истерию, кнут, яд.

Никогда картина России XXI-го века не была столь точной, как та, что дал веком раньше А. Жид: *От этого героического и достойного восхищения народа не останется более ничего, кроме палачей, стяжателей и жертв — De cet héroïque et admirable peuple, il ne restera plus que des bourreaux, des profiteurs et des victimes.*

Маркс был очень прозорлив в своих анализах прошлого и настоящего России; но он был также очень проницателен в своём видении будущего: русская трагедия XX-го века повторяется в XXI-й как фарс.

Генеалогия Гитлера и Сталина — Нерон с телефоном или Чингисхан с идеологией — видения a posteriori или a priori Чорана и Толстого. Будущее чудовище будет ведомо роботическим путём или бараньим голосом.

Любимая формула Сталина — враг народа — была впервые применена к Нерону (hostis publicus)!

В нынешней России патриот — тот, кто полон похвал нынешней власти; обратное было бы гораздо ближе к истинному патриотизму: *Что есть любовь к отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения* — Вяземский.

Русская интеллигенция существовала полтора века — от [Пушкина](#) до Б. Пастернака. За исключением нескольких мимолётных мгновений свободы при Александре II-м и Горбачёве, Россия знала лишь гнилые режимы, и интеллигенция выражалась только в оппозиции текущей тирании. Любопытно, что самым постоянным внешним признаком была оппозиция официальной вере, что толкало её либо к атеизму, либо к ханжеству.

Некогда Европа, на которую заглядывалась Россия, чередовала успокаивающий свет и кровавый мрак; нынешний неяркий свет — не слепящий и скучный. Россия, привыкшая к почти постоянной тьме, в которую она погружена и сегодня, более не может приспособиться к этим рамкам, слишком прозрачным для неё, что делает её тьму ещё более дикой, погребённой под слоями исторических забвений.

Одержимость текущими версиями во всём — в цивилизации или культуре — привела к утрате чувства долготы коллективной памяти, утраты, которую замечают лишь проницательные и хорошо образованные умы. Европейец ведёт свою генеалогию от шумеров, через египтян и финикийцев — семь тысяч лет; китаец имеет горизонт в три тысячи лет, русский достигает тысячи двухсот лет, а американец — пяти веков.

Ползучая американизация затопила все романтические и интеллектуальные корни в Европе; я чувствую себя одиноким, привязанным к Пушкину в России, к Рильке в Германии, к Валери во Франции. *В каждом сегодняшнем гражданине таится будущий безродный кочевник — Чоран — Dans tout citoyen d'aujourd'hui gît un métèque futur.*

Естественное измерение русского — широта. Он унижает глубину избытком верований, а высоту — избытком уверенностей.

Лишь деспотизм — царский, большевистский или мафиозный — может сохранить русскую империю. Малейшее вторжение свободы вызывает её крушение. Чоран хорошо это видел: *Предположив, что Россия пришла бы к либеральному режиму, она развалилась бы на месте — À supposer que la Russie arrivât à un régime libéral, elle se disloquerait sur-le-champ.*

Февраль 2022: почти наверняка мы будем свидетелями новой русской революции, нравственной, экономической, политической, человеческой катастрофы. Во главе этой несчастной России, где он задушил всякое дыхание свободы, стоит невежественный бандит, варварский homo sovieticus. Он только что пустился в ирредентистскую авантюру, которая не может окончиться ничем иным, кроме гор трупов русских солдат в украинских степях, остальные возвращаясь на родину, поджав хвост, при ужасном крушении страны. Лишь бы забывчивый Запад не разбудил неукротимого медведя: *Я знаю тысячу способов выманить русского медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его обратно — Талейран — Je connais mille façons de faire sortir l'ours russe de sa tanière, mais pas une seule pour l'y faire rentrer.*

В этой войне в Украине, если бы Россия проповедовала демократию, а Украина — тиранию, европейские симпатии были бы на стороне русских. Ах, если бы они это понимали...

Пятьдесят наиболее развитых стран мира совершили досадную ошибку, пытаясь унизить Россию (а не столько её мафиозного бесстыдного диктатора). Они вольют миллиарды на вооружение малороссов, но могут совершить ошибку, поставляя германские танки с тем же крестом, что и во времена Барбароссы — на смену Тиграм и Пантерам придут Леопарды, — и пробуждая великорусский патриотизм (на смену апатии и равнодушию). Но демократический Запад не познает того, что узнали Наполеон-Антихрист и Гитлер-Тевтонец.

Три русских военных поражения в начале XX-го века привели к трём революциям; тот же сценарий вырисовывается сегодня, с теми же хаотичными и беспощадными бунтами. Не сочли нужным судить диких убийц масс полвека назад; следовало бы судить сегодня диких убийц отдельных людей, чтобы вскрыть кровавые раны этой больной страны.

Потенциальные мелкие тираны существуют везде, но в демократических странах закон ограничивает их аппетиты. Поскольку законы чрезвычайно эластичны в России всеобщего произвола, каждый раб может найти среду — семейную, социальную, профессиональную — где он мог бы безнаказанно осуществлять свои тиранические прихоти, он становится малым тираном в действии. *Тот русский, что не раб, не станет тираном, но это редкий случай — А. Кюстин — Si un Russe n'est pas esclave, il n'est pas tyran, mais c'est un cas rare.*

Большинство русских не испытывает ни малейшего стеснения от отсутствия политических свобод и демократических правил. Разделение на две категории — они (диктующие правила общежития) и мы (их терпящие) — постоянный факт в этой стране, при любом режиме, и объясняет жалкую пассивность быдла.

Экономическое крушение СССР немедленно сопровождалось неожиданным приходом политической свободы. Образ ужасающей нищеты ассоциировался в глазах мужика с самой свободой, ставшей настоящим пугалом.

Большинство русских историков убеждено, что Европа питает к русскому народу лишь антипатию, враждебность, презрение. Живя среди европейцев, я вижу с их стороны прежде всего симпатию, сострадание, желание видеть Россию более цивилизованной, более демократичной, более процветающей. Что ужасает европейца вот уже век — это бесстыдная и отупляющая ложь российских правителей по отношению к собственному народу и их дикость по отношению к либеральным оппонентам.

Несколько месяцев упоения свободой в лучших русских головах сменились возвратом варварских дел. Как всегда, со времён Ивана Грозного, — полиция, палачи, бандиты. *Я никогда не вернусь — гротескная тень полицейского государства не будет рассеяна при моей жизни* — В. Набоков.

Россия могла бы окончательно утвердить свою европейскую и демократическую судьбу на заре XXI-го века. Но бестолковый пьяница, чтобы обеспечить себе отпущение денежных грехов, передал власть

бандиту. Нашему поколению не увидеть свободной России.

До большевистского переворота, царская Россия насчитывала плеяду необычайно одарённых артистов; но в нынешней России, в этом сброде, никто не причисляет себя к этой родословной линии. Зато эти балбесы кичатся тем, что они потомки дворян, офицеров или архимандритов, лесоторговцев или картонных фабрикантов. Коррупция была источником состояния этих двух поколений быдла.

Самолюбие, переходящее в страдание, породило столько нытиков, неудачников, тиранов. Сегодня главарь правящей русской шайки выставляет напоказ все симптомы этого вырожденческого отродья.

Нескольких месяцев пребывания в Америке или России достаточно было Токвилю и маркизу де [Кюстину](#), чтобы получить интуитивные и неопровержимые прозрения о порочной природе демократии или тирании, практикуемых роботами или рабами.

История России: четыре века разбоя, четыре века варварства, два века блеска наверху и рабства внизу, один век мафий — идеологической, концентрационной, геронтократической, бандитской.

Горизонтальный порыв обречён перерождаться в насилие коллективной плоскости; вертикальный порыв — удел одиночек. *Сверхчеловек устремлён к высоте западной культуры, всечеловек — к широте русской души — В. Шубарт — Der Übermensch hat die Höhenrichtung der westlichen Kultur, der Allmensch – die Breiten-Tendenz der russischen Seele.*

У русского и европейского интеллектуалов две общие черты — хорошее образование и совесть (нравственная у русского, духовная у европейца): русский несёт стыд за собственную непоследовательность и сострадание к страданиям слабых; европейец в своих суждениях отличает заимствованное у других от того, что принадлежит лишь его собственному труду. Формальное скрывает значимое.

На первый взгляд, для интеллектуала советский ужас был обусловлен реальностью марксизма-ленинизма, лишившего его духовной свободы. Позже он понимает, что этот ужас исходил от черни, которая, не ведая, что такое какая-либо свобода, ненавидит её, предпочитает кнут Закону и сама стремится играть в тирана внутри семейной или социальной группы.

Два течения — экономическое и политическое — описывают соответственно нормализацию и падение России. Первое — американизация — прогресс цивилизации (гостиницы, рестораны, типографии, олигархи) и опошление культуры (засилье журналистов и экономистов, литературная и театральная пустоты). Второе — монголизация — тирания, жестокость, насилие, произвол.

Немецкая культура и, прежде всего, цивилизация спасли гуманизм после нацистского варварства, тогда как блестящая русская культура была первой и самой необратимой жертвой Революции. Россия и сто лет спустя носит стигматы дикого опустошения. Словно Бунин говорил сегодня: Всё злобно, кроваво донельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия.

Русская революция: лирический Руссо и догматический [Маркс](#), прочитанные и истолкованные практическим Чингисханом. Сброд, бормочущий диалектические тезисы, чтобы передуть атавистических

Сен-Пре.

Применение яда или пуль в спину нынешней правящей русской мафией для ликвидации политических оппонентов напоминает мне, что уже царь Алексей Тишайший в XVII-м веке приказывал своим эмиссарам в Европе *сыскать и известить* боярина, укрывшегося там.

Русские говорят о культуре с тем же мистицизмом, что астролог или алхимик — о движении звёзд или об открытии искусственного золота.

В России, из-за её грубого, всепроникающего и недоверчивого режима, я не мог избавиться от реальности, которая липла к моим состояниям души и моему взгляду на мир. Свободную и восторженную мечту я обрёл лишь в Европе. Я больше не ношу внешних тревог под нескромным светом; они превратились во внутреннее одиночество, полное благотворных теней.

В России рабов я чувствовал себя ангелом, окружённым зверями; оказавшись в изгнании, в Европе, зверь прокрался в меня самого. *Демон! Это эмигрировавший ангел* — А. Ривароль — *Un démon ! C'est un ange émigré.*

Морковка в России обладает всеми атрибутами палки; рабская покорность облегчает это смешение. *В России палка творит чудеса, словно волшебная палочка* — Казанова — *En Russie, le bâton opère des miracles, telle une baguette magique.*

Со своими великими писателями XIX-го века Россия создала у западных людей наивную иллюзию, что, очнувшись от своей анемии, она даст новое дыхание романтизму былых времён: *Запад — могила для всякой*

печали и всякого вздоха; надежда и любовь обретённые приходят с Востока! Обратитесь к нему! — Л. Кэрролл — The West is the tomb for all the sorrow and the sighing; from the East comes new Hope, new Love! Look Eastward! — но после мимолётных вздохов мечтателей, в России продолжали слышаться лишь вопли мучителей и мучимых.

Гейне привязан к Германии, ибо знает, что она — твёрдая земля (*ein festes Land*); Пушкин умиляется Россией, ибо мечтает, что она *воспрянет ото сна*.

Когда великая опасность угрожает старой цивилизации, культурная революция становится неотличимой от цивилизационного консерватизма. Россию преследует эта фатальность вот уже восемь веков. *Мы — революционеры по необходимости, даже из консерватизма — Достоевский.*

Русский Меттерних оказывался вдруг Дон-Кихотом — Достоевский. Это был, на самом деле, самодержец, Чингисхан или невежественный бандит.

Когда тираны обращаются с русским как с животным, тот проявляет удивительную покорность и постыдную пассивность. Что ещё удивительнее, он становится настоящей скотиной, как только с ним начинают обращаться как с человеком. *Есть люди, которые становятся скотами, как только начинают обращаться с ними, как с людьми — В. Ключевский.*

В России, в этой стране рабской болтовни, государство-доносчик пыталось сделать из меня хорриста, но я сохранил своё одиночество —

бессловесное и тайное. Во Франции, в этой стране свободной беседы, насмехаются над одиночками, с их монологами и отстранённостью от форумов. Я становился там, соответственно, — жалким бедолагой или жалким удачником, но в обоих случаях — жалким. Трагедия вездесущая, трагедия отсутствующая — невозможно дать понять другим, что такое трагедия личной и призрачной мечты.

В России, лишённый внешней свободы, я мог рассчитывать на свои внутренние силы; в Европе, лишённый внешних опор, я рассчитываю на свою внутреннюю свободу и внешнюю слабость.

О её Воле

Если моими делами определяется моё существование, то мои мечты и желания передают мою сущность, устремляют мой взгляд к моим пределам. Когда эти пределы — вне меня самого, я являюсь тем, что философы называют Открытым, то-есть живущим недостигаемыми целями, порывом к ним, а не их достижением.

Бог таится на моих мистических рубежах, и я должен тянуться к Нему и своими этическими жилами и своими эстетическими образами.

Прекраснейшие из вещей, достойных моих страстей, покрыты неопределённостями и тенями, — что должно окрылять мои мечты и отвлекать от дел.

Главный враг человеческого счастья — серьёзность деловой ввязанности, — посему я и предпочитаю ей иронию отрешённости.

Как всегда, русские устремления — в огромном удалении от объективного положения России. Вместо того чтобы воспитывать своих судей и полицейских, она их развращает. Вместо того чтобы смиренно потупить взор, она выставляет напоказ взгляд ненависти и нетерпимости. Вместо того чтобы проповедовать открытость и знание, она погружается в замкнутость и отвратительное суеверие.

С Богом

Всякая книга передаёт голос автора, но должна быть обращена к чьему-то слуху. Эта книга не ищет ни соотечественника, ни современника, ни коллегу; я обращаюсь к слуху, пусть и несуществующему, но в котором я признаю своего Творца.

Нейтральность голоса — не в моём вкусе. Противоположность голоса бесстрастного, классического, — это тон романтический. Я узнаю себя в барокко тех голосов, что предшествуют классическому уму и отказывают знанию роль опоры или цели. Знание, в лучшем случае, — это всего лишь словарь.

Классический голос рождается из гипотезы о божественном языке и голосе, чьи готовые замыслы он призван передать, стирая собственные следы. Этот голос — в поиске незаменимых слов, в повествовании о том, что есть, прямота и уравновешенность души. Романтический голос, напротив, не обладает ни божественной партитурой, ни Его чётким образом. Он стремится вызвать Его присутствие в песнопении, не ведая, но почитая источник первой ноты. Повествование подтверждает, — к песнопению приобщаются. Итак, стыдливость и трепет. Романтик становится барочным, когда понимает, что свеча может заменить ему звезду. Классик впадает в барокко, когда понимает, что открытые раны красноречивее швов и шрамов.

В Европе, твой ближний — это тот, кто понимает тебя лучше всех; в России — тот, кто возбуждается взаимным непониманием, источником

желанных, нескончаемых головокружений. Русская эсхатология толкает к фамильярности с концом мира или с самим собой. Ощущение запредельной близости, рождающееся от соприкосновения с одними и теми же тайнами.

Все почётные титулы присвоены народами более приземлёнными и более честолюбивыми; Россия назвалась смиренно Святой, накапливая при этом неслыханные грехи. Пока пропасть между делом и чувством остаётся столь зияющей, Россия обречена лишь на весьма отдалённые обмены с Автором мечтаний и Вдохновителем вздохов.

Истинный русский Бог зовётся Дионисом, а не Христом. *У всякой страны есть соседи — другие страны; единственный сосед России — Бог — Рильке — Alle Länder grenzen aneinander und nur Rußland grenzt an Gott.* Там разгуливают опьянение непредвиденными чувствами или опьянение капризным смыслом; трезвость судьбы или трезвость числа оттуда изгнаны.

В русской мистике Бог — не лазурная глубина — О. Шпенглер — In der russischen Mystik ist Gott nicht die azurine Tiefe. Лазурную глубину видел лишь беглец своей отчизны, под белым парусом (Лермонтов). На земле, она, в конечном счёте, всегда сера (grau ist alle Theorie); вернее всего увидеть Бога в лазурном ореоле — предаться Его высоте!

Европа: история борьбы — между Античностью и Христианством, — в которой принимают сторону победителя, Античности. Россия: та же борьба, между двумя призраками, носящими те же имена, но, скорее, отсутствующими в её широтах, и где становятся на сторону побеждённого, Христианства.

В области теологии католичество отдаёт римским правом, а православие — греческой софистикой; оттого православие мне симпатичнее. Возможно, не случайно Вакх свёлся к фляге, а Дионис — к опьянению без орфизма, что Гермес в конце концов оказался связан с благороднейшим из ремёсел — переводом посланий, герменевтикой, тогда как Гермес — с самым низким, торговлей, посредником (*medius currens*). Герметическое, а не меркантильное. Латинское *uni-vers* — униженное *divers*; греческий космос — возвышенное украшение.

Католическая вера — религия рук, православная — религия лица. Сложенные руки на алтарной картине не отрекаются ни от кулака, ни от цепи. Икона приглашает взгляд или слезу — тёплые, сосредоточенные и лицемерные. Католическая душа воспламеняется высотой внешнего Христа и призывает к восхождению; православное сердце объемлет глубину внутреннего Христа и присоединяется к Нему в сошествии в ад. Протестантский разум следует широте осязаемого Христа и в ней замирает.

Христос в европейском восприятии — фигура принципиально аполлоническая; у русских Он в высшей степени дионисичен. Русский Христос, жалкий, в компании Великого Инквизитора, или Христос, сопровождаемый Торквемадой, братом Геракла (Гёльдерлин), или отдающий свою душу Цезарю (сверхчеловеку [Ницше](#)).

С тех пор как грех больше не ужасает людей, рабство остаётся их единственным пугалом. *Запад говорит: смерть лучше рабства; русский*

говорит: раб лучше грешника. Рабство лишает нас внешней свободы, грех уничтожает всякую свободу — В. Шубарт — Sagt der Westen: lieber tot als Sklave, so sagt der Russe: lieber Sklave als Sünder. Knechtschaft nimmt zwar die äußere Freiheit, Sünde aber zerstört jede Freiheit.

Молящийся англичанин — зрелище малотрогательное; Господь должен, поди, предпочесть ему француза, который богохульствует. Господь питает ужас к молитве русского, всегда богохульной, но Его литературная ипостась питает слабость к русскому богохульству, столь огромному, что оно достигает небес.

Всё чаще слышишь у католиков, что вера ничуть не противоречит разуму. Что должен думать русский, для которого: *Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать: в Россию можно только верить* — Тютчев. Россия пытается предаться здравому смыслу, но чувства как таковые нас от неё отворачивают (слух — из-за молчания её слабых, обоняние — из-за миазмов её сильных, вкус — поражённый её всеобщей грубостью). Злоупотребление древа: дубина, крест, икона.

Чтобы прояснить свои отношения с Богом, русский, француз, немец отказываются от своего главного органа — души, ума, сердца — и полагаются соответственно на ум (чтобы Его познать), сердце (чтобы Им умилиться) или душу (чтобы Его заново обрести). *Поверю ли я, что скиф менее дорог Отцу, и почему я подумаю, что Он отнял у него, а не у нас, средства Его познать?* — Руссо — *Croirai-je qu'un Scythe soit moins cher au Père, et pourquoi penserai-je qu'il lui ait ôté, plutôt qu'à nous, les ressources pour le connaître ?* — и ты, возможно, прав.

Люди ищут знания путей Божьих; для француза они непроницаемы (impénétrables), для немца — непостижимы (unergründlich), для англичанина — (mysterious), для русского — неисповедимы. Француз здесь наиболее циничен, а русский — наиболее недоверчив.

На Востоке умудряются быть равноудалёнными от всего. На Западе всегда находишься в эпицентре жизни. Восточное я затмевается, объемля бесформенную бесконечность. Западное я чахнет в тысяче равноправных направлений. Лучше смерть, чем рабство, — говорит европеец. Лучше раб, чем грешник, — говорили наши предки. Лучше грешить, чем жертвовать, — говорят они сегодня, все.

Хочешь ли ты жить в согласии с миром или в вызове ему — от ответа зависит тип цивилизации. *Гармонический человек — гомеровские греки, китайцы, готические христиане. Героический человек — римляне, германцы и латиняне. Аскетический человек — индусы, неоплатонические греки. Мессианский человек — первые христиане, большинство славян. Гармония с миром, господство над миром, бегство от мира, освящение мира — В. Шубарт — Der harmonische Mensch — die homerischen Griechen, die Chinesen, die Christen der Gothik. Der heroische Mensch — das antike Rom, Romanen und Germanen. Der asketische Mensch — die Inder und neuplatonische Griechen. Der messianische Mensch — die ersten Christen und die meisten Slaven. Welt-Einklang, Welt-Herrschaft, Welt-Flucht, Welt-Heiligung.* Можно ли освятить гармонией, силой или бегством? Да, когда я — Открытый, и моя музыка, мой гений или мой взгляд проистекают из моей божественной глубины и обращены к моей человеческой высоте.

Можно и без богов чувствовать себя грешным; но не верить в Бога, творца жизни и стыда, значит низвести себя до уровня растительного. Худшие из обманчивых богов — боги национальные: *Ты говоришь — моя страна грешна, а я скажу: твоя страна безбожна* — А. Ахматова. Без богов всякая незамеченная добродетель — двойная добродетель, всякий искуплённый грех — полгреха. *Неразрывное сожительство Бога и Сатаны в русской груди* — Г. Хессе — *Das dichte Beieinander von Gott und Satan in der russischen Brust*.

Видимо и в самом деле есть лишь два народа, любимых Богом: народ иудейский и народ русский. Первый — чтобы быть избранным; второй — чтобы быть покинутым. То что их различает — один выставляет напоказ свои угрызения совести, другой их проглатывает. *Совесть — иудейское изобретение* — Гитлер — *Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung*. Бог покидает Того, Кто на Кресте, и сопровождает тех, кто следует за доброй Звездой. *Россия, эта отправная точка Истории, не избранная, но покинутая Богом* — Чаадаев — *La Russie, ce point zéro de l'Histoire, non élue, mais abandonnée de Dieu*.

В пьесе жизни русский внимает демиургу, а не драматургу; оттого он не доверяет решениям в форме мизансцен; он в тайне зрителя или в проблеме актёра: *Все русские — скоморохи Бога Державного, который потешается над ними на луне* — А. Сюарес — *Tous les Russes sont bouffons du Dieu Souverain, qui s'en amuse dans la Lune* — к тому же Он должен находиться на её невидимой стороне, по крайней мере для русских: *Россия подарила мне Божью тьму* — Рильке — *Rußland schenkte mir das Dunkel Gottes*.

Первым праздником на Западе является Рождество, чтобы отмечать обещание жизни-мечты. Россия держится за Пасху, за смутное воспоминание о мечте жизни. Компромисс, пример которого нам дал сам главный герой: сделать свою жизнь встречей между Яслями и Крестом.

Рим пал из-за христианских покаяния, жалости и стыда, более чем из-за свирепости варваров. Россия гибнет из-за великодушия коммунизма, естественного наследника христианства и ублюдка стоицизма, а не из-за тирании единомыслия. Возрождение и прогресс приходят лишь с торжеством торгаша — без покаяния, стыда и пощады.

Этой беспощадной и распутной стране я благодарен за то, что она дала мне вот этот урок: лучшая встреча с Богом происходит не в молитве, не в исповеди, не в деле, а в жалости и стыде.

Филологическая религиозность [Толстого](#) и народная религиозность [Достоевского](#): первый склоняется над нашей божественной гранью, той, что укоренена в глубине бытия, начала; второй видит лишь грань человеческую, ту, что обещает высоту становления, творения. Первый ошибается в человеке, второй — в Боге.

Принуждение благородно лишь тогда, когда оно основано на вере; в этом случае даже цель теряет свою значимость: *Он не мог иметь цели, потому что он имел веру* — [Толстой](#).

Всякая вера происходит из чудес. Вера коллективная, унаследованная, основывается на чудесах сверхъестественных, допущенных сдавшимся умом и закреплённых в календарях. Вера индивидуальная,

самопроизвольная, отсылает к чудесам естественным, узанным взглядом души в каждом предмете природы. Вера уставная — дело ума; вера мистическая — дело души. Что до чудес, проистекающих из веры, — это дело психиатров или шаманов: *Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда* — Бердяев.

Тайна — недоумение и восхищение, которые знание не опровергает и которые вера, возможно временная, благословляет. Из нашего взгляда на жизнь следовало бы изгнать религию и сохранить веру и тайну. Впрочем, Ницше и Толстой формулируют религию без веры и без тайн. Орёл и голубь лишены даров совы. Но религии головы или религии сердца следует предпочесть, по крайней мере, религию души — поэзию.

Вера или атеизм практикуются в России одинаково: отказываться от собственной свободы и вверять её коллективному течению, представленному попом или Партией. Верность этим силам утишает стыд и делает совесть спокойной. *Русская судьба раздваивается на два апокалиптических склона — западнический и атеистический, с одной стороны, славянофильский и православный — с другой* — Ж.-Ф. Колосимо — *Le destin russe se dédouble en deux versants apocalyptiques, occidentaliste et athée d'un côté, slavophile et orthodoxe de l'autre*. Свобода, как и любовь, должны быть личной жаждой, а не коллективной привычкой. Неспособные к гуманистическому индивидуализму объявляют эту жажду — эгоизмом.

Когда Рембо или *Три сестры* видят свою настоящую жизнь где-то в ином месте, эту вневременную и призрачную жизнь следует искать не в географических координатах, на земной плоскости, но в небесной вышине. *Бедные души* — ни в мире, ни в Москве; их нет там, где царят лишь время и пространство и где задыхается мечта. Эти отсутствующие — ангелы или

демоны.

В западных переводах Евангелия Иисус грозит огнём, который Он принёс бы людям, но Он не привёл бы в исполнение эту ложную угрозу, ибо тот же огонь уже свирепствует на земле. Русский перевод, напротив, более страшен: Иисус желает, чтобы Его собственный огонь воспламенился как можно скорее.

Русский нигилизм, а не атеизм или пантеизм, — истинный антагонист истинной веры. Последняя объясняет поводы и выводит заключения; нигилизм — это свободная софистика источников и свободная догматика заключений, почитание и надежда, не проистекающие из прошлого и не обращённые к будущему, но наполняющие настоящее, полное волшебства. Нигилизм — благородная основа веры, как пантеизм — *благородная форма атеизма* — А. Шопенгауэр — *die vornehme Form des Atheismus*.

Благочестивый атеист зовётся агностиком; агностик, который только мыслит, становится атеистом; агностик умный и чувствительный становится нигилистом. Русский нигилист привязан к тому, что не существует, — поэтическая поза; атеист отрицает то, чего нет, — что весьма плоско.

Происхождение нигилизма: однажды понимаешь, что высшие ценности неоправдываемы; античный циник относит их к челяди мнений. Сентиментальный европеец пытается обрести их близость, помечая на их горизонтах расплывчатые границы, наивный русский обрекает их небесной тверди, лишённой богов, или озеру Нарцисса. Эти абсолютные ценности должны сохранять свой статус тайны, которого не сберегает никакая релятивистская проблема сущности или пределов.

Нигилизм: не доверять инерции, искать ритм, нулевую точку, источник или начало моих чувств и мыслей. Это божественная грань человека; грань чисто человеческая состоит в сцеплении, последовательности, приращении временного в ущерб вечному. Средневековое определение нигилизма, которым клеймят тех, кто мыслит, что человеческая ипостась Христа — ничто, представляется мне удивительно метким.

Религия в России утратила свой поэтический ореол и приняла эстафету диктатуры пролетариата — веру, громогласную и примитивную, в бесспорное великолепие вождей — партсекретарей или попов. Я питаю почти нежность к христианской религии в Европе, где она — последнее прибежище поэзии. Поэзия и в самом деле изгнана из философии, из литературы, из человеческой любви и из любви божественной. Поэзия — состояние двусмысленной подвешенности между мистикой абстракций и механикой обрядов, этими двумя крайностями, в которых утопают прочие религии.

В России Бог всегда был неведомым богом, записывающим наши дурные поступки, но довольствующимся молчанием наших каяний. Верить в ведомого Бога в Европе означало поддерживать фанатизм, лицемерие, лиризм, — но это же и есть столпы западного искусства! Возвешение смерти Бога ускорило, таким образом, смерть искусства; на смену художнику, трепещущему среди своих гипербол и парабол, придёт робот эллиптический, рациональный, честный, без душевных содроганий.

О сладострастии Саваофа известно куда меньше, чем о сладострастии Зевса, ибо первый прибегал к крылатому отродью, чтобы с ним слиться, а то и в нём воплотиться, тогда как, например, Геракл обязан своей силой

бесконечной ночи, которую Зевс даровал себе, чтобы наставить рога Амфитриону. Иисус обязан своим влиянием — ночи времён, обрушившейся на Европу на тысячелетие, а на Россию — и ещё на одно.

Счастье, даже выдуманное, заставляет нас ощутить наше божественное происхождение, но страдание вполне реальное тут же напоминает нам о нашем происхождении человеческом. *Богом становишься через радость, человеком — через страдание* — Цветаева.

Поэтический характер русской веры и русского искусства унаследован от византийских греков, но, как всегда, перевод сделал из мифов — обряды, из мистики — казуистику. Основывать свою жизнь на воспроизведении уникальных мгновений или на создании вещей практических? — нет, на переводе зашифрованных посланий! Блаженство и действие как послания для перевода со всегда чужого языка. Не быть столь же плохим переводчиком, что и те латиняне, что перевели греческую *energeia* как *realitas*. Самые непреодолимые пропасти между Востоком и Западом Европы вырыты этими переводами: *Безосновательность западной мысли начинается с этого перевода* — Хайдеггер — *Die Bodenlosigkeit des abendländischen Denkens beginnt mit diesem Übersetzen*. Латинская проза обезобразила греческую поэзию.

В России культура приближает к науке и отдаляет от совести. И чем человек естественнее в культуре, тем больше он культивирует, превозносит, надеется на сверхъестественное. Произошло ли что-нибудь сверхъестественное в известный момент на горе Синай, в Вифлееме, в Медине? Единственный разумный вопрос, который можно задать вере первого встречного. Всё остальное относится к поэзии, будь она эсхатологической, мистической или обрядовой. Вопросы творения, зла,

свободы, спасения не имеют никакого отношения к народным религиям. Ничто не открывается в Истории и через Историю. Бог запечатлевает в нас Своё присутствие, лишь когда Он не изъясняется: *Бог есть невысказанное слово* — Мастер Экхарт — *Gott ist ein unausgesprochenes Wort*.

В России не быть атеистом значит: не суметь представить себе, что простое применение физических, химических и биологических законов могло привести к появлению глаза, уха, языка, мозга. Не быть верующим значит: отвергать всякую мысль, что Творец мог где-либо показаться, в земной Истории, в какой бы то ни было форме. Эти два отрицания основывают причину отчаяния и существования разума как такового, того, что говорит нам о надежде. Если я преуспею в этих двух дерзновениях, я получу право на пантеоническую надпись *Вольтера*: *Он боролся с атеистами и фанатиками* — *Il combattit les athées et les fanatiques*.

Какой Бог умер? — Бог Истории нашей планеты, с тех пор как опровергнут всякий предполагаемый след Его пребывания на Земле. Бог никогда не показывался, не оставил никакого слова, не предъявил никакого доказательства Своего существования. Таков объективный европейский вердикт; сентиментальная русская субъективность говорит, что, тем не менее, Он оставил нас сиротами посреди Своего грандиозного и непостижимого Творения. Почитание последнего — единственный способ показать себя достойными Его. Когда, к тому же, у тебя есть талант суметь выразить словами твоё изумление, его назовут молитвой.

Бог — гениальный драматург. Он не актёр, не зритель, не зал, не осветитель, не декорация, не строитель зрительных залов. Язык, на котором Он написал свой шедевр, забыт, мёртв; остаются его безотчётные интерпретации. Изобретают устные или зрительные свидетельства,

приписывают Ему человеческие качества. В России из Него делают живого соперника Государства, идеологий, Истории, тогда как их европейские идолопоклонники время от времени возвещают Его смерть.

Европа принижает моё жалкое знание божественного, думая, что я представляю его пред всевидящим оком Бога, тогда как я лишь вслушиваюсь в музыку своего неуверенного слова, обращённого Его слуху. Русский не знает атрибутов Бога, но он видит Его уши: *Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем сказать Богу? Всё* — [Цветаева](#).

Периодически, на протяжении четырёх предыдущих веков, Паскаль, Гегель, [Ницше](#) и [Валери](#) уже возвещали нас сиротами Бога, но Тот вернулся в силе, повеселевший и окрепший, воплощённый в социально-экономических идолах и подтверждённый железобетонными чудесами. Оптимистические возвещатели рассчитывали на воскресение Диониса, а тут Гермес насаждает повсюду места своего культа. Гермес торговцев, а не Гермес письма, вестников и толкователей. С совершенствованием служб доставки послания обескровливаются, а толкователи, некогда наводнявшие нас рифмами и ритмами, в свою очередь затоплены потоком протоколов и инструкций — жанров, служащих ныне как поверхностным, так и объёмным глубинам. Бесстрастной и всецело роботической широте, заполонившей все книги града, я хочу противопоставить высоту без масштаба и без основ, обитель иронии и стыда, замену исчезнувших пустынь. Но что станет с её адресатом? — человек в агонии, а его предполагаемые наследники, баран и робот, утратили его последнюю волю.

Всякий здравомыслящий человек прибегает, в лечебных целях, к некоей форме молитвы, которая должна сделать его дело ещё более выгодным или, напротив, сделать пыл на его челе менее жарким. Лень,

воровство, непростительное плутовство вырастают у русского до такой степени, что он молится уже лишь перед самим собой, перед отрезвевшим пьяницей. Мы далеки от Лойолы: *Молись, как если бы всё зависело только от Бога, действуй, как если бы всё зависело только от тебя — Ora como si todo dependiera de Dios y actúa como si todo dependiera de ti*. Божественное творение — акт без актёра; лучшее человеческое творение — актёр без акта.

Русский продолжает искать в церкви смутные утешения Вседержителя, вполне понимающего наше зло. В Евхаристии он узнаёт два прекрасных символа: небесное опьянение и небесную пищу, но европейцы свели их, вне всякой тайны, к опьянению делом и деньгами, к земной пище. *Нет ничего менее дионисийского, чем дело — Ж. Лакан — Rien de moins dionysiaque que l'acte*.

Мотив дела, как и этимология слова, интереснее самой вещи, но не имеет никакого права быть весомым критерием. Мотив русского ангельский, но его дело часто звериное. С. Вейль предлагает странное утешение: *Только энергия, не вызванная никаким мотивом, благая — L'énergie, qui n'est fournie par aucun mobile, est seule bonne*. Сравните последние слова Христа и Магомета: *Отче, прости им, ибо не ведают, что творят* и *Да будет проклятие Аллаха на иудеях и христианах, ибо они установили...*

Для немца реальная жизнь предстаёт мастерской; для француза — алтарём; для русского — тюрьмой. И в ней я испытывал бы, по очереди, свои дары, свои молитвы или свою свободу.

Спокойная совесть у русского возможна, пока его дело, даже

преступное, разворачивается перед другими. Но когда он действует перед Богом, ему приходится плакаться как Давиду: *Пред Тобой, Тобой единым согрешил я.*

Труд настолько претит русскому, что он изливает избыток своего стыда в исступлённой молитве. Противоположность труда могла бы называться молитвой — перед Богом, женой или листом бумаги. *Труд есть молитва рабов. Молитва есть труд свободных людей* — Л. Блуа — *Le travail est la prière des esclaves. La prière est le travail des hommes libres*. Свободный человек, будучи вычислителем почище раба, понял, что всякий труд, угодный Вечному, сопровождается приличной оплатой, и он превратил свою молитву, бывшую некогда просьбой о невозможном (*Величие молитвы — прежде всего в том, что в этот обмен не вмещивается безобразие коммерции* — Сент Экзюпери — *La grandeur de la prière réside d'abord en ce que n'entre point dans cet échange la laideur d'un commerce*), в предложение доходных услуг сообразно спросу платёжеспособных неверующих. Он стал *рабом торгашеской каторги* — Ш. Фурье — *esclave des bagnes mercantiles*.

Мотив, дело, смысл — таков, по-видимому, динамический смысл Троицы: *Есть единый Бог Отец, от Которого всё происходит, Господь Иисус Христос, через Которого всё совершается, и Дух Святой, в Котором всё завершается* — Св. Григорий Назианзин — великолепное синтаксическое равновесие (походя, отвергающее filioque, так возмущавшее греков и русских) — оцените цепочку этих *от, через, в*, но семантика самая вялая: Отец-источник, Сын-орудие, Дух-вместилище? Я поместил бы вместилище — в Отца, орудие — в Духа и начало первого шага — в Сына. Но чего не простишь принцу поэтов!

Воля, мышление, действие — эта человеческая триада лежит в основе христианской Троицы. И в обоих случаях действие (благодати) происходит от воли и мышления (или через мышление — наше человеческое *filioque*!). Русский лентяй или пессимист Шопенгауэр могут позволить себе пренебречь действием, чтобы назвать мир неизменным, инвариантным.

Отбор кандидатов в ад или рай производится по делам, и русский мужик воображает, что совсем небольшой поправки хватило бы, чтобы сменить нежелательное место назначения. Тогда как для русскоого интеллигента существенное заключается в дерзких не-деяниях, которые могли бы послужить куда более строгим критерием. Бог мстительный — сторонник фильтраций в пресном несущественном; Бог воздающий — склонен к возношениям в роскошно существенном.

Как только русский напрягает свои мускулы, он теряет связь с Богом. Опушенная голова лучше подходит для встреч с Ним, чем поднятая, и глаза, скорее закрытые. И не из-за Его всесия, но, напротив, поскольку Он не только слаб, но, может быть, Он даже и не существует, как наши мечты или наши молитвы. *Что божественно — даётся без усилия* — Эсхил.

Русский доказывает свою внутреннюю свободу тем, что кладёт на божественные весы лишь невесомую волю, а не тяжесть дел. Натянутую тетиву, а не пущенные стрелы. Никакой внешний поступок не был повелеваем Богом. В высоте Его Блага лежит стыд, а в глубине — смирение, оба — без что и без почему.

Для русского наиболее точной противоположностью дела была бы, пожалуй, вера. И тогда я осознаю, что видеть Зло, вкрадывающееся во

всякое действие, есть лишь повторение изречения св.Павла: *Всё, что не от веры, есть грех!*

Европеец думает, что в Начале была тайна, а русский, что — любовь. Чтобы люди не забывали Его великий замысел, Бог, безжалостно и непостижимо, захотел сделать неведомым — бытие, в которое они станут пятиться, любя. *Любить — видеть человека таким, каким его задумал Бог* — [Цветаева](#) — хотя никогда не узнаешь, была ли в начале любовь или тайна. Среди языческих богов Купидон был рождён последним; по правилу last-in-last-out смерть Бога (богов) означала бы смерть любви.

Любовь — святая простота или беззащитная ересь; на католическом костре или в православном иконостасе она — то Феникс и пепел, то шипы и слеза; смерть и воскресение, принятые за болезнь.

Католики и мусульмане (в отличие от православных и протестантов) помещают между раем чувств и адом смысла Чистилище сущности. Следовало бы поместить этого творческого посредника не во времени примиряющем, но в пространстве обратимом: уметь жить то в аду, оглашаемом райскими надеждами, то в раю, трагически безнадежном.

Католическая или православная благодать читается в человеческом творении; протестантская благодать сопутствует божественному капризу. И поскольку чем выше благодать, тем ниже тяжесть, протестанты столь часто являют редкую тяжеловесность. Но протестанты правы, насмехаясь над нашими делами как поводами божественных благодатей: мы были бы столь жалки, если бы одни дела выражали то, чего мы стоим. А не свободная благодать Бога или нашего творения; благодать следует за нашими душами, а не за нашими руками.

Все знают, что Бог есть Любовь. Лишь русские имеют честность признать, что Он также Страдание и Тьма. *Жизнь Христа от начала до конца — несчастная любовь* — Л. Шестов.

Поскольку русский любит лишь то, чего не знает, любить Бога — одно из его провозглашений, имеющее превосходные шансы быть правдивым.

Русский не видит в деле никакого следа Бога; в истинном он обходится без Бога; в прекрасном он Его соперник. Остаётся Благо, человечески непереводимое и, очевидно, — божественное; оттого я понимаю тех, для кого Бог есть Любовь, которая есть экстатическое благо, чудесно воплощённое, ласка, противопоставленная обладанию. Будучи ближе к инструменту, чем к функции, я сказал бы, что Бог есть Ласка, ибо она превращает любовь в небесную тайну, вместо того чтобы сводить её к земному решению.

Русский прибегает слово любовь для двух безусловных утверждений: любовь материнская, животная, проникнутая духом слепой жертвы, и любовь чувственная, со слепой верностью существу противоположного пола. Эти ласки — взглядом, словом, рукой. Напротив, любовь к Богу, к истине или к родине следовало бы свести к вещам священным: святыня дальнего, святыня вечного, святыня близкого. Душа освящает божественное Творение, ум — человеческое творение, сердце — волнение от нашего прихода в мир.

Я говорю со своим соотечественником, с себе подобным, чтобы быть понятым; я пишу перед Богом, чтобы Его понять, — надо писать отсутствующему, несуществующему. Письмо вдохновляется моим, тоже

незнаемым, я; моё известное я выражается устно. Два таланта, редко совместимые.

Со времён Аристотеля и Ф. Бэкона повторяют это заблуждение, что искусство — это человек, дополняющий или подражающий природе. Бог создал алгоритмы, которым, чудесным образом, подчиняется природа; человек создаёт ритмы. Европейец подвергает их естественному суду ума, а русский — тому, что есть самого искусственного, — нашей душе. Великое искусство — в изобретении источников, а не в черпании из божественных очевидностей. Натурализм как продолжение искусства есть подражание, от которого мне было бы стыдно перед неподражаемым Творцом.

Русский видит в Боге не судью, не владыку, а потворствующего свидетеля, сообщника, идущего на адвокатские уловки. Но боги, взятые в непереносном смысле, столь же мало располагают властью, что и мысли без метафор — каким либо весом. *Боги — наши метафоры, а наши метафоры — наши мысли* — Ален — *Les dieux sont nos métaphores, et nos métaphores sont nos pensées* — мысль без метафоры есть геометрическая фигура, скелет.

Русское творчество (обмены между известным и неизвестным я) черпает вдохновение в Нагорной проповеди чаще, чем в Откровении. В лучшем случае известное я выражается в Посланиях; неизвестное я нуждается в откровениях, чтобы быть услышанным, ибо оно — *латентное я патентной бесконечности* — Гюго — *le moi latent de l'infini patent*. Труд или творчество: *Талант работает, гений творит* — Р. Шуман — *Das Talent arbeitet, das Genie schafft*. Труд тебя впрягает, творчество тебя открывает: *Творчество — это откровение я Богу и миру* — Бердяев. Поэзия — не орудие ли философского вдохновения? *Чтобы слышать Откровение,*

философии недостаёт всякого органа — Хайдеггер — Auf Offenbarung zu hören, fehlt der Philosophie jedes Organ.

Европейский писатель думает, что за ним следят современники; русский воображает себя перед небесным Цензором. Всякий писатель полагает, что на него смотрят; и профиль читателя, которого он ищет, определяет высоту, которую его взгляд употребит в его книгах. Если он встаёт перед себе подобными, он остаётся в общем, в плоском; но перед Богом глаза его опускаются, а взгляд становится высок.

Слишком много шума вокруг европейского художника. Правильная хронология работы русского художника: прежде чем заставить говорить создание, создать тишину вокруг творца. Создание — с Богом, без, в, вне Бога; творец должен быть перед Ним!

Европеец противопоставляет творящее *Я* безмолвному *Вы*, что бросает его в *Мы*, столь же стадное. Русское *Я* не рассчитывает на отрицание; оно побуждаемо вдохновляющим, братским или любовным *Ты*, чтобы поставить восторженное *Я* перед самым сообщническим слухом — слухом Бога.

Русская мания писать перед Богом — очевидно, лишь метафора, но виртуальное присутствие слуха, высокого и чуткого, есть обязанность писателя. *Кто обращается к кому-то, обращается ко всем. Но кто обращается ко всем, не обращается ни к кому — Валери — Celui qui s'adresse à quelqu'un, s'adresse à tous. Mais celui qui s'adresse à tous, ne s'adresse à personne.* У всякого писателя легко угадать, какой голос слушает автор. Чаще всего — голос его века; затем идут те, кто слушает предшественников; самый редкий случай — когда слушают лишь Бога, то

есть свою душу.

Хайдеггер, Сартр и русские православные помещают радикальное Зло в забвение или недостаток бытия; никакой первородный грех не покрывает и малейшей его частицы; единственное паллиативное средство — действовать с погасшими глазами и душой. Корень этого Зла называется именно действием; оно не в лжи, не в подтасовке, не в иррациональном; оно захватывает истинное, прозрачное, разумное; *не видно никакой постижимой причины радикального Зла — das radikal Böse, kein begreiflicher Grund ist da* — Кант.

Эта простоватая достоевская фикция: человеческая душа, раздираемая между Богом и Сатаной. Истинный разрыв — находить сатанинским всякое действие, вдохновлённое мыслью, обращённой к Богу. Нет Сатаны, есть недостижимость Бога через действие. Видеть Сатану — значит испытывать недостаток иронии, которая подтверждает его несуществование: *Ирония — это остроумие, обескровливающее реальность зла* — Ж. Бодрийяр — *L'ironie est un trait d'esprit, qui dévitalise la réalité du mal*.

Самое глупое — и самое распространённое! — видение проблемы Зла: будто бы есть два антагониста, Бог и Сатана, которые в нашем сердце ведут борьбу (попустительство Достоевского). Я или обманываюсь или даю себя соблазнить Сатане, вот я и работаю на него. Бог может обойтись без Сатаны и без борьбы; Он создаёт нашу совесть и оставляет нас свободными.

Кто практикует мораль рабов? — русский, принимающий существование господ и рабов на публичной сцене. Аристократической морали учит раб Иисус, презирующий сцены и посещающий пустыни.

Бог-разум отражается в нашем уме, Бог-красота воспринимается нашей душой, но Бог-благость никогда не доказывается и никогда не покидает наше сердце, откуда это русское искушение: *Философ своё понятие о добре ставит на место Бога* — Л. Шестов.

Христос провозглашает приоритет духовного над материальным. Христос проповедует материальное равенство. Христос хочет склониться над слабым. Как не упрекнуть Его Церковь в том, что она не осуществила эти коммунистические устремления? *Христиане должны были осуществить правду коммунизма, и тогда не восторжествовала бы ложь коммунизма* — Бердяев.

Если бы Христос из европейского народного видения вернулся на землю, то не в образе французского прокажённого (Флобер) и не в образе русского нарушителя спокойствия перед Великим Инквизитором (Достоевский), но в образе крепкого профсоюзного деятеля, спускающегося с самолёта, вопящего перед камерами, разоблачающего богача поутру и атакующего омара вечером.

Древо обрело большой престиж в тот день, когда его превратили в виселицу. По крайней мере, чтобы сопровождать последний шаг. Ещё в Кресте древо служило сырьём, оттого русский, производящий лишь сырьё, остаётся с Древом. Сегодня искусственные и нетленные материалы заменили живое древо агонией; оно стало промежуточным элементом безымянных лесов.

Чтобы понять происхождение *Кто не против вас, тот за вас* Иисуса, не нужно исследовать Его сердце, достаточно заметить, что этот

превосходный логик вывел его из Своего Кто не со Мною, тот против Меня. Ошибка русских — принимать в нём неведомое я за известное, иначе у них было бы меньше страха и больше надежды.

Часто следует напоминать русскому, что если он полагает, будто находится в прямом общении со своим лучшим я, неведомым я, ему следовало бы помнить августиново слово: *Если ты понимаешь, то это не Бог — Si enim comprehendis, non est Deus* — оставь лучшие голоса с чудесным несуществованием.

Бог интересен лишь тем, что Он замыслил в Начале. Если Он мёртв, человек-творец должен посвятить себя человеческим началам; материя и дух уже достаточно обрисованы Богом, нам остаются сердце и душа, Благо и Красота. *Если ты не творец, можешь сетовать: Боги, демоны и гении умерли — мир заселился началами — Л. Шестов* — признаюсь, я не замечаю никакого потопа, нас заливают засуха.

Безмятежное язычество нынешних нравов заставляет забыть первый христианский страх. *У всякого народа есть лишь два пути: языческий путь самодовольства и христианский путь самосознания* — В. Соловьёв. Они соединились: чем лучше ты себя знаешь, тем ты довольнее. Лишь на редких путях — в тупиках! — незнания себя ещё происходят обращения стыда, вдали от срединного пути. *Высочайшая гордость или самоуничижение суть высочайшее незнание себя* — Спиноза — *Maxima superbia vel abiectio est maxima sui ignorantia*.

Основатели Церквей: её Отцы — православие, Карл Великий — католичество, М. Лютер — протестантство; сокрытие подлога, подлог, использование подлога — всё предусмотрено для отречения и осуждения.

И каждый раз восемь веков отделяют эти веры в установлении, как восемь веков отделяют мысли грянувшего: Аристотель, Бл. Августин, Св. Фома, Витгенштейн. Следующим этапом была бы, следовательно, новая вера. Но верить в отсутствие душ — разве это всё ещё вера? Св. Фома насчитывал одиннадцать страстей; четыре века спустя Декарт видел их лишь шесть; ещё четыре века, и вскоре мы дойдём до нуля.

Ни горизонты, ни глубины не позволяют восполнить недостатки высоты. *Как пережить Божественное, когда Бога нет; как пережить экстаз, когда мир и человек так низки; как подняться на высокую гору, когда мир так плосок?* — Бердяев. Сомнение, в самом деле, позволительно, но что мешает тебе, вместо того чтобы его переживать, — лишь мечтать о нём? Бог, экстаз и высота реальны и велики лишь в мечте.

Big Bang, элементарные частицы, время, свет, жизнь, благо и красота — к чему ни прикоснись в божественном творении, всё лишь ошеломляющие загадочно! Ничего глупо геометрического или механического. Бог гнушался простоты, Ему нужны были наше вечное смятение и недоумение. *Бог создал одни загадки* — Достоевский.

Чтобы утверждать, что Бог мёртв, есть лишь одно средство — доказать, что в начале был Случай, а не божественный Щелчок. Чтобы заключить тогда, что конец — в американском роботе и русском баране: *Где нет Бога, там нет места и для человека* — Бердяев. Воля или всесильность, напротив, — лишь безобидные прозвища Бога.

Самое ледяное из безразличий зовётся плоскостью, а ласка, противоположность плоскости, лежит у истока любви, музыки, европейской поэзии и русской совести. *Космический холод мира*

преодолевается лаской. В этом чудо учения Христа — Ф. Искандер. Жаль, что Христос остановился лишь на первой области, любви, хотя возможно, что остальные суть лишь обобщения первой.

Сегодня к Богу приходят, как вступают в потребительскую ассоциацию или политическую партию, чтобы получить помощь или быть избранным; а в России — чтобы успокоить нечистую совесть. Больше нет одиночек у врат церкви: *К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники* — В. Набоков.

Большую часть времени я живу, не сознавая чуда, каковым является жизнь. Но как только я задумываюсь о нём, меня затопляет благодать, превосходящая по интенсивности и мощи всё, чем я владею. Даже неверующий ощутит в ней божественную близость. *Знать Бога и жить — одно и то же* — Толстой.

Всякий человек, сознательно или нет, видит нечто чудесное в порядке мира. Оттенки этих предчувствий бесчисленны, но русский видит лишь две крайности верующего или атеиста, тогда как Чехов говорит, что *между есть Бог и нет бога лежит громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец* — только это не поле существующего, которое надо пересечь, а песнь сущности, которую надо сложить.

Люди ошибаются, веря *Достоевскому*, будто Великий Инквизитор дал бы вновь распять неосторожного Иисуса, вновь спустившегося на Землю. В другом лагере они ещё глупее: *Если бы Бог существовал, то было бы необходимо Его уничтожить* — Бакунин. В общем, это и делает демократия: свобода — этот несчастный младенец, которого выплёскивают вместе с водой из купели, или, по крайней мере, который вместо того,

чтобы стать чистым, становится асептическим или стерильным. Всякая тирания начинается с провозглашения нового Бога, гордого своей грязью или своими стигматами.

Надо признать, что тело — лишь наша поверхность, наша глубина вверена уму, а высота — душе; но обе, чтобы остаться верными себе, должны пройти через телесную жертву, как Бог Отец и Дух Святой перед искупительным Крестом, где умирает Сын. И поэзия есть подражание Страстям: *Души смотрят с высоты на ими брошенное тело* — Тютчев.

Мои поступки, творческие или созерцательные, владеют или, по крайней мере, созвучны голосам истинного или прекрасного, которые я слышу в глубине моего знакомого я. Но голос Блага, в глубине моего я неведомого, остаётся без отзвука или обнаруживает непримиримые диссонансы. Но во всяком случае предел, к которому сходится мой восторг, может иметь лишь божественное происхождение. *Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога* — Л. Шестов — известно, что эти поиски тщетны, достаточно, следовательно, прочитав этот неотыскиваемый предел.

Монолит роботического разума поглотил науку и искусство; дыханию Бога, чтобы достичь наших душ, осталась лишь одна дыра (С. Вейль) — человеческое страдание. Любовь и красота измеряют в ней свою глубину. *Страдание, в искусстве, — необходимо* — М. Ростропович — но чтобы палитра художника была полной, блаженство в ней необходимо в той же мере, оно привносит высоту.

Счастье, даже выдуманное, заставляет нас ощутить наше божественное начало, но страдание вполне реальное тут же напоминает

нам о нашем начале человеческом. *Богом становишься через радость, человеком — через страдание* — Цветаева.

Я гашу последовательно свои глаза, свои ласки, свои слова, свою память, свой разум — и понимаю, что ни утешение, ни ужас, ни благодать, ни кара не имеют более никакого смысла для моего угасшего существа. А. Блок — *Над нами — сумрак неминуемый, иль ясность божьего лица* — ни этот свет, ни эти тени не будут более твоими.

Жить восторженно, со страданием, ввинченным в душу, — таково, по-видимому, божественное состояние. Тот, кто преодолевает боль в пресности безразличия, ближе к зверю, чем к ангелу. И предвидение Достоевского: *Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог* — приведёт вернее к земному роботу, чем к небесному Владыке.

Чувство прекрасного, очевидно, дано нам Богом, оттого искусство есть безнадежный плач человека, обращённого к Богу — Д. Мережковский. И будет ли Он провозглашён живым или мёртвым, певцами или плакальщицами, это мало что меняет в молитве, каковой является всякое произведение искусства. *Умный жалуется счастливо* — Канетти — *Der Kluge klagt sich glücklich*. У художника два источника: Бог и случай; устранить часть случая — значит увеличить часть божественного.

Христианство есть религия распятой Правды — Бердяев. Для того, кто познал одиночество и страдание, *распятый Христос* — *возвышеннейший из всех символов* — Ницше — *Christus am Kreuz — das erhabenste Symbol*. Гонимая истина и торжествующая ложь исчезли, торжествует мелкая истина, а мечтательная ложь чахнет.

Иезуиты не знают православной иконы. Кто хуже? — позолочивающий то, чему поклоняется, или поклоняющийся тому, что из золота? *Не тот создаёт божество, кто его золотит, а тот, кто ему поклоняется* — Б. Грасиан — *No hace el numen el que lo dora, sino el que lo adora.*

Чего ждут на своём пути? — места назначения? веры в указатели? красоты пейзажа? *Католик следует за миром; протестанты, каждый, ставят свои собственные указательные столбы* — Ш. Пеги — *Le catholique suit le monde ; les protestants dressent, chacun, ses propres poteaux indicateurs.* Но обустройство мостовой — их общая забота. *Лучше хромать на пути, чем бежать исступлённо вне всякого пути* — Св. Августин — *Melius est in via claudicare, quam praeter viam fortiter ambulare.* Лишь православный знает, что он заблудился, и, лёжа у края кривой дороги, следит за звёздами. Чтобы они танцевали, наши ноги не должны метаться — ни по течению, ни против.

Русский Бог совершенно бестелесен, меньше чем Любовь, Слово, Дело или Тайна; Он — Операция, операция почти алгебраическая, орудуемая сложениями и вычитаниями. Жизнь была бы вытекающим результатом, который человек стремился бы восстановить из бинарных, тернарных и т. д. операций — до бесконечности. И однажды он осознаёт растущую незначительность операндов и восхитительное величие Оператора.

Русский: молиться, не ища отзыва, и думает, что работает, как молится, и молится, как работает (вообразите, что это значит для лентяя!). Аскетическое *Или молись, или трудись* — *Aut ora, aut labora* — стало, увы, прагматическим *Молись и трудись* — *Ora et labora* — баран или робот. Но у прагматизма уже был Биант: *Люби так, как если бы однажды тебе*

предстояло возненавидеть; ненавидь так, как если бы однажды тебе предстояло полюбить.

В Европе Бог сведён к периметрам и объёмам; в России Он стал даже единой точкой где-то между взяткой и штрафом. Когда я вижу, что Бог, в русских плоскостях, сведён к одной жалкой точке, без толщины и размаха, я жалею о геометрическом Боге Отцов Церкви: *Бог, что Он есть? Длина, широта, высота и глубина* — Св. Бернард — *Quid est Deus? Longitudo, latitudo, sublimitas et profundum* — то-есть — ни произведение, ни орудие, но принцип. Откуда четыре Его материализации: длина Его вечности, широта врат Его церквей, глубина подполий Его премудрости, высота башен из слоновой кости тех, кто искал Его.

Мистик берёт Писания как словарь, не более. Мастер Экхарт сегодня излил бы своё красноречие, даже комментируя инструкцию к лазерному принтеру. Лишь европейские философы или русские богословы роются в своих жаргонных испражнениях как в единственном объяснении мира. Изначальное единство мира вдохновило столько оригинальных голосов; сегодня, когда все оттенки прошлого доступны, монотонность однозвучных и воспроизводимых голосов устрашает, она пожирает различия, чтобы затопить нас тем же самым.

Наши отношения с Богом — вопрос метрики, притяжения, близости: русский будто слышит Его или даже достигает; европеец стремится к Нему или следует за Ним как за проводником; и, наконец, те, кто не признают за Ним ни голоса, ни веса, ни пальца, но почитают Его творение, вне всякого храма, всякого пути, всякого горизонта.

Европейский Бог по-учёному далёк; для русского Он наивно близок.

Потребность в таком далёком ведёт людей, из-за такой близости теряют ориентиры. Боги, любовь, мечта населяли фантазмы человека, прежде чем религия, семья, наука не заменили их и не усмирили человеческую тревожность. Всё, чем люди по-учёному овладевают, становится им наивно близким, лишённым всякой тайны и не несущим никакой надежды на бесконечность. С трезвостью чувств и узостью смысла отмирает душа.

Быть атеистом (верующим или неверующим) значит отрицать неведомого Творца по слепоте или по галлюцинациям, ссылаться на отсутствие доказательств или верить в шаткие доказательства. Либо ты бесстрастен перед феерией мира, либо ты веришь, что чудо алмаза, цветов, сколопендры или человеческого лица было раскрыто или расшифровано Явлениями где-то на Олимпе, в Гималаях, на Синае или в Иерусалиме. Единственное преимущество, которое я вижу у вторых из этих атеистов по сравнению с первыми, — это умение создать социальную структуру, служащую противовесом хозяйственным или потребительским распределителям. Но в остальном обмирать непознаваемое образами познанного хуже, чем зевать перед сотворённым без Творца.

Умерший Бог — это Бог молелен, храмов, церквей; живой укрылся под землёй или в пустых небесах, где Он ощущается лишь человеком подполья или видим лишь человеком руин.

Во всех увещеваниях к добродетели, от Сократа до Руссо, [Канта](#) или [Толстого](#), сразу чувствуется безнадёжная тщета, механическая банальность. Насколько более прав и честен посыл Иисуса, убеждающего нас в наших неискупимых грехах и призывающего к покаянию, то есть к стыду, ещё до оценки наших проступков, действительных или мнимых!

Если бы Иисус вместо изгнания торговцев из храма преуспел в торговле коврами, или если бы Он был безграмотным вместо того, чтобы противостоять Синедриону и римским прокураторам, или если бы женские волосы послужили не для отирания Его ног, а для Его социального продвижения, — мог бы ты Его полюбить? Большинство верующих ответили бы, увы, утвердительно.

Найденный Бог приносит мир, искомый Бог — тревогу, ощущаемый, неотыскиваемый, несуществующий Бог — восторг, восхищение, любовь.

Даль не есть отсутствие, как молчание не есть забвение. *Бог? Мы раскланиваемся, но не беседуем* — Вольтер — *Dieu ? Nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas.*

Перед неосязаемой божественной асимптотой всякое человеческое сближение банально. Но люди стирают асимптоту (трансцендентность), чтобы заниматься исключительно своей герменевтической конечностью, *hic et nunc*, где *hic* слишком осязаемо, а *nunc* — неуловимо. Смерть Бога — не торжество пределов человека, но призыв защищать бесконечность, отныне водиночку.

Русские легко расплакиваются перед иконами, впрочем, даже перед довольно улыбчивыми. Бог — *комик, играющий перед публикой, которая боится смеяться* — Вольтер — *Dieu est un comique, qui joue devant un public, qui a peur de rire.* Бог, скорее, трагик перед публикой, не смеющей плакать.

Глупцы пишут, чтобы отбить у нас охоту к слезам; наивные — чтобы их вызвать; тонкие — чтобы их набраться. *Искусство служит тому,*

чтобы утирать нам глаза — К. Краус — *Die Kunst dient dazu, uns die Augen auszuwischen* — а философия завершает задачу, наполняя наши глаза блеском или надеждами.

Жалкий Бог или жалкая любовь у буддистов: *Бога можно познать, лишь любя Его* (и св.Павел недалёк от этого). Познанный бог или любовь к познанному могут быть лишь незначительны. Надо любить, чтобы возрождаться, а не чтобы познавать. Но если познать себя значит услышать зов своего неведомого я, то любить значит облечься хорошим слухом.

Свой вкус к свободе русский испытывает отнюдь не перед тиранами. Его истинная — и страшная — свобода начинается для него с той равной лёгкости, с которой принимаются обе из этих равнозначных поз: можно — или нельзя — быть против Бога.

Своими почитателями русский писатель видится как демиург. Для них быть творцом значит изобрести собственный язык, язык-источник универсального, переживаемый как бессмертный; и поскольку привыкли видеть именно в Боге оправдание всего универсального, творец-популист начинает с провозглашения, что Бог мёртв. *Бессмертные смертны, смертны бессмертны* — Гераклит.

Незнаемое я русского — его единственный прямой контакт с Богом; и, как и Он сам, это я остаётся недостижимым и непостижимым. Русский открывает Его присутствие по потребности петь (а не только говорить), танцевать (а не только ходить), поэтизировать (а не только повествовать), словом — молиться, не ожидая ответа и даже отказываясь задавать вопросы. Как Бога, можно почитать лишь это неведомое я, не питая иллюзий: *Стихотворение — всегда поиск я* — Г. Бенн — *Ein Gedicht ist*

immer die Frage nach dem Ich.

Русский проклинает Бога-актёра и преклоняется перед Богом-зрителем. Богохульство против ведомого Бога может быть хвалой Бога неведомого, истинного; но всякая абсолютная хвала ведомого Бога есть богохульство против Неведомого.

Там, где европеец видит дух Божий, русский видит лишь Его око. Интеллектуальный путь к Богу: где есть Око, там должен быть Свет. А то, что я творю, необъяснимым образом, оказывается лишь тенью Его.

Незаметно Бог сменил место существования: некогда Он был в реальном мире, затем прозябал в концептуальном, сегодня Он купается лишь в метафорическом, продолжая распевать одну и ту же антифону: Я существую!

Русский народ — самый поэтичный в мире; оттого он так суеверен. Поэты изобрели богов, бараны поместили их в храмы; поэты поняли, что могут обойтись без богов, роботы вообразили себя свободными. Вергилий ошибается в своей хронологии: *С Юпитера началась муза — Ab Iove principium musae*. А поскольку ужасное предшествует поэтическому или же следует за ним, прав Петроний: *Ужас создал в мире первых богов — Primos in orbe deos fecit timor*.

Именно чрезмерная рациональность мира объясняет угасание божественного в мире — таково русское видение Апокалипсиса нашего времени. Бог мёртв, ибо человек усвоил мудрое слово и разучился безумному пению: *Возможно, что Бог есть восторженное или ужасное безумие людей — Ницше — der Gott wäre der entzückte und entsetzte Wahn*

der Menschen. Поэзия, музыка, мечта — лишь безумия, спасающие нас от одиночества. Бог — невозможность одинокого пения; тогда как ни моё слово, ни даже мой крик более не достигают божественного слуха. Нет, Бог пения, накала, которая не есть сила, этот Бог не умер; если бы Он умер, я был бы обречён на монолог — ощущение, невозможное для всякого творца мелодий.

Европеец идёт к Богу, чтобы оказаться в утешительной компании единоверцев; русский — чтобы, наконец, остаться одному. Бог захотел, чтобы я нашёл Его на пути свободы, первый шаг к которой — избавиться от социального зверя, барана или робота, что вкрадывается в меня и обезображивает. *Чем ближе ты к Богу, тем более ты одинок* — Л. Блуа — *Plus on approche de Dieu, plus on est seul*.

Русский, в своей голове, настолько привык быть не на своём месте, что обращение к непостижимому Богу даёт ему шанс оказаться в обществе самого себя. Стремиться к Богу значит дать себе шанс взглянуть в самого себя: *Я стремился к Богу и вновь упал в самого себя* — Ансельм — *Tendebam in Deum, et offendi in meipsum*.

Грехи русского обрушивают все моральные оси, и он, в конце концов, теряется в них. Бог создал эти оси (*Бог есть день/ночь, сытость/голод* — Гераклит. Гераклитовские противопоставления кажутся самым разумным приближением к божественному из всех времён). Свобода человека читает на них — скорее, чем выбирает! — ценности (тень, за которую держатся, и жажда, которую поддерживают, касаются самых свободных). Тусклая гегелевская диалектика профанировала этот прекрасный культ осей, который подхватил Ницше: *жизнь-искусство, благо-зло, нигилизм-согласие, падение-порыв, мощь-смирение*.

Христос, иудей и морализатор, занимает больше места в русской вере, чем Христос, грек и моралист. Единственный шанс христианства — слияние иудейского Бога с греческим, сущего, которое поёт и звучит, и существующего, которое питает и размышляет. Того, кто колеблется в трагедии блага, и того, кто творит в убеждении красоты. Именно Дионис внушил Христу его прекраснейший урок: *Если христианство совершило нечто существенное, так это открытие, что самая жалкая жизнь может стать богатой и неоценимой через повышение температуры* — Ницше — *Wenn das Christentum etwas Wesentliches getan hat, es war die Entdeckung, daß das elendeste Leben reich und unschätzbar werden kann durch eine Temperatur-Erhöhung.*

Русский так стыдится своих проступков, что хотел бы оказаться со своим Богом с глазу на глаз, но Спаситель обещал присоединяться лишь к собранию двух-трёх верных, созванному во имя Его. Неужели Он отказался бы от всякого сборища? И одиночка, почитатель неназываемого, никогда не заслужит святого Посещения?

У русского Бога есть кнут, но нет рук. Он лишь смутная угроза, полубовно отклонённая. То, что не оставляет следов, не может иметь атрибутов; ни сравнительной, ни превосходной степени там нет места. Всеведущий, с бесконечностью атрибутов (Спиноза), или *тот, кто лучше моей души* — Паскаль — *meilleur que mon âme* — характеризуют лишь ничто.

Его обширный лес мешает русскому обнаружить в себе древо. Видимый мир создаёт три рода человеческих деревьев: материалист, застывший и лишённый неизвестных, невежда с тощими ветвями и

случайными неизвестными, Открытый, вкладывающий деликатные переменные в лучшие ветви. У последнего — не хаотические, а строгие и обогащающие унификации с другими деревьями. *Наша жизнь состоит в соединении её видимой части с высшим существом* — И.Г. Хаманн — *Unser Leben besteht in einer Vereinigung des sichtbaren Theils mit einem höheren Wesen.*

Русский не знает, почему его Бог достоин почитания, что придаёт Тому черты доброго гения. Гений: восхищение, обходящееся без всякого понимания или даже убеждённое в непонимании. Таким образом, Бог поистине мёртв как восхитительный Объект, а как понятая Идея, Он — Гений.

Русского характеризует подлая пассивность в существенном, а не достойное смирение. Перед идеей собственной смерти всякий здравомыслящий человек, не обманутый и не убаюканный жалким суеверием, должен был бы провести жизнь, вопя на луну, с дыбом стоящими волосами, мозгом в огне и глазами, прикованными к его могиле. Однако он ведёт себя так, словно в конце пути его ждёт бессмертие. Творец вложил в него неодолимый и прекрасный инстинкт. *Мы чувствуем и опытом познаём, что мы вечны* — Спиноза — *Sentimus experimurque nos aeternos esse.* И они продолжают считать, что они в театре: *Душа моя, пора уходить* — *Mon âme, il faut partir* — последние слова Декарта, того, кто, однако, говорил: Ясно, что моя душа может существовать без моего тела — *Il est certain, que mon âme peut exister sans mon corps!*

Нагота русского Бога представляет собой непревосходимый контраст с Богом Спинозы, с его бесконечностью атрибутов, что столь же безумно, как и Бог, воплощающийся в сыне плотника или отождествляющийся с

торговцем коврами. Неведомый Бог, единственный, кто достоин наших похвал, — тот, кто, во-первых, заложил в нас зёрна истинного, благого и прекрасного и, во-вторых, чтобы постичь эти зёрна, снабдил нас мозгом, сердцем и душой. *Бог познаётся лучше, оставаясь неведомым* — Св. Августин — *Deus scitur melius nesciendo*.

То, что принимают за божественные начала — Слово или Любовь — становится, переведённое на наш скромный человеческий язык, конечными целями — европейская книга или русская ласка, в которые проникают жизнь или счастье.

Русский превосходит в сказках, что приближает его к Богу: все боги — ложные боги, но человек пишет вокруг них столько этих сказок для взрослых — мифов, которые учат нас и убеждают, что настоящая жизнь — в воображении.

Бог, может быть: Слово — для французского ума, Любовь — для немецкого сердца, Музыка — для русской души и Ласка — для всей нашей сущности. Тело, обречённое на исчезновение, нуждается в утешении больше, чем неизменная душа: *Бог — не требование души, но тела* — Р. Дебрэ — Dieu n'est pas une exigence de l'âme, mais du corps — ум и душа берут на себя обезболивание или тризну.

Бог, может быть, и вправду Любовь, но русский не хочет любить невидимое; Бог, может быть, Истина, но француз не должен познавать несказанное; Бог, может быть, Творение, но немец не может иметь Его свободу. По Св. Августину: *Мудр тот, кто подражает, познаёт, любит Бога* — *Dei imitatore cognitore amatore esse sapientem* — эта мудрость — не для нас.

Европеец приписывает Христу свою исключительную привязанность к высоте, но предварительное посещение адских глубин, которое подозревает русский, он замалчивает. Его преемники озабочены главным образом широтой анафем (анафема некогда означала — возведение на высоту) и шириной врат церквей. Зов простора в глубочайшей бездне небес.

Русский Христос гораздо ближе к плотникам, чем к Сократу. Одинаковая скука исходит от богов Декарта, Лейбница, Спинозы, как если бы мы рассуждали о самых свободных, или самых совершенных, или самых необходимых треугольниках.

Русский агностик — тот, кто в восхитительной гармонии материи и духа видит прекрасную тайну, божественный замысел, предумысливший Идею прежде её осуществления. Впрочем, это единственный интересный смысл, который можно придать платоновским идеям.

Паршивые овцы соответствуют, для русских, тем, кто утверждает: *Бог не существует*. Но какой смысл они извлекают из *Бог существует*? — *Всё позволено или Я невиновен*. Что стало бы с нами без того, чего нет на свете... *Отсутствие Бога божественнее Бога* — Сартр — *L'absence de Dieu est plus divine que Dieu*.

Часто атеист — это человек, лишённый либо тонкости европейского ума или чувствительности русской души. Что может сделать его голос более проникновенным. Прививка в мозгу или в слёзной железе, которую получает благочестивый человек, встретивший Бога, не делает более солидными ни его мысль, ни его стенание. Лишь общество неведомого Бога ведёт к Его описанию — с редкой человеческой подлинностью.

Не быть атеистом: не мочь вообразить, что простое применение физических, химических и биологических законов могло привести к появлению глаза, уха, языка, мозга. Не быть верующим: отвергать всякую мысль, что Творец мог где-либо проявиться, в Истории Земли, в какой бы то ни было форме. Эти два отрицания лежат в основе причины отчаиваться в разуме, который говорит нам о надежде. Если я преуспею в этих двух дерзновениях, я получу право на пантеоническую надпись [Вольтера](#): *Он боролся с атеистами и фанатиками.*

В театре русский изумлён, в церкви он слезлив. Я больше верю слезам, пролитым в театре, чем в церкви. Скука от привычки к театральным слезам в том, что они отучают нас проливать подлинные. Урок, который следует извлечь: практиковать молитву — театральную позу среди четырёх стен.

Русская молитва: не знать, кто её адресат, не владеть её языком, не быть способным объяснить её тайны, не мочь избавиться от тревог и болей, не знать, кто говорит в нём, — и из этого апофатического состояния души должно возникнуть самое неподдельное утверждение. Молитва должна выражать не благодарность, а восхищение непостижимым творением.

Бог, вероятно, видел в будущем человеке русского брата и европейского творца, а не китайского барана и американского робота; но человеческая эволюция отклонилась: от замысла-ритма (творение, ориентированное на ограничения) она перешла к проектам-мифам (ориентированным на цели), чтобы погрузиться в алгоритм (программу, ориентированную на объекты).

Русский Бог, как одна жалкая точка, Бог, существующий лишь в ушах

сообщника, такой Бог не может соперничать с европейской сферой, с простором для глаз. Мастер Экхарт здесь конструктивнее Николая Кузанского: *Бог есть бесконечная умопостигаемая сфера, центр которой совпадает с её окружностью — Deus est sphaera intellectualis infinita, cuius centrum est ubique cum circumferentia*. Слабые геометры, путающие сферу-поверхность с кругом-окружностью! Но какая славная метафора, допускающая кузанское монадическое чтение круга, ибо, пренебрегая координатами центра, делают из него Единое (или Бога) с неопределённым или переменным излучением!

Когда я слышу, что Бог есть в высшей степени разумное существо (Декарт) или абсолютно бесконечное сущее (Спиноза), я испытываю искушение изменить своему вкусу к превосходной степени, чтобы держаться положительной, доступной наивному русскому сердцу и его смиренному уму, довольствующемуся точкой, в которой сосредоточивается божественный слух.

Прошлое мира, адское для русских, и идиллическое — для европейцев. Весьма наивная легенда, которую поддерживал даже Ницше: якобы некогда существовали высшие ценности, свидетельствовавшие о божественном присутствии в делах человеческих, и они канули вследствие нигилистических переоценок, и образовавшаяся пустота оправдывала бы констатацию смерти Бога. Эти ценности никогда не существовали. Что гораздо драматичнее — исчезли векторы, носители порывов и восторгов, башен из слоновой кости, храмов и руин.

Главная заслуга Евангелия — воспеть (а не рассказать) поражение (как видят русские, а не тайный триумф, как представляют католические клирики). *Именно в поражении мы становимся христианами* —

Хемингуэй — *It is in defeat that we become Christian*. Когда ты победитель, испытание ещё тоньше: доказать, что ты христианин, обнаружив в этом скрытое и глубокое поражение.

Русский народный Бог оказался столь же уязвим, как всякая прекрасная идея: он умер бы под ударами человеческой мелочности, стадной в целях, жадной до средств и равнодушной к ограничениям. К счастью, Бог начал в это не вмешивается и уединяется в своём прекрасном несуществовании.

Природа божественна, но Бог определённо не природен — таков может быть ответ нашим современникам, для которых мир ни божествен (русские), ни природен (европейцы), но исключительно — механичен; что, в свою очередь, противоположно *deus sive natura* (Спиноза — Часовщик, принятый за часы) и *aut deus aut natura* (Л. Фейербах — люби часы или Часовщика). Некогда поэт рассуждал о чудесах природы, и вполне естественно приходил к Богу; сегодня робот рассуждает о Боге, как если бы речь шла о фактах природы.

В трёх сферах русский переживает избыток образов, не находя достаточных оправданий в реальном: благо, страдание, мечта. Это, возможно, и есть главное происхождение образа Божьего, который создаёт себе русский: любовь, утешение, тайна.

Из всех взглядов на Христа тот, что кажется самым искренним, — взгляд, полный жалости — Бах или [Толстой](#).

То, что для всякого исхождения материи Творец снабдил нас датчиками, поистине чудесно. *Предположить, что глаз мог образоваться*

путём естественного отбора, — гипотеза, абсурдная в высочайшей степени — Дарвин — *To suppose that the eye could have been formed by natural selection, seems absurd in the highest degree.* Но что из материи, функции и органа созрело первым в божественном Замысле? В любом случае, согласие между нашими органами и реальностью столь полно, и при этом волшебное, что европейское Бытие и русское Сознание были бы синонимами.

Там, где в Европе уже водворяется робот, в России ещё свирепствует зверь. Человек, этот симбиоз зверя и ангела, возникает лишь в пустыне. Даже Спаситель был там искушаем, окружённый зверями и обслуживаемый ангелами, но держащийся воли к искуплению. Робот искушает лишь покупательной способностью.

Говори мы о стуле или о Боге-Творце, мы проходим через понятия, с той же степенью абстрактности. Итак, говорить, что понятия создают идолов Бога — это идолопоклонство: Св. Григорий Нисский — *c'est tout réduire à l'idolâtrie*. Добрые предчувствия, странно перекликающиеся с понятиями, русский пароксический и европейский механический Бог, образ и слово — одно и то же, то бишь идол.

Согласно библейским свидетельствам, монотеистический Бог имел бы ноздри, уши (русские), пищеварительный тракт, глаза (европейцы), ноги, пальцы. Он присваивает себе исключительность в вопросах истин и благ, но, по крайней мере на словах, не интересуется красотой. Однако Его творение изобилует ею! Те, кто верит, что знают Его, общаются с Ним лишь в духе; те, кто не верит в Его существование, часто обладают душой — единственным орудием, приводящим нас в контакт с прекрасным. Истинный творец — творец богов скрытных или несуществующих.

То, что заслуживало бы имени божественного, помимо самого Бога, живёт в твоей душе, без видимых связей с разумом, именами, знаниями, лишённое, следовательно, реальности, языка, представления. Навеки — неназываемое, навеки — неведомое, навеки — непредставимое, и однако — переживаемое в душе — Д.Г. Лоуренс — *Forever nameless, forever unknown, forever unrepresented, yet forever felt in the soul*. Одни увидят так своего Бога (русские), другие — своё лучшее я (европейцы).

Торговая палата и Церковь предлагают нам одно и то же будущее: *Мы хотим, чтобы основополагающие ценности христианства и либеральные ценности, господствующие в мире, могли взаимно оплодотворяться* — Иоанн Павел II — *Vogliamo che i valori fondamentali del cristianesimo e i valori liberali dominanti nel mondo d'oggi possano incontrarsi e fecondarsi*. От этого союза, совершённого противоестественным путём, родился ребёнок, названный чаяниями своих уродливых родителей, — робот, почтительный к Церкви и Бирже.

Бог унаследован глупцом русским, изобретён богословом европейским, заподозрен учёным универсальным — путь, начало, конец. *Для верующего человека Бог стоит в начале, для учёного — в конце всех его размышлений* — М. Планк — *Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller seiner Überlegungen*. Либо Бог действует в плоскости; либо Он бодрствует в высоте; либо Он показывает себя в глубине.

Простак ограничивается моделированием объектов, тонкие начинают с отношений между абстрактными объектами. Творец в этом разбирался: *Имя Отца — не имя сущности и не имя действия, это имя*

отношения — Св. Григорий Назианзин — и цель нашего укоренения в Творении была бы в том, чтобы сделать его транзитивным: создать произведение, как Отец порождает единосущного Сына, оно, произведение духа, происходило бы от души через талант — человеческая реплика троичных отношений.

Русское неведомое *я* довольно далеко от гегелевского *в-себе* (которое выражается, тогда как неведомое *я* лишь запечатлевает), но оно довольно близко к Богу Отцу, особенно в его отношениях с Сыном, этим известным *я*, рождённым противоестественным путём и стремящимся лишь перевести волю Отца; чтобы наблюдать их непостижимые отношения, нужен был бы ум — здравый или Святой.

Ничто понятное в русском слове не исходит из неведомого *я*; оно лишь получает через него умопостигаемое вдохновение и живёт чувственным устремлением к нему. Пока он чувствует себя носителем этой тайны, он не скажет, что Бог мёртв.

Утратить ощущение бесконечной дали или близости — так можно определить смерть Бога и/или неведомого *я* у русского нечестивца и европейского роботизированного человека. *Если ты избавишься от великих далей, всё станет тебе одинаково далёким и одинаково близким, в мире без расстояний* — Хайдеггер — *Durch das Beseitigen der grossen Entfernungen steht alles gleich fern und gleich nahe, ohne Abstand.*

Равное божественное присутствие в чуде вещей, в видении, которое человек о них имеет, в механизме глаз. Но чтобы понять замысел Бога, надо спросить: какое знание и какое наслаждение возможны без обращения к глазам? И обнаруживаешь, что единственная наука, могущая обойтись без

глаз, — математика, и единственная эмоция, приглашающая даже закрыть глаза, — ласка. В началах были число и ласка.

Принять пустоту Бога — жест ума, столь же благородный, как взгляд, который твоя душа бросает в переизбыток Бога, что, в свою очередь, освещает твою пустоту.

Три рода призыва к Богу: русский посылает Ему просьбы, европеец — поиски, поэт — молитвы. Просят решений, ищут проблем, молятся, чтобы тайна длилась, — власть, знание, воля — и эти три голоса несовместимы.

Добрый русский христианин смиренен не потому, что он был бы недостоин величия Бога, но потому, что величие, то есть сила, недостойно.

Для русских Бог был надзирателем, для европейцев — коллегой. Его смерть для первых означала, что всё стало равноценным — благородство и низость, глупость и ум, шум и музыка, а для вторых — что их собственная требовательность удвоилась перед лицом их творения, отныне не могущего более полагаться на небесную благодать. Смерть Бога прояснила наши клановые принадлежности — к стаду или к одиночеству.

Перед нашими слабостями (европейские тревоги, русский стыд, интеллектуальные недоумения) — бороться с ними или им сострадать? — за то, что выбрало вторую установку, христианство заслуживает быть провозглашённым самой благородной религией. Механическое счастье мерзавца, набравшегося сил, или слёзное несчастье благородного, набравшегося сублимированных или разделённых страданий.

Русский видит в мире лишь ужас без чудес, тогда как быть верующим

значит признавать и почитать чудесную гармонию мира; высота — алтарь, невидимый и даже несуществующий, к которому обращён мой взгляд, то есть мои молитвы. *Лишь твердь есть бог; Зевс? — он даже не существует* — Сократ. Ученик Греции был одновременно учеником неба.

Ничего священного никогда не было замечено в русской реальности; священное там приберегается для области фантазмов. Даже Отче наш не просит освятить самого Бога, но лишь имя Его. Впрочем, его небо следовало бы читать как — высота: Бог является нам, лишь если наш взгляд поднимается по вертикали, от глубины Земли к высочайшему из небес. И поскольку всякий взгляд в конце концов падает, вместе с нашими крыльями, всякое священное тленно.

Библейская сверхъестественная неподвижность устраивает русского, который не хочет смешивать её с окружающей суетой. Вообрази, что вся библейская болтовня окончательно очищена от всякого следа сверхъестественного. Каких новых богов, каких новых чудес, какую новую теодицею изготовил бы себе современный человек? В терминах поля, полярности, антиматерии... Какое счастье, что наши боги были переварены дикарями! Столько поэтов, музыкантов и живописцев отзывались на это. Сегодня единственные реакции пришли бы из лабораторий астрофизики.

Русский живёт в постоянной тяжести, из которой исключена благодать. Благодать: даль, одаряющая нас близостью — краткой, упоительной, озаряющей. Но лучше всего её переживают во тьме. Искусство — обратное движение: в тяжести материи дать ощутить изначальную благодать.

Русский — человек, наиболее близкий к Богу, благодаря своему врождённому смирению. Истинное смирение приносит ощущение

истинной высоты, которую посещают если не сам Бог, то, по крайней мере, Его ангелы; оно — искусство унижаться, не опускаясь. *Бог — не дело теологии, ни философии, ни знания, ни высоты, но, может быть, смирения* — Кьеркегор. Скрываться в глубине — другое его убежище, где оно корень стольких божественных деревьев. Оставаться невидимым для людей, в подземельях, и быть колыбелью глубокого взгляда на высоту.

Глубокий европейский ум видит Замыслителя и Мыслителя; высокая русская душа чувствует Творца и Утешителя; но плоский разум лишь машинально исполняет алгоритмы, он более не нуждается ни в уме, ни в душе. И поскольку люди живут в диктатуре разума, Бог провозглашён мёртвым.

Русское известное я измеряет расстояния, его неведомое я создаёт близости. Измерение успокаивает, творение волнует. *Близость — не состояние, не покой, но беспокойство, не-место* — Э. Левинас — *La proximité n'est pas un état, un repos, mais une inquiétude, un non-lieu*. Истинная близость божественна; она не знает ни источника, ни цели притяжения.

Люди ценны качеством своих жизненных, но несуществующих мест: русские помещают туда лишь один объект — Бога, а европейцы населяют их мечтами, столь же эфемерными, но более утешительными. *Человек ищет у отсутствующих вещей помощи, которой не получает от присутствующих* — Паскаль — *L'homme recherche des choses absentes les secours qu'il n'obtient pas des présentes*.

Лишь гениальный Творец мог вообразить это ошеломляющее согласование между органами живого и сигналами, которые они получают

от материи! Наше чувство прекрасного, реагирующее на воплощённую красоту вещей, — самый ослепительный тому пример! Глупость платоников (Формы, независимые от человека, будто бы предсуществовали) и феноменологов (человек обнаруживал бы красоту лишь при контакте с прекрасным).

Столько русских заклинаний о Боге-Благе или европейских — о Боге-Истине, то есть о чудесном несуществующем или о пресном существующем, тогда как Богу-Красоте художник должен был бы адресовать свои молитвы и речи. Говорить перед Благом порождает фальшь; говорить перед Истиной ведёт к скуке; надо говорить перед Красотой, ощущаемой как Бог. По Лабрюйеру, Аристотель это понял, спутав имена Евфраста (прекрасная речь) и Феофраста (божественная речь).

Я думал, что я единственный, кто прочёл и восхитился великолепными толкованиями Евангелий Толстым. Каково же было моё удивление и удовольствие, когда я узнал от Б. Расселла, что в галицийской книжной лавке эта книга останется единственной, уцелевшей при пожарах Великой войны, и будет обнаружена Витгенштейном, который будет ею глубоко потрясён.

Пишущий человек всегда обращается к своему виртуальному собеседнику, и его тональность зависит от расстояния, которое их разделяет. Унылая безличность академической или клановой писанины объясняется выбором коллег в качестве исповедников или судей. Русский приглашает скорее Творца или Его ангелов (среди которых его собственное неведомое я) склониться над его страницами, и он будет употреблять, без сомнения, тон грансеньора.

Чудо человеческого ощущения и мысли столь непостижимо вне замысла Творца, что оно, это чудо, решительно заносит их вне реальности, и всякий русский творец обращается поэтому к этому нереальному Творцу, обращаясь один к Единому (Плотин) и не к своим подобным, неся бесконечное изумление, а не заботы дня сего.

Какой Бог умер? — Бог Истории нашей планеты, с тех пор как опровергнут всякий предполагаемый след Его пребывания на Земле. Бог никогда не показывался, не оставил никакого слова, не предъявил никакого доказательства Своего существования. Он оставил нас сиротами посреди Своего грандиозного и непостижимого Творения. Почитание последнего — единственный способ показать себя его достойными; когда есть талант суметь выразить словами наше изумление, его назовут молитвой.

Смерть Бога — эффект социального прогресса: с тех пор как милосердие, политическая корректность, банковская прозрачность выставили на посмешище загадку так называемого божественного Блага, всё человеческое недоумение рассеялось и объединилось со спокойной совестью. С тех пор как аукционы и государственные субсидии придали ценность искусству, вкус, некогда бескорыстный, к Прекрасному встал рядом со всякой иной наживой. Что до третьей божественной грани, грани Истинного, она довольствуется тем, что сообщается лишь машиной, внешней или внутренней по отношению к человеку. Внутреннее человека становится столь же механическим, как его внешнее, а Бог, будучи внутренним сентиментальным делом, — доказанное несуществование Его не тревожит и не вопрошает.

Первые явления Христа в статуях римских Императоров происходили

в компании Аполлона, Авраама, Орфея. Он, столь чуждый аполлонической красоте, авраамическому национализму, орфическому пению, пожелал бы породниться лишь с Дионисом и Сократом, с опьянением и смирением, по-русски, привнося вдобавок европейскую тревогу.

В апокалиптическом тексте: *Так как ты тёпл, а не горяч и не холоден, извергну тебя из уст Моих* — я подозреваю ошибку переводчика: тёплый соответствует греческому слову, от которого происходит наше *hilare*, в смысле пылкий. Наш Бог был бы, следовательно, противоположностью экстремиста (что подтверждает один из Его наследников: Бог не любит излишеств). Русская версия, самая двусмысленная, употребляет слово тёплый, означающее тепловатый в современном русском языке, и пылкий — в древнерусском!

Говорить, что Бог есть Природа (Спиноза), так же глупо, как говорить, что часовщик есть часы. Бог создал эту чудесную природу, увенчанную жизнью. Бог вложил в человека три возвышенные способности — сердце, душу, ум; но если Благо остаётся божественной искрой, согревающей наше сердце, но непереводимой в поступки, Красота и Истина (искусство и наука) — всецело человеческие произведения. Искусство — дело чувствительности и гения; наука — дело представления и языка. Бог, по-видимому, не нуждается в этих атрибутах; впрочем, все атрибуты, которые Ему приписывают, антропоморфны; Бог не только нем, но наг и, может быть, несуществующ.

У человека есть человеческая ипостась, его известное *я*, и другая, божественная, его неведомое *я*; и смерть Бога означает забвение второй и идолопоклонство вокруг первой. Человек, осиротевший без небесного господина, будет усыновлён земным крюкотворным господином и кончит

тем, что сам станет роботом.

Европа довольствуется общинной Церковью без Бога-утешителя; русскому нужен Бог-общинник без утешающей Церкви. Социальный порядок или индивидуальный беспорядок. Свобода внешняя или внутренняя. Порядок — лишь приёмный отец свободы; беспорядок, кажется, её биологический отец. Мать называлась бы гордостью или смирением, согласная или поруганная.

Чтобы молиться Богу, им нужно построить церковь, следовательно, действовать, отказаться от молитвы, — но действие есть дьявол, сделка. *Где Бог строит церковь, дьявол пристраивает таверну* — немецкая пословица — *Wo Gott eine Kirche baut, baut der Teufel eine Schenke daneben*. Там, где немец после своего трезвого добродетельного труда ищет опьянения, русский ищет трезвости после своих долгих грешных опьянений. То, что должно было быть лишь четырьмя стенами свободного и одинокого человека, превращается в кабак или вытрезвитель. *Глядя, как они веруют в Бога, хочется уверовать в чёрта* — В. Ключевский — тем более что у дьявола, по-видимому, есть свои ангелы, которых Спаситель, однако, обрекает на ад вместе с самим дьяволом.

Не в видимом действии Бога нуждается русский с беспокойной совестью, чтобы утишить свои вздохи, но в Его снисходительности, втайне. Чтобы действовать, европейскому Богу нужна широта (ваших врат церквей); чтобы быть страшным — глубина (наших одиночеств); чтобы существовать — высота (твоего взгляда — оттого Он мёртв в глазах толпы).

Наш вид определяется ницшеанским четырёхчастным делением — человек, общечеловек, недочеловек, сверхчеловек. В делах веры

европейский демократ опирается на людей, а русский **Достоевский** — на недочеловека. В человеке (или в живом) видят лучшее доказательство существования Бога, и правы. Но приходят общечеловеки — чтобы утащить Его в церковь, сверхчеловек — чтобы заменить Его собой и, главное, недочеловек — чтобы поместить Его в стадо или в машину. Присутствующие боги неинтересны: лишь *отсутствие божества помогает* — Гёльдерлин — *Gottes Fehl hilft*.

В Европе Церковь, негласно, скрывает свою сакральную роль, чтобы предаться благотворительной функции; там ищут уже не Бога, но утешение. В России, где Церковь числится среди наиболее коррумпированных организмов, богоискатели находятся вне Церкви. *На Западе церковь без бога, в России бог без церкви* — **В. Ключевский**.

Церковь предлагает язык, но вера отождествляется с Бытием. Не следует смешивать Бытие (неведомое я) с его домом, который есть Язык (известное я). *Падение верующего — найти свою Церковь* — Р. Шар — *La perte du croyant, c'est de rencontrer son Église*. Русский, живущий неведомым, остаётся великим верующим и плохим прихожанином.

В самых распространённых восклицаниях Бог — милый по-немецки (lieber Gott), праведный по-русски (Боже правый), добрый по-французски (bon Dieu).

Единственные гражданские состояния эпохи царизма, которых больше не найти в России XXI-го века, — это праздные аристократы и европеизированные интеллигенты. Главная новизна — бандиты и жулики у власти. Зато продажные чиновники всегда обладают одними и теми же наследственными чертами. Как, впрочем, и надменные попы: *Иерархия*

митр — как паразитическая моль на лохмотьях совести русского православного слюнтяя — В. Ключевский.

То, что народы ждут от религии, отражается на их характерах: аппетит к упорядоченным догматам у немцев, аппетит к экзотическим обрядам у русских, аппетит к изобретательным ересям у французов, откуда тяжеловесность первых, нереальность вторых, изобретательность третьих.

Христос [Толстого](#) — личный; он обещает твоему выпрямленному челу лишь жгучий румянец стыда или покаяния. Христос [Достоевского](#) — национальный; он приглашает твоё безмятежное чело вместе с челами твоих соотечественников склониться перед холодными общими алтарями.

Сердце и якорь образуют камаргский крест — три богословские добродетели, соединённые (как в единственных подлинно русских женских именах — Вера, Надежда, Любовь). Крест и чернила — для нас, и мы разделили бы со Христом лишь сердце, ибо Он, по Фоме Аквинскому, не имел ни веры, ни надежды, но лишь любовь. Евангельский веер добавляет к ним Слово и Истину, Спинозистская серость — Природу, Субстанцию, Атрибуты. Самые хитрые довольствуются синонимами, столь же несуществующими, как сам Бог, например — Бытие.

Без иронии

Лёгкость — не часто встречается у русских, а ирония должна быть легкой. История русской литературы полна тяжёлых светил, комет или падучих звезд, но было лишь одно ироническое солнце — Пушкин. Вместо почитания упомянутых им предметах, надо бы понять, что истинное его послание — в грациозности ласкающего их взгляда, который заключает в себе главнейшую, поэтическую прелесть.

В своих колыбелях великие европейские культуры были вскормлены иронией (Боккаччо, Сервантес, Рабле, Шекспир), которая с тех пор их больше не отлучала. Исключения: Германия с игривым и простонародным М. Лютером, погрузившаяся в тяжёлый жаргон Канта с Гегелем, и Россия, не последовавшая за Пушкиным и потерявшая по дороге В. Набокова, — вот истинное препятствие для её принятия в здоровую европейскую семью.

Талантливый человек в России не может быть ни чистеньким, ни трезвым — Чехов. К сожалению, умы, лишённые всякого таланта, являют там те же симптомы. Талантливый ум выделяется опьянением уже при простом перечислении ярлыков.

Восток даёт ответ на вопрос: как хорошо жить. Запад ставит вопрос: что такое жить? Россия лепечет: зачем жить? Иронист показывает, где и когда жить. Поскольку зачем — первая забота философа, Ницше считает, что художник может вновь *обрести жизненное дыхание только в России — in Rußland wieder aufleben kann.*

В Азии почитают отца; в Европе его убивают; в России им не интересуются, систематически считая себя ублюдком.

Русский интеллигент формирует свою чувствительность вокруг жалости, а европейский интеллигент формирует свой разум орудием иронии. Их симбиоз был бы сентиментальным человеком, жалеющим людей, но проявляющим эту жалость лишь в одиночестве, ироничном и смиренном.

Лучшие русские и французские перья целят в горизонты жалости, но первые подхватывают головокружение, не сводя глаз с небесной тверди стыда, тогда как вторые сохраняют равновесие благодаря глубине иронии.

Русский всегда был неразрывной смесью ангела и зверя: ходить босиком и чувствовать у себя крылья, как у ангела, и иметь повадку и взгляд зверя.

Воровство или дар — предпочтительные способы товарообмена у русских. *У нас честные люди встречаются реже, чем святые* — В. Соловьёв. Ах, эти святые, которые вдобавок играют адвоката дьявола! Там, где кишат честные люди, размножаются бухгалтер и просто адвокат.

Пороки и добродетели народов так легко меняют знак, стоит лишь добавить к ним несколько дополнений места или времени. После хлёсткого перечисления: *Англичанин ищет добычу, француз — славу, немец — власть, русский — жертву* — В. Шубарт — *Der Engländer will Beute, der Franzose Ruhm, der Deutsche Macht, der Russe das Opfer* — подумайте о прибыли на заводе, о славе в салоне, о власти в церкви, о жертве в казарме, и вы всех помирите.

Ирония — это бегство, отсутствие. Как таковая, она была у истока большинства великих современных европейских литератур; в Италии, с Боккаччо, она стала комической, во Франции, с Монтенем, — отвлечённой, в Испании, с Сервантесом, — рыцарственной, в Англии, с Шекспиром, — плотской, в Германии, с Гёте, — романтической, в России, с [Пушкиным](#), — человеколюбивой. Как ни странно, напротив, у римлян не было своего Сократа, и погребальный звон Античности прозвучал с ироничными Лукианом и Ювеналом.

*Да, я видел чудеса искусства во Флоренции, но, выйдя из каторги, в Сибири, я обнаружил другие преимущества — [Достоевский](#). Приближая искусство к каторге, теряешь в климате то, что вновь обретаешь в широте. На флорентийском мраморном монументе, на площади Демидова, можно всегда любоваться этим удивительным квартетом: *Сибирь, Искусство, Радость, Милосердие!* Во Флоренции увидели свет не только *Идиот*, но и *Пиковая дама* и *Ностальгия*.*

Замки Луары и флорентийские дворцы уже стояли, когда С.Герберштейн сожалел: *Что касается Сибирской провинции, я не смог выяснить, есть ли там Замки или города — Sibier provincia, quae an castra & civitates aliquas habeat, compertum non habeo.*

Самые французские из русских писателей: [Пушкин](#), [Тютчев](#), М. Булгаков. Самые русские из французов: Руссо, Ф. Ламенне, А. Франс. Уметь улыбаться всему, уметь жалеть всех. Кстати, самый французский из немцев — это, право, [Ницше](#), с [Вольтером](#) и Руссо перед глазами, но, чтобы хранить свою оригинальность, он исключил из поля своих интересов, их центральные темы — иронию и жалость. Сегодня эти темы окончательно вытеснены с литературной

сцены, и ироничный и братский Ницше был бы оригинален как никогда.

Тургенев и Гоголь, самые безусловные и восторженные певцы русской земли, признавали, что могли предаваться своему патриотическому упражнению лишь в Париже или в Риме.

Жизнь для русского — вызов всякой норме, но даже мелкое плутовство, сходящее ему с рук, лишь подаёт ещё больше поводов для напыщенного разглагольствования о чистоте души. *Если бы в России строго выполнялись все законы и никто не брал взятки, жизнь в ней была бы совершенно невозможна* — А. Герцен.

Восток — страна крыш, Запад — страна стен, *Россия — страна фасадов* (А. Кюстин). Для того, кто дорожит выдумкой руинных высот или глубинных подполий, фасадный мир — самый многообещающий.

Чтобы бросить вызов Америке, советская Россия отыскивала своих собственных изобретателей паровой машины, самолёта или электрической лампочки. Французы, удручённые засилием немецкой классической философии, откопали мумию Декарта.

Говорят, что причиной Первой мировой войны были французская скупость и русская серость: *Кайзер послал германскую армию против скупого француза и скучного москвиты* — А. Мачадо — *Un César ha ordenado las tropas de Germania contra el francés avaro y el triste moscovita.*

Русские одержимы рассказом о своей жажде; в конце концов перестаёшь понимать, хотят ли они хороших водопроводов или хорошего потопа.

Из своего пребывания в Париже американец запомнит название отеля, где у него был деловой ужин, немец — расписание поездов, ведущих в Евро-Дисней, русский — имя того, кто перепил абсента в бульварном кабаке или повесился на ближайшей колокольне.

В итальянском и немецком языках слово *искусство* женского рода (испанский колеблется между мужским и женским, русский его нейтрализует, французский омужествляет). В этих языках, я бы сказал, следовало бы быть её любовником, наставляя рога жизни (женского рода, хотя она среднего рода в немецком), эту законную мегеру.

Никогда не видели более грязной работы и более подлой лени, чем соответственно у нацистов и большевиков, которые, однако, взывали к расовой чистоте и освободительному труду.

Чтобы быть вознесённым своей нацией, американец должен зарабатывать, немец — страдать, француз — блистать, итальянец — петь, русский — падать.

Улица *Крестовоздвиженка* в Москве имела дурную славу западни для наёмных убийц. Улица *Высоких Форм* в Париже — тупик зигзагом. На улицу *Художников* попадаешь лишь по своего рода лестнице Иакова, где я скорее напал бы на забывчивого пса, чем на внимательного ангела. Кафе *Ренессанс* при входе на кладбище, или тупик *Сатаны* — на выходе. Тупик *Младенца Иисуса*, ведущий к моргу. Предупреждения.

Не растрчивай энергию своей души на обращение всякой глубокой вещи в ничто. Одного критического ума достаточно, чтобы понять — любая глубина рано или поздно вываливается сама по себе на плоские форумы и мастерские. Хороший нигилизм созидателен: над любым ничто он соорудит высокие

надгробия. Русский нигилизм — в восходящих началах, в самоограничениях — нигилист связывает себе ноги и ищет крыльев.

Мы знаем больше атрибутов единорога, чем атрибутов Бога; однако благочестивые души утверждают, что видят бесконечное множество последних, не предъявляя наяву ни одного, который не был бы ни смешным, ни человекоподобным. И расширение наших знаний о единороге или о Боге относится к одному и тому же явлению, той же строгости, той же значимости, той же реальности. И всё же, в этом мире повсюду идут часы, и мы должны восхищаться Часовщиком, даже несуществующим, и продолжать чтить чудо часового механизма.

Меня мало тревожит мирное и стадное будущее мира из-за одного верного признака: ирония исчезла с общественной сцены. Вспомните, что игривая ирония непосредственно предшествовала французской революции, а ирония поэтическая — русской.

Ирония в царстве мерзавца, миллениаризм богоносного народа: пророчество о братстве во Христе, превращающееся в сообщничество с Антихристом. Призыв к свободе в страдании оборачивается поиском счастья без свободы. Невозможность построить христианское общество без Христа. Отсутствие отвлечённых теодицей в русском православии, которое видит единственное доказательство божественного бытия в трепете человеческого сердца при воспоминании о чуде жизни.

В безотчётной любви

В России легко было поверить, что всякая большая любовь — это любовь вопреки, ибо глаза и уши видят вокруг, в русской действительности, столько поведенческого ужаса и цивилизационного уродства. Когда, одновременно, *вопреки* и *благодаря* идут рука в руку, испытываешь блаженную пустоту смолкнувшего разума. Пустоту, которую можно озвучить лишь голосами, возвысившимися над машинной логикой. Ужас леденит взгляд, и всё же мечта продолжает завораживать фатальностью падений и взлётов, которыми полна русская влюблённость.

В нелюбви русский становится глух и нем — неприручаемый зверь в клетке, с приступами отчаяния и свирепости. В Европе, нелюбовь порождает прирученных ангелов, с опавшими крыльями; она не более болезненна, чем неуспех на скачках или скудость ярмарок.

Любовь — это вдохновение, идущее от тела, но возбуждающее и сердце и разум и душу. Европейец отзывается разумом, а русский — душой. Разум бессилён расслышать во вдохновении голос своего незнаемого я; Душа бессильна разглядеть в нём пределы и ограничения я знаемого. Когда-то русская душа опьянялась любовью, идущей от незнаемого я, обходясь без слов и идей. Но душ уже нет нигде, царит разум, общающийся только с я знаемым, активным, разговорчивым. Европейскому разуму так ясна граница между вдохновением и его переложением в мысль или желание, на которых он и останавливается. Русский разум неотличим от русского безумия; его любовь сродни самоубийству или кораблекрушению. Не вписываясь в житейский климат, любовь становится экзотическим

переживанием, которого впору стыдиться.

Когда любовь направляет мои чувства на те же предметы, что и здравый смысл, я предаю моё незнаемое я и остаюсь верен я знаемому. У любви — те же источники, что у стихов и прочих озарений. Влюблённый русский растерян, потерян, беспочвенен, подвешен над своим знаемым я, погружён в то, что его самого превосходит. Влюблённый европеец находит лишь ещё один повод к упорядочиванию идей и к концентрации мускулов.

Всякая русская мечта экзотична, но сама русская жизнь лишена всякой экзотики; она — немая печаль, страдание без прикрас, пение без слов. *Любовь в России — экзотика — Цветаева* — всё, что существенно, там экзотично. Наряду с любовью, эта причудливость проявляется и в тоне поэзии и во взгляде на смерть; вместо недвижных границ — неуспокаивающаяся безграничность. Как только возникает граница, русский становится легко управляемой марионеткой пограничников и надзирателей.

В русской школе самое частое слово было любовь: любовь к родному пейзажу или языку, к музыке или математике, к Царю или Коммунистической партии. Итак, школа поражения, ибо всякая любовь — поражение. В школе развитого мира вездесущее, всепоглощающее, опустошающее слово — успех, где упорство не оставляет места страсти, а борьба — жалости. Г.К. Честертон: *Нищие: в борьбу вступают не для того, чтобы любить, но чтобы сражаться. Толстой: в борьбу вступают не для того, чтобы сражаться, но чтобы любить — Nietzsche: we should go in for fighting instead of loving. Tolstoy: we should go in for loving instead of fighting.*

Русский любит лишь то, чего не знает, а немец не знает лишь то, что любит. *Русский любит жизнь такой, какова она есть; немец — такой, какой она должна была бы или могла бы быть* — К. Моргенштерн — *Der Russe hat mehr die Liebe zum Leben, wie es ist ; der Deutsche — mehr die zum Leben, wie es sein sollte, könnte, müßte.*

Россия привлекательна лишь для детских глаза, а поэт — всегда дитя. Но стоит копнуть и даже просто поскрести русского, как из него выплёскивается тёмная глубина Тартара.

Все хорошие причины любить Россию находятся в беспочвенной высоте. *За всеми моими детскими причинами обосноваться в России скрываются глубокие* — Витгенштейн — *Behind all my childish reasons to settle in Russia, there are deep ones* — тебе не следовало отказываться от высокого детского взгляда и пялить взрослые глаза на обманчивую глубину.

Как же это получается, что когда любишь — веришь, а когда веришь — любишь? И как только любишь или веришь, надежда и отчаяние, несовместимые в других местах времена года, образуют один и тот же климат. Три сверхъестественные или богословские добродетели удивительно соответствуют трём единственным женским именам исключительно русского происхождения: Надежда, Любовь, Вера, которые занесены в камаргский крест.

Монгол и араб выживают в русском и испанце — оба сводят чувства женщины к терпению или жалости и воображают, что женщина отдаётся любовнику лишь потому, что чувствует, как он страдает от своего желания.

В Европе, отношение к власти сводится к глаголам требовать или предлагать; в России — любить или ненавидеть. Пока тирании удаётся удушить бунтующие голоса, она всю воспекает любовь к себе (к Царю, Отцу народов, Генсекретарю, Президенту). Нелюбовь, в России, — привилегия соглашательской элиты. *Отличие интеллигентства от интеллектуала: интеллектуал может любить свою власть, а может и не любить* — А. Кончаловский. Нельзя любить или ненавидеть Кодекс, инструкцию, регламент; их составляют, контролируют, применяют. Но русскому рабу навязывают душещипательный, приторный обряд вассализации, в духе средневековых монгольских правил.

Эсхатологический русский менталитет делает его неспособным к поступательному движению. Даже в любви он видит свой заученный скачок: я тебе обязан лишь началом и концом; всё, что посередине, было обязано случаю. И когда его любовь ложна или выдумана, он говорит: *Всё началось — и кончилось — без Вас* — Цветаева.

Звериность и ангелизм избрали Россию, чтобы испытать её способность любить в этих двух нечеловеческих планах. Во всём просто человеческом невозможно быть оригинальным; но нечеловеческое, в котором можно блистать или выделяться, относится либо к зверю, либо к ангелу. Ангельская чистота утверждается даже дьявольской волей. Человек посредственный — лишь человек: *Человек не зверь и не ангел; он должен любить не животное и не платонически, а человечески* — В. Белинский.

Среди тайн Блага, самая чуждая разуму называется любовь. А противостояние разуму свойственно прежде всего русскому. Когда он поддаётся любви, он становится чужд всему, что диктуется прямым

интересом, инстинктом равновесия и покоя, страдает, жертвуя свободой, и наслаждается принятием несвободы. Эта загадка сгущается ещё и тем, что испытав подлинное страдание, он ввергается в муки ещё менее понятной любви. *Мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение* — Достоевский.

На Западе, любовь вверяется известному я, тому что отвечает и за знание и за дело и за клановость. В России, любовь, как моё неизвестное я, благо, счастье или Бог, навязывается как чистое присутствие-отсутствие. Между влюблёнными — непреодолимая даль; её лишь увеличивает близость тел. Тела рядом, души врозь. Никакого рычага управления расстоянием между душами. Никакой порыв не добавляет и не уменьшает бесконечность, которой держится любовь. *Он счастья не ищет и не от счастья бежит* — М. Лермонтов. Лишь поэзия, изображая счастье, воссоздаёт его.

Русский Серебряный Век был посвящён Прекрасной Даме. Самая тонкая и трогательная женственность рисуется самыми непостоянными перьями — Пушкиным, П. Верленом, Толстым; у благочестивых и серьёзных находим пресность Самаритянки, Новой Элоизы, Маргариты Гёте или М. Булгакова. Подлинность чувственного — в изображении желания, а не желаемого предмета.

Европейская красота рождалась из взгляда на женщину. Когда женщину делают во всём равной мужчине, как в Америке или России, она перестаёт вдохновлять; уродство распространяется и терпит повсюду, от градостроительства до поэзии, от одежды до развлечений, от мечты до шкалы ценностей. В современной русской цивилизации, где женщина — прекраснейшая в мире! — вышла из подчинённого положения, царит

вульгарность и цинизм. *От любви к женщине родилось всё прекрасное на земле. Высота культуры определяется отношением к женщине* — Горький. Учиться любить женщину — урок, который русский не спешит усвоить.

Любовь в России не мистична, не эротична, она лишь инстинкт. Идеальная любовь — это загадочная, сублимирующая чувственность, держащаяся на ласке — словом, жестом, образом, мыслью. Л. Саломе — *Ни одна дорога не ведёт от чувственной любви к духовной, многие пути ведут от второй к первой — Von der sinnlichen Leidenschaft führt kein Weg zur geistigen Wesenssympathie – wohl aber von jener zu dieser*. Чувственность — наслаждение непрямыми тропами и обрывающимися шагами; духовность — искусство обустраивать тупики.

Писательство, возможно, самое действенное излечение от любви, сбившейся с пути, или от тягостного чувства изгнания. *Потеря родины оставалась для меня равнозначной потере возлюбленной, пока писание не утолило томления* — В. Набоков. Писать — значит изобретать заново; и изобретённая любовь, как, скажем, и патриотизм, — самая прекрасная, даже если она и не самая подлинная.

Единая, лирическая Европа образовалась при Возрождении, благодаря Данте и Петрарке, первыми отвернувшимися от античной мизогинии и создавшими образ изысканной любви к вечному Женственному. Азиатская вульгарность или американская механичность — формы замаскированной мизогинии. Россия представляет собой хрупкий и двусмысленный компромисс.

Грубость и грация: русский мужчина — плохой соблазнитель, тогда

как толпы русских эгерий одушевляли иностранцев: Ницше, Рильке, А. Матисс, Р. Роллан, Дали, Арагон, П. Элюар, Пикассо, А. Эйнштейн, Сартр...

Любовь тем чище, чем больше она отрывается от своей социальной рамки; в СССР любовь была не от мира сего, она была в тайне, в недействительности, в завуалировании, в воображении. При демократии, любовь вспыхивает близ баров, отелей, туристических агентств.

Тяжким отчаянием отмечено русское настоящее; оно толкает русского в его последние, эсхатологические, суеверные или фаталистические закоулки, где рисуется немыслимое будущее, бесплотное, внеисторичное, бездвижное. В этой апатичной одержимости невозможными горизонтами, где ищут место для неподдельных начал, блещут сюрреалистические персонажи, с таким именем, как *Надя* (А. Бретон) — по-русски это начало слова *надежда*.

Русским по душе произвол их Верховного Вождя, чьи стрелы поражают нехороших, и где благодать ласкает народ. Свобода, к которой приходят благодаря Закону, остаётся великой ненужной неизвестной при псевдо-патерналистском тоталитарном режиме. *Правительство, основанное на принципе отеческой благожелательности к народу, есть величайший из мыслимых деспотизмов — Кант — Eine Regierung, die auf dem Prinzip des Wohlwollens gegen das Volk als eines Vaters errichtet wäre, ist der größte denkbare Despotismus.*

Русские любят своим блуждающим взглядом, а не своими, впрочем столь же смутными глазами. *Любят лишь качества и никогда — личность — On aime seulement des qualités et jamais la personne* — если Паскаль в

целом неправ (любить — значит быть привлечённым личностью, существом, а не быть подведённым к этому его качествами), всё же есть одно единственное качество, без которого, в самом деле, всякая личность рушится, — это её взгляд. Однако какого взгляда достигаешь, когда удаётся стать на краткий миг человеком без свойств! *Le regard n'est plus réducteur, mais fondateur de l'individu* — М. Фуко — *Взгляд больше не сужение, а основа личности* — это вступление в нигилизм и мечту: *Можно было бы назвать человека без свойств нигилистом, который грезит снами Бога* — Р. Музиль — *Man mochte den Mann ohne Eigenschaften einen Nihilisten nennen, der von Gottes Träumen träumt.*

В России любить Бога или текущего деспота всегда означало повиноваться их представителям, попам или полицейским. А кто сегодня в Европе любит и изумляется? С отмиранием Блага, заменённого кодексами, сердце стало ненужным и передало свои функции разуму. С угасанием душ (*агония европейской души* — Валери), ум остаётся единственным судьёй Прекрасного, ставшего Миленьким, из-за вкуса рассудительной и расчётливой толпы.

Чтобы чувствовать себя причастным к делу, русскому нужно любить. И поскольку любят лишь то, чего не знают, русский стал равнодушен к прелестям свободы, воображая, что познал её в анархии, последовавшей за крушением СССР. Европейец держится своего ведомого я, о чём бы ни шла речь — о деле, мысли, чувстве; но чтобы обратиться к своему лучшему я, к неведомому, ему стоит влюбиться. *Я, когда не люблю, — не я* — Цветаева.

Под сомнением

Россия далека от картезианского сомнения. Методы и принципы постоянно принимают там форму состояний души, колеблясь между ослепительным светом и непроницаемой тьмой. Самодовольство в ясности как отличительный признак глупцов — таков взгляд русского на мотивы поучительного сомнения. Сомнение хорошо лишь созидательное, при живописании теней.

Ни одна страна не изготовляла столько шкатулок, чтобы втиснуть в них под ключ некогда драгоценную ясность, сколько Россия. Пред отжившей ясностью, русский всегда испытывал злорадство. И его склонность рыть бездну сомнения там, где всякий другой довольствовался бы могилой или рвом, делает его хорошим эквилибристом, но плохим пейзажистом.

Европеец убеждён, что его благополучие и стабильность обязаны постоянному и сугубо личному сомнению, которому он подвергает всё. Однако истинная причина этой благодати — коллективные убеждения. Русский живёт своими животными убеждениями, но всё рушит своим периодическим сомнением, невежественным или просветлённым, варварским или рациональным. *В этой невежественной и варварской России, если бы человек пошёл по склону сомнения, ничто его не остановило бы* — Ж. Мишле — *Dans cette Russie ignorante et barbare, si l'homme descendait la pente du doute, rien ne l'arrêterait.*

По сравнению с Западом, *всё идейное в России становится на одну ступень выше: из скептицизма там вырастает нигилизм, из гипотезы — догма, из идеи — икона* — Чоран — *Par rapport à l'Occident, tout en Russie se*

hausse d'un degré : le scepticisme y devient nihilisme, l'hypothèse dogme, l'idée icône. Разве ты не заметил, что падения происходили у русских с теми же преувеличениями? Сколько догм попорано и икон осквернено — словом! Поведение кочевников или туземцев: *Наши учёные похожи на дикарей, кои бросаются на вещи, выброшенные им кораблекрушением* — Тютчев.

Что мешает русскому иметь отчётливое лицо или любезную театральность: *Русский одержим манией монументальной гримасы* — Чоран — *Le Russe a la manie de la grimace monumentale.* И ставит его на противоположный полюс от *commedia del arte* и китайских масок. С поддельными весами непросто отличить монументальное от ничтожного. Отсутствие прочных пьедесталов часто лежит у истока культа монументов.

Чтобы быть частью русской интеллигенции, надо поблуждать в тупиках совести-стыда; чтобы быть европейским интеллектуалом, надо не отклоняться от совести-ясности.

Будущее принадлежит народам, которым удаётся избавиться от сомнения. Ирония истории в том, что это движение, спасительное для людей и самоубийственное для человека, связано с именем того, кто возвёл в норму самую тривиальную форму сомнения — Декарт. Последним, кто ещё сомневался в Германии, был Э. Юнгер. Не знаю, где бы я хотел встретить его, в отеле *Рафаэль* или в окопах Кавказа, с пером или с ружьём? Сомнение — глухая уверенность в том, что есть в чём себя упрекнуть, — такое сомнение выжило лишь в Италии и в России.

Пред ужасом вполне реального внешнего русский пытается укрыться во внутреннем, призрачном. Но где проходит граница между внутренним и внешним? По совести (в обоих смыслах слова): совести мотивов и совести

стыда. Я свободен, когда именно совесть, а не наука определяет мой выбор, превосходя моё я (Сартр хочет сделать из свободы самосознание, а А.Бергсон видит её в способности крутиться вокруг себя — по эту сторону себя есть лишь рабство!).

Неудержимая сила притяжения России. Ничем её не постичь, всё, напротив, её гасит — Ф. Кафка — *Die unendliche Anziehungskraft Rußlands. Nichts erfaßt das, verlöscht vielmehr alles*. Что напоминает непостижимый ужас чёрной дыры с её фатальным притяжением и сидеральным молчанием. Безмерность скапливается в местах, где царит огромная тяжесть. Умеренность же связана с грациозными светилами, несущими свет.

Борьба — это равновесие; и именно эта скука подводит русского к зыбким краям бездны: бездны смирения, рабства или фатализма. *Русский фатализм проявился во мне в том, что я годами упорно держался невыносимых положений; это было лучше, чем чувствовать их изменяемыми, — чем восставать против них. Принимать себя как фатум* — Ницше — *Der russische Fatalismus trat darin bei mir hervor, dass ich unerträgliche Lagen, Jahre lang zäh festhielt, — es war besser, als sie veränderbar zu fühlen, — als sich gegen sie aufzulehnen. Sich selbst wie ein Fatum nehmen*.

На первый взгляд русский кажется раздираемым огромными сомнениями, а француз — утопающим в огромных уверенностях. Но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что русский барахтается в крошечных уверенностях, а француз продвигается крошечными сомнениями.

Вся Античность — в чётких и неизменных горизонтах. Русский предпочитает мираж, несущий следы его сомнения и его тревоги. Та — апокалиптическая, этот — бунтарский, и оба разрушительны. В Европе они

созидательны. *Изначальная апокалиптическая ненависть первых русских к античной культуре* — О. Шпенглер — *Jener urreussische Urhaß der Apokalypse gegen die antike Kultur.*

Что до ясности, то на Севере её предостаточно: *Верни первоначальную ясность моему гаснущему огню: сегодня с Севера приходит свет* — Вольтер — *À mon feu, qui s'éteint, rends sa clarté première : c'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière.* Единственная заслуга его света — заблудиться в захватывающем направлении. Но у вас больше нет времени повернуть туда голову. Lux ex oriente, pruritus lucendi и lumen naturale разделили одну и ту же участь.

Русский глаз истерзан жизненным сомнением, но его ухо чересчур пронцаемо для ребяческих уверенностей. Европейский глаз обескровлен механическими уверенностями, но его ухо снабжено тонкими фильтрами сомнения. Русский взгляд и европейский слух — славянофилы; русское око и европейское ухо — западники. Первые умнее.

Настоящие *Бесы* всегда были европейцами. Русский одержим навязчивой идеей реальности, которая смела бы и лишила жизни его бред .

Чему мы хотим остаться верны? — длине волны безошибочного разума или зыбкой высоте души? Что мы можем принести в жертву? — тёплый хаос или холодный порядок? *Мы, французы, рисуем себя согласно бальзаковскому идеалу. Персонажи Достоевского, ничуть не заботясь о том, чтобы оставаться последовательными с собой, уступают всем противоречиям* — А. Жид — *Nous, Français, nous nous dessinons nous-mêmes selon un idéal balzacien. Les personnages de Dostoïevsky, sans aucun souci de demeurer conséquents avec eux-mêmes, cèdent à toutes les contradictions.*

Самодовольство — чума современного человека, тогда как русский симпатичен лишь потому, что *русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения* — Тургенев. И он это заслуживает, при этом заслуживая симпатии, тогда как в других местах, часто, восхищаются собой, не заслуживая ни любви, ни кнута.

Именно во власти безумной мечты русский чувствует, как утверждается его истинное я, и именно в трезвости повседневности он чувствует себя наиболее потерянным. Монтень это хорошо предвидел: *Ce sont toujours ténèbres cimmériennes. Nous veillons dormants, et veillants dormons* — *Опять Киммерийский мрак — бдение во сне и сон во бдении.*

Разум редко проникает в русские порывы, переполненные ужасом или восторгом. Но серьёзность посвящают лишь предметам разума. *В России нет ничего серьёзного, кроме самой России* — Тютчев. О всех странах догадываешься, что готовит божественный замысел; но русский материальный опыт ничему нас не учит; загадка его существования — единственная, что приковывает наш взгляд.

Как и повсюду в Европе, в России была культура света и культура теней: первая открыта Пушкиным, вторая — Достоевским. Немного наследник обоих, я ценю как свет одного, так и тени другого, оба отлитые в цивилизующем слове. Западные пасквильеры глупо противопоставляют ангелизм первого варварству второго, тогда как они неразделимы.

Величайшая оригинальность русской культуры — в разделении между средствами и целями, техникой и эмоцией, видимым и читаемым. Неочевидность в первых, человек как точка аккомодации вторых. Достоевский,

кажется, запутывается в политике и уличных происшествиях, тогда как он играет на струне *homo credens*. Чайковский ведёт нас к очевидному состоянию души, к очевидному месту, тогда как эмоция вспыхивает в совсем другом месте. Толстой рассуждает об истории или справедливости, тогда как его истинная речь метит лишь в человека одинокого. Чехов выкладывает банальности, среди которых внезапно рождается непреодолимая эмоция.

Вещей, которые в русском вызывают изумление или отторжение, больше чем фактов или выводов. Изучение сложности делает его лишь ещё более замороженным удивительной простотой того, что велико или что действительно нуждается в свободе: *Свобода менее необходима в великих делах, чем в малых* — А. Токвиль — *La liberté est moins nécessaire dans les grandes choses que dans les moindres*. Он дорожит детством взгляда, он низко ценит зрелость ног.

Русские тем более склонны различать две реальности — историческую и музыкальную, — что первая у них наполнена гулом, хаотическим и устрашающим. Оттого самые чуткие из русских, Пушкин и Чехов, — только музыка: первый — на оптимистической ноте, второй — на пессимистической.

Два способа двигаться вперёд к цивилизации: убеждение (Азия) или примирение (Европа). Россия, помещая себя между ними — в примыкании, — осуждает себя на анемию. *В русской душе то, что божественно, — это смирение* — Дж. Конрад — *what's divine in the Russian soul — that's resignation*.

Русская душа не имеет азиатской закалки, ни её шаги — европейской осторожности. Первая опьяняется невинными возлияниями; вторые запутываются без указателей, воздвигнутых немошной волей.

Отрицательный персонаж для англосакса — невротик, для француза —

глупец, для немца — филистер, для русского — прозрачный человек.

Русские видят вещь, как им того хочется, на поводу их капризных желаний. К области идей они хотят прилагать тот же деспотизм, ту же непоследовательность, во имя неотъемлемого права разрисовывать химеры. Ни цинизм, ни идеализм, ни романтизм, но каприз, произвол, непредсказуемость. *Англичане видят вещи, как они есть; французы — как они должны быть; немцы — как они могли бы быть — Валери — Les Anglais voient les choses comme elles sont ; les Français comme elles devraient être ; les Allemands, comme elles pourraient être.*

Азиат отрывается от видимого, не зная, как привязаться к невидимому; европеец привязывается к видимому, не зная, как оторваться от невидимого; русский привязывается к невидимому, не зная, как оторваться от видимого.

Именно в Петербурге я стал нигилистом и поклонником солнца, и именно на Юге я предался играм теней и приятию мира. Ницше был бы на три четверти согласен с этой духовной географией: *В Петербурге я был бы нигилистом; здесь я верю в солнце — In Petersburg wäre ich Nihilist. Hier glaube ich an die Sonne.*

Русский одержим манией лёгких, грандиозных и дешёвых отрицаний. Почти вся русская культура нигилистична по природе; Пушкин был единственным ироничным, лёгким и грациозным говорящим-да. *В России воля вся в ожидании, неизвестно, будет ли она волей отрицания или утверждения — Ницше — In Russland wartet der Wille, ungewiß, ob als Wille der Verneinung oder der Bejahung — Пушкин* остался без наследника, ответ, увы, очевиден.

Американец хочет искать дно решения, немец — дно проблемы, русский

— дно тайны. Француз довольствуется — и прав — тем, что находит красивейшую форму. *Русские не знают радости формы* — Бердяев.

Познать вещь или прикоснуться к её тайне? *Немец кружит вокруг вещи, француз ловит луч, который она ему бросает, и продолжает свой путь* — Г. Клейст — *Der Deutsche geht um das Ding herum, der Franzose fängt den Lichtstrahl auf, den es ihm zuwirft, und geht weiter*. Русский пинком отсылает её в геенну внешнюю или, в порыве сердца, требует от неё вечного сияния.

Один и тот же потенциал бреда приписывается каждой нации. Германия посвящает его поэзии, Франция — политике, США — религии. Русский бред содержит лишь... бред, псевдо-поэтический, псевдо-политический, псевдо-религиозный. В любом случае, *величайшие блага, которые нам достаются, — те, что приходят к нам посредством бреда* — Сократ.

Русские не созданы ни для свободы, ни для тирании. Они анархонигилисты: не верить в то, что есть, верить, фанатически, в невероятное: *Нигилизм по петербургскому образцу: верить в неверие, вплоть до мученичества* — Ницше — *Nihilismus nach Petersburger Muster, Glauben an den Unglauben, bis zum Martyrium*.

Всякая поверхностность хочет спасти лицо, цепляясь за крайности. Русская душа притягивается к началам и концам и оставляет европейский ум в середине, если не сказать в посредственности. Поэма Начала, Поэма Конца — таковы названия двух видений, поэтических и эсхатологических, типично русских, где воспеваются ласка и огонь, Рождение и Исчезновение. Поскольку свобода — в первом и, может быть, в предпоследнем из шагов, а рабство — в их нанизывании, можно не стыдиться блуждать с первым и не считаться со вторым. Но не умея хорошо считать, рискуешь не заметить многих нулей,

скрытых за цифрой 1, и увидеть слишком много их за всяким знаком бесконечности.

Европейские рассудочники привыкли видеть в литературе вполне реальных персонажей, откуда их аллергия на русских чудаковатых призраков, мучимых бессилием. *Как он [Достоевский] может писать столь невероятно плохо и трогать столь глубоко!* — Э. Хемингуэй — *How can a man [Dostoyevsky] write so unbelievably badly, and make you feel so deeply!* — в этом видна разница между жалким журналистом и гениальным журналистом. Хорошо писать — значит хорошо трогать.

Точка зрения — конечный пункт блуждания глаз; взгляд — отправная точка порыва к звезде. *В США обмениваются аргументами, в Германии — только точками зрения* — П. Слотердайк — *In den USA werden Argumente ausgetauscht, in Deutschland nur Standpunkte* — оба метят в вещи; в России обмениваются лишь взглядами на привидения — ангелов или чудовищ.

Я всем интересуюсь — говорит немецкий философ; мне на всё наплевать — возражает ему французский философ. Оба не испытывают недостатка ни в целях, ни в средствах, им недостаёт хороших самоограничений. Антифилософская позиция — это чувство твёрдой земли в наших моделях мира. Отпустить эту зацепку — первый намёк на пробуждение истинного мышления. Но ум должен сначала овладеть тем, что душа моя ему вверяет. Философский ум — это серьёзный мозг, уступающий место иронической душе. Но русский одержим голосом угрызений, который он приписывает душе.

Открытое по-немецки (*das Offene*) означало некогда (например, у Гёльдерлина) — свободную природу, горную высоту. С **Рильке** слово обрело мистический смысл зова источников. **Хайдеггер**, ища бескрайних границ,

придал ему топологический оттенок; наконец, П. Целан: *Открытое — это область без границ, где человек освобождается от себя — Das Offene ist der grenzenlose Bereich menschlicher Selbstbefreiung* — смешивает то, у чего нет границ (бесконечное), с тем, что не включает в себя своих собственных границ (открытое математическое или лирическое, которое удержали французские комментаторы). У Хайдеггера смешение с глаголом открывать делает из Открытого своего рода алетейю — высвечивания того, что было бы сокрыто. Впрочем, по-русски от-крытый соответствует той же апофатической этимологии — более не покрытый.

Не обладая ни одним строгим понятием, академическая философия, как и всякая другая, не может сформулировать никакого мировоззрения; оно произрастает из наивного мышления и созерцания того, что космогония, биология или поэзия находят в материи минеральной или животной. Но философия может возвысить взгляд на мир, что практикуют немцы и русские со своими *Anschauung/воззрение* — взглядом.

Для русского будущее может быть лишь лучезарным, прошлое — лишь славным, но настоящее всегда жалко.

Русский не может познать ни самого себя, ни своих пределов; он может лишь верить в божественное я, неведомое я, и можно испытать порыв к его недостижимым пределам; в обоих случаях теряется мир души, основанный на знании, и ты живёшь своим *cor inquietum* (Св. Августин).

Бесконечность теологов мне недоступна. Бесконечность математиков, относительно природы божественного, куда более очевидна: она ни в природе, ни в сознании. Что бы я в неё ни вливал, она остаётся неизменной; она пожирает всякое множество, которое пожелает влиться в неё. Стремиться к ней

значит рано или поздно повернуться спиной ко всякой конечной вехе.

В живом — неисследимое чудо отношения между функцией и органом (чувства, среди прочего), где никакая разумная эволюция ничего не объясняет, где причина и следствие переплетаются неразрывно. Нет органа без функции. Но русскому известны функции без активного органа — Благо, например, с сердцем как органом пассивным. Функции с двумя органами, активным и пассивным, — как прекрасное, то, что мыслят, и то, что воспринимают. Божественный алгоритм там непостижим.

Искусство принимает вызов уверенностей, которые баюкают моё детство, мою родину, мои опыты. *Искусство и изгнание сражаются с судьбой* — Гюго — *L'art et l'exil combattent le sort*. Надо изгнать себя, хотя бы в искусство, чтобы грезить светом запредельных горизонтов и видеть собственные тени лишь на своих пределах. Закрытое укоренение — предательский розыгрыш; открытое вырывание с корнем — плодотворный вызов.

Что приносит русскому ясность? — общие истины, личную скуку, нелепость всякой мечты. *Пугающая неуверенность этих русских душ, которые наслаждаются запутанными ситуациями* — Р. Роллан — *L'insécurité effrayante de ces âmes russes, qui se plaisent aux situations embrouillées*. Ясность, которую устанавливает алгоритм ума, в конце концов делает неслышным всякий ритм души. Человеческие собрания будущего будут напоминать наши машинные залы, как недавно они напоминали хлева.

Как я благодарен безмятежности европейского универсального света, позволившего мне бросить на эти страницы столько русских теней, мерцающих и одиноких. *Одиночество: океан теней покрывает эту Сибирь* — А. Сьюарес — *La solitude : un océan d'ombres couvre cette Sibérie*.

Русская душа, как и русская литература: климат печали, пейзаж без дорог — осуждённые на тени без ликований и на уходы без обещаний.

Вся Европа думает лишь о путях и финалах; лишь Россия живёт одними началами. Г. Хессе определяет русское умонастроение как *путь, требующий мысли о тайне, возврата к бесформенному, к бессознательному, ко всем началам — den Weg, der das magische Denken fordert. Rückkehr ins Ungeordnete. Rückweg ins Unbewußte. Rückkehr zu allen Anfängen.*

Глубокая мысль ценна своим светом, а глубокое желание — своим жаром. Но когда хотят пребывать в высоте, а не в глубине, ценности переворачиваются. Так можно было бы понять Рильке: *Россия — родина моих тишайших желаний и моих тёмнейших мыслей — Russland ist die Heimat meiner leisesten Wünsche und dunkelsten Gedanken.*

Русские тени столь плотны и гнетущи, что малейшая искра свободной мысли ощущается там как свет.

Русский нигилизм — банальное отрицание: *Мир, который должен быть, не существует; мир, который есть, не должен быть — В. Шубарт — Die Welt, die sein sollte, ist nicht, und die Welt, die ist, sollte nicht sein.*

Естественная среда русского — среда словесная, а не понятийная. Слова — порождённые состояниями души, нет нужды доводить их до конца; понятия — концы рассуждения, нет нужды взывать к их источникам. Русская эсхатология обращена к началам а не к заключениям. В русской литературе *фразы часто оставлены в подвешенном состоянии из-за сомнения в том, как их лучше закончить — В. Вулф — sentences often remain halfway in doubt of how best to*

finish them.

Русские воображают, что постоянная внешняя тьма, в которую они погружены, касается всего человечества. Утомлённый всепоглощающим светом, европейский интеллеktуал изобретает внутреннюю тьму. *Гуманистический зов русской литературы выражает требование искупления в наших современных сумерках — Дж. Штейнер — The urgent humanity in Russian literature constitutes what claim there is to redemption in the modern dark ages.*

О её Роли

Кто не мечтает о своём могуществе или о героических, или художественных свершениях? Но оглядя все эти достоинства, я понимаю: ничто не сравнится с владением словом, перед которым бледнеют знания и достижения. Созидать истину, обогащать язык, — увлекательнее, чем выводить её, оставаясь в общем языке.

Мои робкие и неловкие попытки творить добро среди людей не многого стоят по сравнению с голосом Добра, который раздаётся в моём сердце, даже в пустынях и камерах.

Русский художественный гений был почти исключительно европейским — зодчие, композиторы, романисты, поэты.

Но русская политическая мощь проявляла себя в доблести её вожаков, казаков-первопроходцев, мужиков-патриотов — явления скорее азиатского толка. Сегодня эту мощь несут уголовники, без малейшей сентиментальности, без какого-либо интеллектуального понимания собственной страны, видимой ими как дойная корова.

В невнятном слове

В русском слове — фразеологическая свобода латыни, эластичность звучания итальянского, морфологическая непредсказуемость немецкого. Оно хорошо передаёт состояния души, но запутывается в абстракциях. Антитеза французскому. Мой опыт французского письма — это противоестественная попытка передать состояние души самим, целиком одушевлённым, словом. Замысел непомерный, но единственный, стоявший перед моей вызывающей речью.

Мои слова несут стигматы своего первого креста, водружённого в России, во времена моей юности. Тщетно я врачевал бы новые, уже французские, ссадины — недостаточность органов добавляет к желчи несовместимых с нею чернил. Говорят, что слово — тогда французское, когда оно ясное; в то время когда слово обретает русскость, лишь отрываясь от своих зримых прообразов.

Размышление о языковой необратимости наших действий: *défaire*, *to undo*, *abmachen*, переделать — сломать, отменить, отвергнуть, начать заново — воля, логика, динамизм, фатализм.

Влюбиться — значит больше не следовать своим глазам и быть унесённым собственным взглядом. Любовь с первого взгляда, как и *Liebe auf den ersten Blick*, по-французски звучит как *coup de foudre* — удар молнией.

Превосходная иллюстрация места ума или чувства в России или на Западе — эта сентенция шекспирова Клавдия: *Слово не восходит на небеса, если его не несёт мысль — Words without thoughts, never to heaven go*, переведённая (Пастернаком) как: *Слов без чувств вверху не признают*.

Ни в одном другом языке не передаётся так хорошо состояние души, как в русском. Немецкий хорошо оснащён для поддержания поэтического дыхания, английский — для отвлечённой иронии, французский — для тонкой, ясной и необъяснимой гармонии.

Ты выбираешь глагол в этих фразах: я делаюсь свободным, я свободен, я становлюсь свободным, переделывая себя. Можно найти общий язык со всеми; не придирайтесь к прилагательному, быть требовательным к местоимению. По-русски, этимология слова *свобода* — *свой* — наводит на мысль, что быть свободным значит быть самим собой, — гибельная иллюзия!

Мастерство — не русское понятие. В русском уживаются заимствования: *мэтр* (в духе), *мастер* (в экономике), *мейстер* (в церемониях, в геральдике, в конной страже, в шахматах), *маэстро* (в музыке, в танце).

Странно обратимые родословные между простолюдием и верой: от *раганус*, *крестьянин*, произошёл язычник, но от христианина вышел *крестьянин*, землепашец! Чтобы почтить Крест, *деревня* восходит к *Древу*.

Столько проявлений русскости объясняется капризом вспомогательных глаголов. Атрофия почти несуществующего *быть*, скрипучие или уклончивые согласования *иметь* с подлежащими и

дополнениями, радикальные преобразования *делать*, теряющего всякую связь с мозгами и мускулами, благодаря безответственным приставкам.

Пример систематического непонимания. Русские дали Европе три слова — *интеллигенция*, *нигилист*, *структуралист*. Первое в конце концов отражает место абстракций в речи, второе — природа отказа от порядка, третье — место порядка в хаосе. И подумать только, что для русских первое обозначало отзывчивость к страданию другого, второе — предпочтение аскетического внутреннего порядка эстетическому внешнему беспорядку, третье — путь ограничений в пространстве, следующий за голосом целей — во времени!

Фонетические корни нигилизма: *Генрих Гейне* или *Ницше*, произносимые *Un Rien* и *Nichtssche* (*Nichts* — ничто), Нечаев, прототип у [Достоевского](#), — от *ничего*. То же самое в фонетических играх А.Кожева с *ничто* и *нечто*, чтобы посмеяться над добрым Богом, — та же тема, довольно посредственная, у Лейбница, Гегеля и Сартра.

Прелестная иллюстрация разницы между французской славой и русским смирением: *простые* числа называются по-французски *первыми*. (*premiers*).

Психологические недостатки в национальных литературах, по-видимому, напрямую связаны с фонетикой языков: русский декламирует — а слышишь, даже у лучших, столько воплей и стонов; французский истекает — и часто окунаешься в его медоточивость и слащавость.

Счастье, *свобода*, *любовь* — по-французски эти слова заставляют думать о тропическом пляже; по-немецки — о метафизическом архипелаге;

по-русски — о необитаемом острове.

Великий человек выделяется по-немецки своими отступлениями, по-английски — своей двусмысленностью, по-французски — своей ясностью, по-русски — своим эмоциональным зарядом. Для немца слово — ступень, для англичанина — кирпич, для француза — декоративная деталь, для русского — вздох, крик, порыв.

По-французски (*la pensée*) и по-русски *мысль* — женского рода, она ждёт *слова*, которое её проникнет. По-немецки (*der Gedanke*) и по-итальянски (*il pensiero*) она омужествляется, чтобы оплодотворить слово — женственное (*la parola*) или среднего рода (*das Wort*). В любом случае эротическое, гетеросексуальное отношение между страстью и влечением, между жертвенным истоком и верной рекой, между творением и его музой везде очевидно — идёт ли речь о литературе, о благородстве или о плотских наслаждениях.

Ещё одно слово-матрёшка, мешающее французу иметь более отвлечённые отношения с моралью, — зло; по-французски это слово обозначает также *боль*, смысл, которого нет ни у *evil*, ни у *Übel*, ни у *зло*.

Лингвистический поворот прошлого века объясняется буквальным прочтением акта восприятия в европейских языках. По-немецки *wahrnehmen*, воспринимать или принимать за истинное, толкает к феноменологии; по-французски (через ложное сближение с *reçer* — *perception*) — к проникновению; по-русски (вос-приятие — брать сверху) — к набиранию высоты.

Познавательная функция языка включает и экспрессивную, и

коммуникативную (В. Гумбольдт): от умолчания (отсутствия субъекта) можно перейти к монологу или диалогу, вводя *я* или *ты*, метафору или ограничения. Задача особенно лёгкая по-русски, где *ego* совпадает с *ego*.

Перед своими владыками француз, этимологически, должен был бы простираться (*su-jet*), немец — приноравливаться (*Unter-tan*), русский — отдаваться (под-данный). В действительности француз приноравливается, немец отдаётся, а русский простирается.

Когда я вижу, что *ad-miration* происходит от взгляда, *Be-geist-erung* — от духа, а вос-хищение — от высоты, я понимаю значительную долю национальных характеров.

Patrie — где чувствуют себя дома наши отцы; *Heimat* — где мы чувствуем себя дома; родина — где дома моя родительница. Воздух, плоть, земля.

Опыт (*ex-périence*) по-французски идёт от *испытание* (*é-preuve*); по-немецки — от *путешествие* (*Erfahrung* — *Fahrt*); по-русски — от *пытка*. Ограничения, движение, страдание как три возможных содержания опыта. Художник, хроникёр, мученик.

Сердце французское или немецкое странно агрессивно: оно бьёт (*bat*) или стучит (*klopfen*); русское сердце бьётся с самим собой.

Встреча с Лукавым драматичнее для русского, чем для немца или француза: *tentation* или *Versuchung* — лишь *испытания*, тогда как искушение — уже *укус*, а соблазн — даже *падение*. Вкус и ласка, источники наших страстей, противопоставлены разуму, источнику наших

мыслей.

Wirklichkeit, действительность происходят от глагола *действовать*, *réalité* — от существительного *вещь*. Оттого француз предпочитает действовать в эфемерном, тогда как немец и русский страстно увлекаются вещами воображаемыми.

Чтобы предаться лени, французу нужна *пустота* (*vacances*), немцу — *разрешение* (*Ur-laub*); русскому — достаточно следовать своему естественному *отпуску* (от-пуск).

Вежливость во Франции — дело столяров (*polir*), в Германии — царедворцев (*Höflichkeit* — *Hof*), в России — учёных (вежливость — ведать). Что объясняет соответствующие уровни вежливости в этих странах.

Простецкая вера, презираемая верой отглаженной, третируется как надменная (*super-stition*), неверная (*Aber-glaube*), тщетная (*сue-верие*). Из этого странного букета могла бы родиться аристократия!

Destin вызывает в памяти лишь прибытие (*destination*), *Schicksal* — лишь отправление (*schicken* — посылать), судьба — лишь путь (скамья подсудимых в суде — суд). Жалкое понятие, напыщенная радость пустых, деловитых шагателей по проторённым тропам, провозглашаемых предопределёнными. Мудрец — сам путь.

Присутствие взгляда обязано органам размножения и размышления больше, чем органам зрения. Оттого *conception du monde* заметнее, чем *Weltansicht* (результат), *Weltanschauung* (процесс), мировоззрение (оба).

Курьёзы происхождения слов: *désespoir* — исчерпать надежду; *Verzweiflung* — дойти до конца сомнения; отчаяние — отвергнуть всякую надежду. *Décéption* — отдалить от смысла, *Enttäuschung* — избавиться от иллюзии, разочарование — перестать быть очарованным. Последняя триада красноречива: логика, мечта, страсть берут на себя то же самое движение.

Как видят то, что актуально: по-французски — сидя (*présence*), по-немецки — согнувшись (*Gegenwart*), по-русски — стоя (на-стоящее).

Никакого французского эквивалента для *völkisch* или народность; расовый, народнический, национальный — три ложных следа, ведущих к гормональному, социальному или племенному вместо погружения в животное.

Erlebnis, то, что имеет жизнь своим источником; переживание, содержание жизненного пути; *le vécu*, то, что из него следует, — как они могут ладить в логике, если психическое их так разделяет?

Probable — то, что можно доказать, *wahrscheinlich* — блистающее одной видимостью (*Schein*), вероятный вверяется вере — вот вам основы их (не)уверенности!

Восприятие нашей зависимости от других многое говорит о нашей свободе; зависишь *от* (*ab-hängen*), *на* (*to depend on*) или *после* (за-висеть) вещи; отсюда отношения со свободой: абстрактные для немца, фамильярные для американца, рабские для русского.

Concept должно быть порождено, Begriff — схвачено, понятие — понято; отправление, путь, прибытие; оттого француз так творчески продуктивен, немец — так твёрд, а русский — так ошарашен.

Если видеть в жизни игру, тогда счастье в большинстве языков сводилось бы к случаю; лишь русский становится на сторону олимпийского девиза: счастье (с-частье) — в участии.

Чтобы понять, почему в обращении с истиной немец так мелочно тщателен, русский — так бесстыден, а француз — так осмотрителен, достаточно заметить, что Wahrheit близка к сохранению (bewahren), правда — к праву, истина — к бытию (есть), *verum* (разделительное *но*) — к оговорке.

Что я рассчитываю найти на месте моего последнего пребывания, на кладбище? — сон (*cimetière* — *koiman* — спать), покой (*Friedhof* — *Frieden* — мир), яму (*graveyard* — *grave* — рыть), свалку (кладбище — класть — класть) — русские самые большие реалисты.

Doute (сомнение), как и *Zweifel*, происходит от страха перед числом 2 (что хорошо чувствуется в *redouter*); нирвана (избавиться от двух в пользу Единого) следует той же малодушности; лишь русское сомнение (совместное мнение) примиряет я с другим.

La grâce (благодать) приносит красоту (Хариты), честь (*die Gnade*) или благость.

L'apparence (видимость) призрачна по-французски, светоносна по-немецки (*der Schein*, от *scheinen* — светить), *очевидна* по-русски; оттого

французский скептик тревожен, немецкий — восторжен, русский — уверен.

Этимологически, в индоевропейских языках *быть* означало бы жить или пребывать (см. по-русски: быть — быт и пребывать — повседневная жизнь и пребывать, а также по-немецки — *sein* — *dasein* — охватывающее оба). Этимология, разделяемая, к величайшему скандалу философов, с *иметь*, происходящим от *обитать* — привычка; неудивительно, что их самый непосредственный антагонист — *становиться* — воскресать и исчезать. Как называется хайдеггеровское забвение бытия (*Seinsvergessenheit*) по-русски? — *забытьё* — за пределами бытия!

По-немецки и по-русски интерпретировать (*deuten*, толковать) — операция первоначальная, без всякого отклонения приставками или предпосылками; *représenter* (представлять) отсылает к мысленному мимезису, тогда как *darstellen/vorstellen* — выставление перед душой или перед разумом (поэтическим образом или философским понятием), а представлять — перед глазами или руками. Ум проявляется чаще в задачах представления, а не интерпретации, — неудивительно, что у француза больше ума, чем у других.

От конкретного к абстрактному, от активного к пассивному, от необходимого к невозможному: *consolation* обещает утешение (*solacium*), *Trost* — доверие (*trauen*), утешение — тишину.

Par-donner (*ver-geben*, *for-give*), почему это властное *давать*? По-русски ещё хуже: *простить* означает прямо-таки вернуть к свободе, вернуть к *простоте*. По-латыни *ignosco* сводилось бы к простому закрыванию глаз, что было бы самым справедливым и самым благородным.

Ранг богатства: *riche* имело бы то же латино-германское происхождение, что и *roi*, как *reich*, совпадающее с *das Reich* — империя, но русский идёт ещё дальше, ибо *богатый* родственно Богу. Бедность банальна по-французски (по-видимому — от *raucus parere* — произвести лишь немного), меланхолична по-немецки: *arm*, что означало одинокий или жалкий, и откровенно катастрофична по-русски: бедный, от беда — бедствие.

В супружеских делах (не)верность следовало бы доверить суду одной лишь Афродиты, тогда как французы отправляют её в Административный суд (*tromper*), а русские — прямо в Военный трибунал (изменять — предавать). Немцы, менее мелодраматичные, зачисляют её в атлетические упражнения (*Seitenprung* — прыжок в сторону — в непереходном смысле...).

Чего можно ожидать от вторжения, в самую середину Парижа, русского ада? — *Par-ad-is*: *Добавьте две буквы к Парижу: это рай* — Ж. Ренар — *Ajoutez deux lettres à Paris : c'est le paradis*. Париж — праздник, который не покидает меня (a moveable feast — Э. Хемингуэй — мерзкий рассказ, очаровавший мою юность).

По-немецки и по-русски избыток морфологических и ритмических средств делает слишком лёгкой иллюзию глубоких мыслей или обширного лиризма. По-французски стилистические ограничения не допускают до Парнаса непривычных к высокогорным тропам. Элиту узнают по месту, которое она отводит ограничениям. *Ницше* и *Пушкин* — счастливые примеры применения французских ограничений к выразительным средствам их родных языков.

Хайдеггер был бы рад писать по-русски, где незначительность глагола *быть* вознаграждается ошеломляющими метаморфозами через вторжение приставок: за-быть, да-о-быть, от-быть, пре-быть, про-быть, при-быть, у-быть. Репрезентативная онтология или интерпретативная аналогия высмеяны языковой расточительностью.

Оттенки в хорошем стиле — суть: тональность, мелодия, сила. Но свет гармонии и оркестровки должен пробиваться. Это всё, что я требую от своих французских гамм. *Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову неидёт, а ежели хочешь блеснуть, тогда другое дело — Толстой.*

Француз — единственный, кто осмеливается не доверять идеям и доверяться слову. *Француз — человек и мастер слова. Его мысль имеет источником язык — В. Шубарт — Der Franzose ist ein Mensch und Meister des Wortes. Er denkt von der Sprache her.* Все пытаются возвысить эмоцию: француз — словом — орудием — приговором, немец — мечтой — целью — мотивами, русский — жизнью — ограничением — раскаянием. Первый мотив, как и последнее слово, заслуживают памяти особенно в приговоре без обжалования, в заслушанных делах.

Всякая мысль — диалог, но среди всех диалогов самый полезный для правильности и обоснованности мысли — диалог с другими языками. Греческий помог немцам возделывать абстрактное; латынь научила средневековых лаконизму; немецкий сделал более поэтичной мысль французов и русских. Американский сегодня благоприятствует горизонтальности, плоскости, прозе, которые суть смерть мысли.

Из бунта языка, из его непокорности происходят прекрасные

ограничения, которые в нашем естественном языке переживались бы как простые средства. *Мне пришлось поменять родной язык, безмерно богатый и послушный, на второсортный английский* — В. Набоков.

Самый красивый из языков? *Мой ум отвечает — английский, моё сердце — русский, моё ухо — французский* — В. Набоков — *La plus belle des langues ? Mon esprit répond — l'anglais, mon cœur — le russe, mon oreille — le français*. Смотря по тому, метите ли вы в выстрел, вздох или улыбку.

Fidélité (как faithfulness или русская верность) отсылает к вере, тогда как немецкая Treue — к истине (английское true). А от истины — прекрасное восхождение к дереву: true — tree (русское дерево).

Страх Божий — лишь сомнение в Боге (Он есть или Его нет), поскольку сомневаться (douter — два выбора) связано с redouter. Русские удивительно мудры, заставляя соседствовать *сомнение* и *мнение*, немцы — патетичны, выводя *отчаяние* (Verzweiflung) из *сомнения* (Zweifel), индийцы — оптимистичны, с *нирваной*, призывающей два твоих я (ведомое и неведомое) к соединению.

В dé-fin-ition уже касаешься конца; в о-предел-ении довольствуешься пределом. Что объясняло бы, почему русский дорожит порывом к недостижимым пределам больше, чем обладанием осязаемым концом.

L'émotion (excitation — возбуждение) отсылает нас к движению (земля), Aufregung — к высоте (воздух), волнение — к волне (вода). Однако огонь лучше всего передал бы их желанный смысл. *Да будет любовь волнующимся морем между берегами ваших душ* — Х. Джебран — *Let love be a moving sea between the shores of your souls*. Она могла бы быть и тем

ничто, чей жар поддерживался бы лаской взглядов, рук, слов.

Я пишу по-французски, ибо [Валери](#) понял бы мои намерения — тональные, интеллектуальные и музыкальные — лучше, чем Пастернак или [Рильке](#).

Я люблю манипулировать тем, что может предать меня в каждое мгновение. Оттого я люблю французский, мой друг-идиолект. Первый текст по-французски, который я прочёл целиком, назывался: Sur la détermination d'un système orthogonal complet dans un espace de Riemann symétrique clos. И вполне естественно, первый братский отклик, моя московская диссертация, свёлся к сферическим функциям на компактных пространствах.

Если моя речь так часто *кривовата*, то это, возможно, от того, что я тяжелоовато пытаюсь её *согнуть* (Монтень).

Вы, несомненно, поэт в своём языке — так говорили о французских стихах [Рильке](#) или [Цветаевой](#), но чтобы это понять и оценить, надо самому быть и поэтом, и полиглотом.

Жаль, что нельзя сказать ни по-русски, ни по-французски — душа ума, как по-английски — the soul of wit, ибо душа — лишь атрибут ума, который позволяет себя растрогать. В литературе ценят сжатость, но его богатство, как будто бы, в объёме. Стоит лишь заглянуть в библиотеки!

Ужасная ясность французского: Gelassenheit и Abgeschiedenheit (Мейстер Экхарт) — чистые метафоры, вызывающие к интуиции; délaissement, détachement (оставленность и отрешённость) — понятия

невыносимой точности, порождающие формулы. То же с Abbau (Хайдеггер) и деконструкцией. *Французский: время (l'heure) без отзвука-напоминания, немецкий — скорее напоминание, чем время (удар) — Цветаева — Französisch: Uhr ohne Nachklang, deutsch — mehr Nachklang als Uhr (Schlag).*

Не укоренившись во французском, я уже ждал от него цветов. В том, что позволила себе моя соотечественница, графиня де Сегюр, мне было отказано. Французское древо ответило мне молчанием своих ветвей; мне пришлось изобрести ему дыхание, чтобы зашумели мои листья. *В заимствованном языке слова существуют не в вас, а вне вас — Чоран — Dans une langue d'emprunt, les mots existent non en vous mais hors de vous.* Не слыша музыки в её сучках, созвучий верных слов, я должен был доверить своё лицо краскам её не разгаданных до конца слов, рвавшихся к кроне. Но я не завидую тем, кто, наоборот, может сказать: *Я лишь слово, а мне нужно лицо — Э. Жабес — Je ne suis que parole, il me faut un visage.* Я мечю в глубоководного octopus (осьминога), а выныривает мелководный osciput (затылок). Я должен смириться с тем, что меня узнают лишь извне, ибо *внутреннечеловеческое всегда открывается музыкой слова — Я. Бёме — das Innerliche arbeitet stets zur Offenbarung durch den Schall des Worts.*

Я не помышляю о присвоении французского, я в нём малозаметный гость, но его ночное противление возбуждает мои сны глубже, чем не успокаивает его дневное гостеприимство.

Хозяин по-русски означал первоначально злого духа. Двусмысленность слова hôte по-французски — одна из самых удачных: быть хозяином или непрошеным гостем, на выбор. По-видимому, xénos предоставлял такую же свободу.

Французский, увы, никогда не будет моим сообщником. Мы как благоразумные заговорщики, ничего не знающие друг о друге, так что всякое предательство под пыткой было бы лишь ложным показанием.

Струна по-русски заставляет думать о наших напряжённых фибрах или о скрипках. Лексическая бедность на службе воображения: *la corde* по-французски относится и к скрипке, и к луку, и к самоубийце. После каждого музицирования на ней я могу — на ней же! — развесить свои взмогшие крылья.

Ни один европейский язык не является столь бестелесным, как французский. Какая удача для друга призраков, избегающего соприкосновений с вещами! Только французское слово не ищет никакого эмпирического зеркала, чтобы дать себя прочесть!

По-французски, в излиянии как способе выражения мне отказано; я должен довольствоваться, оставаясь у источника. Честолюбцы украшают свой источник табличками тревожными или успокоительными, *Яд* или *Питьевая вода*, я обещаю лишь надёжную жажду у моего источника.

Я пользуюсь своим французским, как пользуюсь алгеброй; литературные Бурбаки заметят непонятности в определении моих операндов, но им придётся принять мои операторы, с более чётко определёнными свойствами, чем у их собственных.

Русскому наплевать на выбор точного слова или глубокого понятия, ему нужен восторженный тон. До какой степени француз позволяет вести себя слову, а не понятию, видно по нелепому примеру того философского коллоквиума, посвящённого *ангажированности* (от идеи — к делу) и

мудрости (ум в деле), на который приглашают генерала, чтобы говорить об *ангажированности* (контракт с Армией и контакт с противником), и педиатра, чтобы объяснить, почему младенец должен быть *мудрым* (хорошо ведущим себя).

По-французски ударение лишь синтагматическое, тогда как в других языках оно лексическое (*Betonung*, *stress*, ударение); учёная французская мелодия следует смыслу, а не слову (но вкус вещей уже в слове). Это как если бы твоя рука отказывалась нести ласки или ими наслаждаться, ибо твоя кожа никогда их не знала.

Бедная морфология и фонетика, не различающие лексические категории: ([rajt] по-английски, [rõ] по-французски, [vajs] по-немецки — глагол, существительное, прилагательное?), вынуждают к аномальному обращению к механическим уловкам — порядку слов, вспомогательным словам, правилам согласования. *Inlacrимables* — *те, о ком нельзя плакать*, — вибрирующее синтетическое движение, разложенное в безжизненную аналитическую последовательность.

Двусмысленность французского глагола *réfléchir* — отражение или размышление, представлять или интерпретировать — приводит к тому, что варварство рефлексии Дж.Б. Вико (*la barbaria della riflessione*) применимо как к его теме, так и к картезианской критике. По-русски думать восходит к гордости и презрению, что объясняет его плохую репутацию.

Забавное совпадение в истолковании слова *плутократия* по-русски, что прекрасно соответствует нынешней русской *клептократии*!

Normalement, justement, finalement, sincèrement, simplement,

franchement, effectivement, forcément — когда видишь уродливую мутацию, которую эти выродки привносят во всеобщее вырождение языка, разделяешь ненависть, которую [Чоран](#) питал к наречию.

Англосаксонская философия благодаря различению to be и being избежала загрязнения, которое свирепствует в греческом, немецком, французском из-за этого паразитического и слишком легко субстантивированного глагола быть (и который имеет лишь призрачное существование по-русски). Вообразите поток новых диссертаций, если бы Гамлет пробормотал: *быть или ничто?* Те, кто посвящает свои лучшие сомнения не концам, а началам, заставили бы свои слова стонать: *родиться или не родиться?*

Хороший стиль опирается больше на представление (где гнездятся метафоры и развёртывается ум), чем на язык (это первосырьё и первейшее ограничение). Оттого писать по-французски для меня — захватывающее упражнение: ни заклинания, ни молитвы, ни экзорцизмы не возникают в нём сами собой; я должен передавать вздохи на языке, которым надо наслаждаться.

Я читаю эту академическую речь очаровательной дамы Элен Каррер д'Анкосс (бессменного секретаря Академии, сменившая на этом посту М. Дрюона, другого моего двойного соотечественника), читаю речь пламенную, предназначенную спасти любой ценой согласование причастий, которое Нация недостаточно уважает. И в конце этого обвинения я натываюсь, ошеломлённый, на: *la langue française souffre de s'être vuE appliquer un postulat* — любой двоечник может сослаться на этот санкционирующий прецедент, чтобы оправдать свои грамматические ляпсусы.

Есть много мест, куда не может сунуться мой французский; я вынужден изобретать невольные гасконады. Я угадываю их дерзость, над которой должен потешаться чистый французский.

Неоправдываемые сближения: saint — sain, holy — whole, heilig — Heil, как если бы первой заботой божественного было сохранить неприкосновенным, сберечь целостность, сойти за холизм. Но несомненно, что до гилического глагола была создана холическая грамматика. Русский *святой* — просто-напросто в *цвету*, расцветший!

Я не вселяюсь под кровом французского языка, я его населяю призраками. Встреча с его собственными призраками способствовала пониманию моего неведомого я. В звёздные часы, я его приглашаю. Под этим кровом, это я — не собственник, не жилец, но подёнщик, которого прогонит первый утренний луч. Я не знаю кто определяет или расцветчивает архитектурный стиль крепостей или руин — язык или неведомое я? У туземцев они смешиваются: *Plus je me hante, moins je m'entends* — Монтень — *чем чаще я себя посещаю, тем хуже себя понимаю*.

Почему *ordre* по-французски означает и хорошее расположение и приказ? Столько приказов было отдано, чтобы создать лишь беспорядок у противника! И что понимает француз под *volonté* как *ordre* у Ницше? Порядок (приказ по-русски и того же происхождения, что *ordre*) имеет прекрасную этимологию — объединение!

Русский очарован немецкой философией и французской поэзией. Однако язык философии — французский, как язык поэзии — немецкий.

Французская логомахия побуждает заботиться о смысловой, музыкальной линии речи; немецкая логомахия благоприятствует вкусу к упорядоченному синтаксическому зданию. Скучная морфология французского вынуждает создавать понятия до слов; немецкая морфология приглашает возносить слова до понятий. Одолённые ограничения часто объясняют интеллектуальный успех; оттого лучшая французская философия поэтична (Паскаль или [Валери](#)), а лучшая немецкая поэзия философична (Гёльдерлин или [Рильке](#)).

Только что умер Гротендик. Контакт с ним был мне очень полезен: его пятнадцать тысяч страниц (столько же, сколько у деликатного Амиеля), нацарапанных в лихорадке идей, без заботы о слове, помогли мне воздвигнуть превосходные самоограничения: не доверять идеям, свести себя к лаконичному аскетизму, ласкать слово — спасибо, бедный Александр. Одно имя связывает меня с твоей памятью — имя Картана: в Москве статьи отца, (Эли, друга [Валери](#)), познакомили меня с французским. Проницательность сына (Анри) направила Александра на математическую стезю. Я, может быть, никогда не говорил бы о нём, если бы не несколько параллелей: детство на каторге или в концлагере; сироты отца, смерть наших матерей сыграли ту же роль в возбуждении наших перьев. И французский не был нашим РОДНЫМ языком!

Одна из глупых радостей французских интеллектуалов (и которой я иногда позволяю себя заразить) — это бесконечные механико-синтаксические палиндромы, как, например: *l'histoire n'est pas raisonnable* (что верно), *c'est la raison qui est historique* (что глупо). Какое дело, что *история* почти ничего не имеет общего с *исторический*, а *разум* с *разумный*.

Забыть цель или шаг — так русский видит цель-финиш или цель-предел; эти два понятия имеют по-французски лишь одно слово — *la fin*! Чего же удивляться, что француз так рассудочен, всовывая повсюду этого назойливого посредника — причинность? А если цель-предел была позади нас, до нашего первого шага? А если цель-финиш служила тому, чтобы оттачивать наш взгляд, а не наши стрелы?

Триумфальная уверенность, что хороший французский перевод моего опуса *hарах* усилит меланхолию моей песни поражений.

Фонетика языков лучше всего иллюстрируется анатомией: французский — нос, итальянский — рот, русский — нёбо, немецкий — диафрагма, английский — зубы, испанский — губы.

Только *Naturphilosophie* сохраняет ещё след происхождения слова *природа*. По-русски *при-рода* напоминает нам, что речь идёт о том, что сопровождает всякое *рождение*. Тогда как греческая *phusis* говорит уже о росте.

Рельеф французского выявляет понятия ещё до отношений, английский делает обратное, немецкий и русский окружают оба одной и той же неопределённостью. Поскольку число понятий намного превышает число отношений, французский лучше подходит для плодов ума, но в меньшей мере — для плодов души.

Род слов *душа* и *дух* одинаков во всех наших языках — наши дрожи и вознесения схожи. Но не наши падения, ибо *сердце* — женского рода по-английски и среднего по-немецки и по-русски.

По-гречески мистика Единого прививается самым естественным образом к поэтической ветви, к метафизике Бытия. Глагол *быть* (estin) происходит от числа один (тут нагло вмешивается неопределённый артикль, что приводит к канонической треснувшей меди: *То, что не есть сущее, не есть также сущее* — Лейбниц; немцы легко стали лакомками этого каламбура, ибо невинная замена букв делает из Eins — Sein. Имя гиперборейского Бога, *Один*, означает Единого). Сравните с мистикой числа пять благодаря его фонетическому соседству: penta — panta.

Невероятный параллелизм в удалении смысла трёх понятий, исходящих от одного корня, — удаление, идентичное в трёх языках: honneur, honorer, honnête — Ehre, ehren, ehrlich — честь, чувствовать, честный.

Человек ценен тем, чего он хочет, а творец — тем, что он может. Чем свободнее язык, тем соблазнительнее пользование этой свободой, чтобы изливаться, в ущерб чистому творению. Отсюда заслуга французского поэта, преодолевающего ужасные языковые ограничения, не существующие для его латинских или русских собратьев. И потому у последних так часто застаёшь человека, тогда как у первого имеешь дело лишь с поэтом.

В европейском слове касаешься вещей, рассматриваешь идеи, взвешиваешь поступки. Для русского: *Слово — передача голоса, отнюдь не мысли, умысла* — Цветаева — он умеет передать все три, и именно их равновесие вокруг слова доказывает мастерство и первенство автора.

Жалкий глагол *быть* загрязнил интеллектуальный спор вплоть до Священного Писания. Истинные священные глаголы, спасающие нас от

бесцветной истины, всегда светской — *страдать, мечтать, творить, мыслить*. *Глагол быть имел в древности священный смысл божественного Бытия, долженствующего порождать в людях ощущение истины* — В. Иванов.

Мягкость или шероховатость языка могут иметь чудовищные политические последствия. Возьмите русский, у которого есть и изобилие гласных и свобода латыни и богатейшая морфология, превосходящая итальянский. И возьмите немецкий, с его согласными, скребущими горло, его механическим синтаксисом и морфологией. Русская мягкость благоприятствует рабской покорности, немецкая твёрдость — фанатизму. *Немецкий язык несёт свою долю ответственности за ужасы нацизма* — Дж. Штейнер — *The German language was not innocent of the horrors of Nazism*.

Французский язык совершенен для того, чтобы поставить в центр *Как*, немецкий — чтобы очертить *Что*, русский — чтобы передать переживания *Кто*. *Первое качество русского состояло бы в чрезвычайной лёгкости, с которой выражаются на нём внутренние лирические чувствования и потрясающая страсть* — А. Герцен.

Необъяснимым образом, и, может быть, совершенно случайно, два главных предмета хорошей философии — утешение и язык — соответствуют двум самым выпуклым русским национальным чертам, затрагивающим больше мужика, чем аристократа или интеллектуала. Потребность в утешении пробивается в их призывах к жалости, к состраданию и особенно в видении Христа-Параклета, Утешителя, более чем Спасителя, как на Западе. Наконец, фонетическое, морфологическое, синтаксическое богатство русского снабжает этот язык феноменальной

свободой. Речь в романо-германских языках немедленно отсылает к нижележащим понятийным представлениям, тогда как русская речь переводит прежде всего состояния души, степень иронии или недоумения, интенсивность желаний или надежд. И это главная причина успеха русской литературы.

В Германии или в России легко сойти за поэта или философа благодаря языку: фонетика, морфология, словарь — великое разнообразие и богатство. По-французски невозможно обманывать: там абсолютно необходимо обладать поэтической чувствительностью, риторическим талантом, благородством ума. Ещё раз: ограничения делают там творение более тонким, а речь — более лаконичной. Французский — идеальный язык для афористического жанра.

По-немецки и по-русски слово печаль несёт поэтическую ауру; по-французски (*la tristesse*) оно имеет очень плохую репутацию, обозначая нечто скучное, тусклое, неуклюжее. Француз предпочёл бы быть горьким, чем печальным.

По-русски самые выразительные слова оставляют вокруг себя неопределённость и передают лишь порыв, а не чётко обозначенную цель. Многоточия, а не точки. Это хорошо для облекающей поэзии, но не для развивающей музыки, и не для афористического искусства (недвижность и сосредоточенность в начале). [В. Набоков](#) говорил о *музыкальной недоговорённости в русском*.

По-русски одно слово из десяти требует размышления о правильном правописании; по-немецки — три; по-английски — шесть; по-французски — девять.

Родной язык — последнее убежище одиночки. Для французского писателя, схваченного одиночеством, французский язык — сладостное и ласкающее утешение; для русского это утешение отмечено меланхолией: *Во дни сомнений, ты один мне опора, свободный русский язык* — Тургенев. Как для немца: *Немецкий язык был самым верным утешением моей жизни* — Г. Хецце — *Die deutsche Sprache ist der treueste Trost meines Lebens gewesen.*

По голой правде

Ни одна страна в мире так не бушует вокруг истины, и ни одна не была повержена таким числом лживых умолчаний, как Россия. Её беды связаны с широтой её словаря; её истина, правда, фигурирует в одной и той же словарной статье то с милосердием, то с гармонией, то со справедливостью. Разделение труда — лозунг успеха во всех человеческих предприятиях.

В России истину принимают, лишь если она прекрасна и, главное, справедлива. Сегодня ищут нечто соблазнительное и истинное в рыночной экономике, чтобы сопутствовать ей, с пылающей головой, вместо того чтобы помахать ей хорошим бумажником и хорошими инструментами подсчёта. Подпасть под обаяние бескорыстной истины — старая русская мечта.

Россия мне чужда своей ложью, рождённой в приторном болезненном сентиментализме. Запад мне чужд своими истинами, доступными машинам. Запад мне дорог своей непокорной, творческой ложью. Россия мне дорога своим смирением перед истиной совершенно нагой и одновременно стыдливой.

Как только вещь оказывается истинной, русский перестаёт за неё держаться и в неё верить и пускается на поиски новой лжи. Противоположность немцу, *человеку, который никогда не произносит лжи, не веря в неё сам* — Т. Адорно — *ein Mensch, der keine Lüge aussprechen kann, ohne sie selbst zu glauben.*

Увлечение красотой может подменить истину, но одержимость истиной — признак того, что человек глух к красоте. Рождающаяся истина прекрасна, фатальный закат красоты истинен. *Народ наш любит правду ради правды, а не ради красоты* — Достоевский.

Русские думают, что у вещей есть собственное лицо, следует лишь снять с них маску: *Основная черта нашего народного характера — нафос совлечения, совлечь всякую личину и всякое украшение с голой правды вещей* — В. Иванов. Другие поняли, что всякое лицо — лишь маска, и нужно лишь приискать ей сцену и выдумать подходящую роль. И стыдливость вещей лишь выигрывает от словесной драпировки. Нагая истина — посмешище, пугало или отталкивающее зрелище.

Ни в одной другой стране пропасть между истиной разума и истиной сердца не является столь непреодолимой, как в России. И поскольку в Европе Христос приносит скорее первую истину, чем вторую, можно было сказать: *С моим Искусством находить Истину мы пойдём евангелизировать татар* — Р. Луллий. Это отродье было бы внимательнее к твоему Искусству любить и даже к твоему Древу науки. Особенно если бы ты пришёл тремя веками раньше, когда евангельская Истина соблазнила их окончательно.

Для англосакса истинно то, что выгодно; для немца — то, что работает; для француза — то, что воспаряет; для русского — то, что (кто?) оправдывает лежащее положение.

Об отношениях с истиной: самый тяжкий недостаток для немца — не знать её, для русского — оправдывать её, для француза — не уметь её

изготавливать.

В Европе всё ложное, но полезное, запятнано писаными истинами. В России, наоборот, именно истина претерпевает эти увечья: *В России всякое знание запятнано ложью* — Дж. Конрад — *In Russia, all knowledge is tainted with falsehood*. Ваши бесцветные истины хорошо защищают серость мозгов, но опустошают палитру душ.

Евангелие вдохновляет великих русских романистов; Гражданский кодекс играет ту же роль у европейских романистов. В истинах первых чувствуются стигматы; из сомнений вторых выводится юрисдикция синедриона.

Пока невежество и сомнение, разнообразные и многообразные, опустошали русских, их истины часто расходились. С общеделимым знанием почти все истины стали сегодня в России общими и даже самоочевидными. И даже ложь, некогда личная или даже поэтическая, теперь прозаична и коллективна: Хоть бы ввали-то они по-своему — *Достоевский*.

Истины никогда не обитают в самом разуме; их дом — язык, построенный на почве представлений. Словесное очарование рождается из этой родословной глубины. Но в плоскости действительности эта дрожь может и должна обернуться ложью. *Наш разум, на основе в нём самом почерпнутых истин, создаёт из нашей Вселенной зачарованное царство лжи* — *Л. Шестов*.

Американизация бьёт наотмашь по безоружной России; там любят, как любят в Небраске, — это дело калорий или миметизма; дела сердца решаются, как дела разума. *Мы должны мыслить разум как относящийся к биологии, как пищеварение или фотосинтез* — Р. Сёрл — *We have to think the mind as biology bound, just like digestion or photosynthesis*. Чтобы понять природу желчи или

слезы, им нужно изучить процесс выделения горечей или поглощения солей, как для рождения Слова или исхождения Духа.

Высказывание — это птица, и установить его истинность — значит найти клетку с достаточно узкими промежутками, чтобы эта птица не могла из неё улететь. С более широким птицеловом следовало бы искать другую птицу и отпустить прежнюю на свободу лжи. Но в России, увы, случается, что истину путают с жизнью: *Правда не уйдёт, а жизнь-то заколотить можно* — Достоевский.

Истина, к которой питает отвращение русский, — приличная одежда, наброшенная на неприличное тело, практическое приспособление между умением делать и умением жить. Но создавать прекрасные одежды или воспевать красоту тела — дело искусства: *Правду, украшающую человека, создают художники* — Горький.

На Западе главный источник международных конфликтов видят в притязании одного лагеря на свою исключительную истину, отвергаемую его противниками. Для русских, довольно равнодушных к правдивости лозунгов и поступков, этот источник — в противопоставлении сакрального и светского (взаимозаменяемых для беспристрастного наблюдателя). То, что Россия провозглашена Святой, многое объясняет (Германия была бы лишь великой, а Франция — прекрасной).

Этимология слова *истина* очень помогает понять национальные менталитеты: грек выводит её из забвения (алетея), немец ставит её под охрану (Wache), англичанин вверяет её вере (faith), русский узнаёт её в справедливости (праведник). Только латиняне выводят её из логики.

В мировом музыкальном репертуаре *Патетическая* Чайковского — самая философская пьеса, ибо она воспроизводит путь творца: от прозрачности Блага непринуждённого к теням Красоты надменной, завершаясь во тьме Истины беспощадной.

В сфере русских интересов Благо щеголяет как самодержец, Красота ведёт себя как живописный пришелец, а Истина даже не замечается. *Истина — одно из немногих русских слов, которое ни с чем не рифмуется* — В. Набоков.

Только во французском находим это удобное различие между *langue* и *langage*, второе дополняет первое абстрактным представлением. *Langue* — статический объект лингвистических исследований, а *langage* — динамический инструмент поэта и философа. Поэт обитает на смутных границах между языком и представлением; он насилует привычные способы доступа к объектам или образы самих объектов, его взгляд создаёт головокружение в чутких глазах. Философ погружён в представление, соответствие которого реальности — его первейшая забота. Истина поэта — в головокружении, а философа — в реальности. И поскольку истина высказываний внутренне присуща языку, поэт ближе к истине.

Русский любит представление и не доверяет логике. *Логика представляется французам столь же необходимой, как хлеб и вода, но также и как пища заключённых, когда её вкушают в чистом и одиноком виде* — Ницше — *Logik erscheint den Franzosen als notwendig wie Brot und Wasser, aber auch gleich diesen als eine Art Gefangenekost, sobald sie rein und allein genossen werden sollen*. Если истина воздвигает стены, логика становится тюремщиком, а жизнь — тюрьмой.

Истина начнётся лишь в тот момент, когда писатель установит

отношение двух различных объектов, в мире искусства и в мире науки, и заключит их в метафору — М. Пруст — *La vérité ne commencera qu'au moment où l'écrivain posera le rapport des deux objets différents, dans le monde de l'art et dans celui de la science, et les enfermera dans une métaphore*. Как автор подобных глупостей может сходить за одного из величайших писателей! — загадка вкуса среднего француза... Сводить прекрасное к истинному — убожество или скука не-художников, но сводить истинное к прекрасному, не владея ни истиной, ни красотой, — признак неизлечимой глупости.

Истина, справедливость и согласие — одно и то же — Талмуд. Следовало бы объяснить это европейцам, которые вот уже 150 лет делятся на два лагеря: истины без справедливости и справедливости без истины. Довольно любопытно, что существует слово, означающее все три вещи сразу, — это русская правда (если только египетская маат и индийская дхарма не означают то же самое...). Противоестественные троицы, очевидно, не восходят к Отцам Церкви. Как справедливость и согласие людей могут сливаться с истиной, которая бесчеловечна? Возможно, как Святой Дух, который исходит, говорят, не только от горделивого побудителя Отца, но и от смиренного Сына.

Русский интеллектуал, без ясных идей, воплощает лишь свои мечты. Европейский интеллектуал мечтает о социальном движении, которое воплотило бы его идеи. И он думает, что служит истине. Идея интеллектуальна лишь тогда, когда она отказывается от своего воплощения и довольствуется пробуждением сознания. Инженер или бакалейщик, безусловно, лучше служат истине, чем интеллектуал. Интеллектуал — тот, кто чувствителен к высоте истин и к уловкам лжи: *Мы, запятнанные поэзией, мародёрствуем жалкой ложью на развалинах* — Шатобриан — *Nous, entachés de poésie, maraudons de chétifs mensonges sur des ruines* — как называется ложь правдивых развалин? — воздушный замок!

В русской эволюции Ж.Мишле видел *креcendo лжи, лицедейства, иллюзий — crescendo de mensonges, de faux-semblants, d'illusions*. Действительно, в конце этого экспоненциального восхождения находятся преступление, вероломство и... мечта.

Парадоксально, но в моей московской юности истина, поэтическая или сентиментальная, избрала местом пребывания два места культа — Рождественский и Новодевичий монастыри. Тогда как мечта зрела в библиотеках.

За добро само по себе

Одержимость проблемой блага, грандиозного и неосуществимого, делает русского неспособным сосредоточиться на искоренении мелких зол, от которых Европа избавилась давным-давно. Потоки слёз, которые адресуют несчастным, лишь усугубляют грязь, в которую погружаются ноги, отвыкшие от ходьбы.

Как называется страна, где смешивают и забывают справедливость и палача и соболезнают каторжанину и висельнику? Россия. Пусть Азия ищет свою нирвану в самозабвении, пусть Европа обретает свой мир, роясь в своей памяти, — у России больше нет ни памяти, ни забвения, этих механических способностей, — она перетолковывает то, что лишилось представления.

Благо и зло каменеют — от фанатизма или от заботы о ясности — в нормативной справедливости людей. Русский, чуждый фанатизму и враг ясности, остаётся в стороне от этой спасительной твёрдости.

Русский живёт с чувством, что зло, поражающее его, — зло периферийное и банальное, вне тех мест, где сосредоточен его истинный смысл. Сопrotивляться искушению сопротивляться!

Даже в современных сделках русский чередует воровство и дарение, как некогда — в своих жертвах или верностях. Ему нужно воровать, чтобы добиться своей силы, и дарить, чтобы успокоить свою совесть.

Все экономисты говорят: чем больше страсти удаляют от дел

человеческих, тем лучше обстоят дела с покупательной способностью и даже социальной справедливостью. И что если, в общем, душа исчезает из дебатов, это событие замечается и огорчает лишь ничтожную часть дряхлеющей элиты. *Россия: страсть обещает какую-то силу; наша болтовня не обещает никакой* — Витгенштейн — *Russland: die Leidenschaft verspricht etwas. Unser Gerede dagegen ist kraftlos*. Но ошибка была в том, что вообразили, будто это обещание можно сдержать, тогда как оно прекрасно лишь тогда, когда его поддерживают отвлечённо.

Самое человеческое из посланий, послание Чехова: сострадание и тоска охватывают вас, не задерживаясь на вопросе об интеллектуальной или социальной достоверности его растерянных и невероятных героев. Кто нас больше расчеловечивает? — социологи и философы, строгие и занудные. Чтобы понять Чехова, надо сказать себе, что, пиши он сегодня, его жалость, его печаль и его лиризм нашли бы столько же, если не больше, материала.

Жалость сопровождает жесты всех русских, даже русских палачей. *Сострадательный русский ум воздерживается от суждений* — В. Вулф — *The compassionate Russian mind is inconclusive*. Каторжанин и мужик утешаются жалостью, вор и пропойца от неё наглеют, судья и законодатель ею обескураживаются.

Русские постоянны в ярости побивания камнями своих пророков. С другой стороны, без камней — побиения, преткновения, камня краеугольного — нет пророка! У счастливых народов кандидаты в пророки, допущенные в меркантильные города, способствуют обращению в камни отверженных сердец.

Гоголь, Достоевский, Толстой обнаруживают в глубине себя

постыдные черты и, чтобы их исповедать или успокоить, изобретают рассказы, памфлеты или романы, более близкие к исповедям, чем к инквизициям, — ни сатирические, ни пифические, ни дидактические. Не в обществе, а в нас самих следует искать мёртвую душу, человека из подполья или живого мертвеца.

Русский не признаёт зла во зле. Европейец не видит блага в благе (невзирая на советы Вийона). В России свирепствуют добрые люди, не будучи воспитаны во зле. В Европе творят благо равнодушные, насмехающиеся над благом. *Человек, лишённый свободы зла, был бы автоматом добра* — Бердяев. Этот робот воплотит общественные добродетели, которые, по-видимому, вытекают из царства частных пороков.

Русские истекают кровью, гонясь за благом. Во имя самого блага и без отпечатка красоты. Европейцы культивируют красоту, без отпечатка блага.

Русский так спешит выкричать своё сердцебиение пред благом, что забывает заручиться содействием ритма красоты; француз так одержим голосом красоты, что забывает вставить в него паузы блага.

Недостатки русских бросаются в глаза — вопиющие, но поверхностные. Их достоинства скрыты и глубоки. У европейца — наоборот. Благо и зло равноценны и говорят на одном языке, — говорит он. У русского они даже не разговаривают друг с другом.

Человек добр, говорят русские, но в России выгодно быть мерзавцем, чтобы выжить. Человек зол, говорят в Европе, где выгодно быть добрым.

Я жил среди дикарей, которых никакая современность не совратила,

выводя из естественного состояния. Ужасные насилия и жестокости составляли их повседневность. Истинное едва ли фигурировало на их микроскопических горизонтах, прекрасное не озаряло их низких твердей, но благое было более в их сердцах, чем у университетских гуманистов. Руссо судил верно: состояние цивилизации, вступившей на путь истинного и прекрасного, удаляет нас от благого.

Однажды замечаешь, что всё, что в человеке способно к совершенствованию, лишь второстепенно. И что существенное — неисправимо, непоправимо и неизменно. Покидаешь, с сожалением, Толстого и присоединяешься, против собственной воли, к Достоевскому. Забываешь шумный бунт, чтобы жить музыкальным согласием.

Русский — индивидуалист, несущий знамя общего блага. В такого рода беге азиат страшится старта, европеец — разочарования на финише, русский — самого бега.

Для русского Апокалипсис — это начало, которого страшится его святая лень; а спасение — это Мессия, который замешкался бы возле него, из жажды, жалости или недосмотра. Величие начал потеряло весь свой ореол, и жалость вверена, как и повсюду, муниципальным службам.

У греков и русских прекрасное и благое сливаются столь же тесно, как у римлян и французов — прекрасное и истинное (компромиссом между ними была бы филокалия, союз всех трёх). Слово Достоевского: *Красотой спасётся мир* — поведёт первых к благодати, а вторых — к истине: *То, что здесь явилось нам как красота, вскоре предстанет перед нами как истина* — Шиллер — *Was wir als Schönheit hier empfunden wird bald als Wahrheit uns entgegengeh'n*. Это тем более поразительно, что единственная красота,

по [Достоевскому](#), — это Христос, тот самый, кто говорил, что он есть Истина!

Не нужно смешивать состояние и процесс — быть добрым или быть добрым для чего-то. Это недоразумение унаследовано, быть может, от Платона и его *agathon*: *Сущность платоновской идеи — делать пригодным для чего-то* — [Хайдеггер](#) — *Das Wesen der idea ist, tauglich zu machen*. Это объясняет утрату престижа блага на Западе; русский же, с этими двумя чётко разделёнными терминами (хороший и добрый), продолжает видеть в нём нечто священное.

Душа полна стрел и носителей — для моих вкусов, порывов, предрассудков; но у сердца лишь несколько неопределённых точек — свидетелей нематериального, непереводимого Блага. К высоте души и глубине сердца ум привносит горизонты идей и поступков. *Совесть — прямая линия, жизнь — вихрь* — Гюго — *La conscience est la ligne droite, la vie est le tourbillon*. В совести француз видит ум, немец — сердце, русский — душу. Все вихри сегодня улеглись в плоскости.

Русская философия — единственная, которая действительно христианская, ибо она переполнена тревогой, тоской и покаянием: глубина жалости и высота иронии встречаются в ней тепло, среди руин, там, где на Западе свирепствует холодная серьёзность дерзаний и построений.

Христианская мягкость погубила Рим, коммунистическая щедрость сразила Россию. *Москва, как и Рим, — это нечто грандиозное* — *Moskau sowohl wie Rom sind grandiose Sachen* — последняя искра мозга [Ницше](#) в тот самый день, когда безумие окончательно погасило его в Турине, при виде выпоротой лошади, — его, воспевшего добродетели кнута и

обличившего злодеяния жалости! Тот же образ, что его омрачил, озарил Раскольников. Отныне человечество будет требовать от своих подмастерьев-спасителей лишь процентную ставку или норму прибыли — спасение в господстве наживы.

Написанные в одну и ту же эпоху (и вновь открытые тоже в одну и ту же эпоху), Песнь о моём Сиде, Песнь о Роланде, Песнь о Нибелунгах и Слово о полку Игореве являют удивительные фактические, но прежде всего психологические сходства: герои купаются в своих поражениях; каролингская эпоха была, быть может, последним мгновением христианской Европы, гордо принимающей падение. С Божественной комедией начинается современная литература героев, триумфаторов Зла.

Нет величия там, где нет простоты, добра и правды — Толстой. Но там, где всё это есть, место столь пустынно, что всякое величие было бы лишь миражем. *Их доброта мешает великим русским быть художниками* — Рильке — *Ihre Güte hindert die großen Russen daran, Künstler zu sein.*

Русский не умеет делать Благо; но никто не может избежать делания Зла, действуя во имя Блага. Стало быть, это благое пожелание: *Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла* — В. Ключевский — увы, неосуществимо, или же оно означает, что доброго человека не существует.

Русский разум стремится объять самые обширные вещи, но его жалость рождается из одиночества того, что лишь рука, и даже не взгляд, сумела бы приласкать: *Жалость — в маленьком* — В. Розанов.

Все добродетельные люди, те, кто избавился от всякого насилия и

всякого пыла, видят в страстях источник зла или греха. Тогда как русский, тот, кто ещё не поглощён плоскостью, даст тебе добрый совет: *Беги не зла, а только угасанья; и грех, и страсть — цветенье, а не зло* — М. Волошин.

Ничего не разделяя с человеком, можно испытывать к нему жалость. Но Mitleid (или сострадание) предполагает эмпатическое участие, откуда его дурная репутация у надменного тевтонца и его слава в смиренных глазах мужика.

Вкус есть совесть прекрасного, как совесть есть вкус благого — Ж. де Местр — *Le goût est la conscience du beau, comme la conscience est le goût du bon*. Нелепица французского языка: одно и то же слово обозначает растительную совесть, успокоительную ясность, и плотскую совесть, умерщвляющее сомнение. Я не уверен, что французы понимают Рабле и Руссо: *Совесть! Непогрешимый судья добра и зла — Conscience ! Juge infaillible du bien et du mal* — это румянец на лбу или серость мозгов? Русский, который много грешит и редко бывает трезв, никогда их не путает. Умственная совесть состоит из образов реальности (смысл), представления (ум) и языка (выразительность), что делает нас практиками, философами или художниками. Любопытная деталь во французском: моральная совесть, избавленная от прилагательных, вновь становится просто совестью.

Свободный человек тем легче обличает иждивенческое настроение, что неоказание помощи человеку в беде не является очевидным преступлением ни для одного кодекса (задержать можно лишь на месте преступления). Жалость стала одним из самых постыдных чувств у развитого человека. У француза она вызывает презрение, у немца — раздражение, у англосакса — саркастическое равнодушие. У русского она всегда принимает драматический вид: пнуть собаку (А. Блок) или взяться

за плуг ([Толстой](#)).

Русские философы хорошо формулировали проблему жалости, но оставались глухи к проблеме языка. Единственная истинная философия — христианская и европейская, ибо она единственная умеет ставить в центр и жалость и язык.

Русский делает противоположное ницшеанскому подходу: он помещает интуитивное Благо по ту сторону творческой Красоты. Поэт не должен исключать Благо из своих горизонтов. Только Благо таится в глубине нашей пассивной совести, тогда как поэзия имеет целью — не покидать высоты своего опьянённого творчества. С высоты Красоты все земные страсти кажутся равноценными. Поэзия выше нравственности — [Пушкин](#).

Стремление к господству, которое русское Благо хочет осуществить над европейской Красотой, лучше всего передаётся в сравнении достоевского недочеловека с ницшеанским сверхчеловеком. Но нет ничего исключительного в знании или уме [Достоевского](#) или [Ницше](#); смешно сравнивать их по этим измерениям: *Он знал не меньше, чем знал Ницше, но он знал и то, чего Ницше не знал* — [Бердяев](#). Они велики лишь качеством звука и тона, мелодии и накала. [Достоевский](#) знает тревогу Блага (любовь, Христос, свобода), осуждённую оставаться в сердце (теле), и передаёт её в непрерывным удушье. [Ницше](#) знает божественность Красоты (душа, творение, ангелизм), чьё самодержавное благородство требует трагического подчинения других фибр, будь они даже божественными.

Достаточно не покидать истинное, чтобы оставаться в благом, — эта гибельная сократическая глупость лежит у истока самого ужасного Зла,

когда-либо поражавшего мир, когда в XX-м веке фанатики едино-истинности превратились в вершителей правосудия. Насколько умнее был царь Соломон, просивший у Бога лишь пронизательное сердце, чтобы уметь различать Благо от зла!

Чёткому европейскому моральному долгу русский противопоставляет смутный обрядный. Но христианский морализирующий долг, преподававшийся два тысячелетия, от Св. Павла до Гегеля, был подорван Ницше — к воле, и Валери — к мощи, которые, диковинным образом, встречаются в воле к власти.

Вина врождена или приобретена? Руссо склоняется ко второму ответу, а русские, с Толстым, — к первому. Творец искушает нас двумя родами загадочной свободы: переводить глас Блага в поступки или голос красоты — в творение. Но если вторая свобода даёт нам крылья, первая ведёт нас неумолимо к отчаянию и стыду.

Человеческое благо переводится в действия, диктуемые великодушием и добротой. Верность божественному Благу узнаётся в стыдливом вслушивании в сердце и в беспощадной критике своих поступков умом. *Не делал доброго, однако ж был душою, ей-богу, добрый человек* — Пушкин.

Русский интуитивно чувствует терапевтическую ценность наших слабостей, чтобы стыдиться механической силы и не стыдиться взывать к жалости и утешению. Не знаю, было ли у Валери сердце: *Сделать кого-то слабым — поступок неблагородный*. О, сколь менее благородно заставить забыть наши божественные слабости!

То, что увеличивает нашу мощь, соответствует нашему вполне

банальному, вполне расчётливому интересу; определять это увеличение как само Благо — мерзавство, в которое впадает Ницше (вслед за Платоном). Русский говорит себе, что Благо не только не вытекает ни из какой силы, оно не вытекает даже ни из какой слабости; оно — единственный божественный голос, не оставляющий отзвука ни в наших поступках, ни в наших идеях.

Для русского Благо — тревожный зов, ввинченный в наше сердце, но которому запрещён выход в мир поступков; Зло не было бы лишением Блага, оно сопровождало бы всякий поступок — приятный, нейтральный или вредный. Единственным достоверным антонимом Блага было бы тогда равнодушие, погасшее сердце. И поскольку современный человек отворачивается от мечты (этой пищи Блага) и сводится к своим действиям, гипотеза (современного) злого Демиурга довольно правдоподобна.

В глазах русских единственная божественная искра, обречённая оставаться теплом чувств, не превращаясь ни в свет поступков, ни в тени творения, — это Благо. И поскольку философия — искусство распределения тени и света, основывать её на этике, на Другом — наивность, того же порядка, что глупость тех, кто сводит её к Истинному, к знаниям. Философия должна исходить лишь из Красоты, которой следует наполнить все жизненные оси, идя, например, от комедии сущности к трагедии существования или от теней слова к свету идеи.

Русский полагает, что владеет Благом, если ощущает его божественное происхождение, и не ищет его перевода в человеческие поступки. *Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею* — Толстой. Сердце любит, тело действует.

От совершения гражданской несправедливости совесть русского становится беспокойной. Узость европейская гаммы сомнений объясняет размножение спокойной совести. Известное *я*, земное, успокаивается, спрашивая себя: приближают ли меня мои свершения к моим устремлениям? Неведомое *я*, небесное, разрывается дилеммой: я бог или каналья?

Русский предпочитает жалость человека, даже грешного, справедливости робота, даже умного. Жалость в глазах европейца обозначает слабого, и его тревожное беспокойство — не оказаться в их числе. Он предпочитает справедливость робота жалости человека.

Русский мечтает о взлётах, но живёт лишь падениями. Перевернутая эсхатология. Что лежит у истока человека — падение ангела или социализация хищника? Первая версия, руссоистская, неправдоподобна, поскольку глобальный прогресс кажется нормой. Но вторая гипотеза означала бы, что *Ницше* прав и что жалость ведёт к вырождению, к падению. Только не следует забывать, что без жалости общество может сводиться лишь к двум моделям: барану или роботу. Оба вида не ведают ни падения, ни взлёта — плоскость.

Изначальная функция комедии (европейской) и трагедии (русской) — поддерживать в нас соответственно иронию и жалость, эти два прекраснейших человеческих чувства. Боюсь, что трагедия умерла, ибо жалость окончательно иссякла в сердцах людей; а ведь именно *жалость приносила бы нашим страстям — очищение (катарсис)* — Аристотель — она была бы даже *первым чувством близости, трогающим человеческое сердце* — Руссо — *le premier sentiment relatif qui touche le cœur humain*. Нам останется лишь роботическая комедия, в которой потеха заменяет иронию.

Для русских (как и для [Ницше](#)), выше, или, лучше, по ту сторону всех осей — Благо-зло, мощь-болезнь, нигилизм-согласие, сверхчеловек-последний человек, господин-раб, — важна мера, именуемая накалом, поза, неистовая и непоследовательная, а не позиция, трезвая и аргументированная. Чтобы позволить себе быть беспощадными и бесстыдными, через сколько проглоченных стыдов и жалостей пришлось им пройти! И Платон, тоже, со своими диатрибами против демократии и поэтов во граде. Позиции философов известны слишком хорошо; позы их известны недостаточно. Леонардо или [Валери](#), привносящие в искусство больше накала, включая науку в ту же художественную ось. Гераклит, воспевающий гармонию противоположностей.

Поражение стало стыдом у человека европейского торжествующего стада: *Чувство, которое человек переносит труднее всего, — это жалость* — Бальзак — *Le sentiment que l'homme supporte le plus difficilement est la pitié*. Истинная гордость русского отверженного побеждённого — принять жалость брата.

Добрая русская жалость не ищет ни утешить, ни понять, но жить в экзальтации отсутствия средств. *С одной стороны — печаль, разнузданные страсти, с другой — утешение, простота! Вот единственно возможная гармония* — К. Леонтьев.

Русская свобода проявляется, когда его жалость берёт верх над его интересом. У циника интерес берёт верх над жалостью — благородная свобода или низкая свобода. Странная путаница в этих понятиях у [Бердяева](#): *Конфликт свободы и жалости — основной*.

Русская душа презирает разум и живёт согласно своим страстям. Но свободная душа, согнувшаяся перед разумом, становится рабским умом. Нужно хорошенько поскрести утилитариста, живущего по одному лишь разуму и, следовательно, лишённого души, чтобы добраться до первой сострадательной фибры. *Сострадание в человеке, живущем по руководству разума, само по себе дурно и бесполезно* — Спиноза — *Commiseratio in homine qui ex ductu rationis vivit per se mala et inutilis est.*

Русский не знает иронии — той, что, улыбаясь, делает нам жизнь желанной; но русская жалость, что плачет, делает эту жизнь священной для нас. *Надо дать человеческой жизни в свидетели и судьи Иронию и Жалость* — А. Франс — *Il faut donner à la vie humaine pour témoins et pour juges l'Ironie et la Pitié.* Это был бы самым справедливым протеканием жизни! Надо помешать Иронии выступить в качестве Прокурора, а Жалости — в качестве смягчающего обстоятельства. Трудно видеть их сосуществование; **Вольтер**, ставший слезливым, или Руссо, ставший язвительным, много потеряли бы в своём остроумии.

Русский умеет возвращать свою слабость или поражение, что позволяет ему легко превратить ницшеанский укол в похвалу: *Во всякой аристократической морали сострадание сходит за слабость* — *In jeder aristokratischen Moral wird das Mitleid als eine Schwäche wahrgenommen.* Мерзавец известен тем, что ценит лишь силу. Или, точнее, он не умеет извлекать пользу из своих слабостей.

У русской души есть причины, которых не знает европейская свобода; забронзовевшее сердце может не знать цены свободы. *Жалость может привести к отказу от свободы, свобода может привести к безжалостности* — **Бердяев**. Свобода — религия нечистых; жалость —

вера чистых. Чистота не должна действовать; иначе она становится, по механизму наследования, безжалостной.

Чтобы быть верным Красоте, надо встать по ту сторону Блага и Зла; чтобы держаться свободы, надо, напротив, сунуть в неё нос и оценить её аромат. Но русские не способны ни к тому, ни к другому; они *к добру и злу постыдно равнодушны* — М. Лермонтов.

Ни истина, ни красота — в науке, политике, пластических искусствах — никогда не были первой заботой русского, но одно Благо. *Здесь нигилизм — беззлобен, и дух наук — религии подобен* — А. Блок.

Что думать об этом мире, где единственные, кто практикует европейскую иронию или русскую жалость, — его неудачники! *Посмотрите на рожу того, кто преуспел, кто потрудился. Вы не обнаружите в ней ни малейшего следа жалости* — Чоран — *Regardez la gueule de celui qui a réussi, qui a peiné. Vous n'y découvrirez pas la moindre trace de pitié.* Всякий ненаигранный триумф ожесточает. *Много может потерять тот, кто побеждает* — Ф. Шлегель — *Viel kann verlieren wer gewinnt.* Некогда можно было посвятить своё восхождение гонимой идее, окружённой упрямой ложью и устремлённой к лучезарному будущему. Сегодня единственный идол — истина: неопровержимая — значит, без иронии, механическая — значит, без жалости. Мудрость и святость начинаются со стыда — признания фатального поражения Блага. Мерзавцы, облечённые церковными или университетскими кафедрами, не согласны: *Помогать победе Блага — общая цель святых и мудрецов* — Амьель — *Aider à la victoire du Bien, c'est le but commun des saints et des sages.*

Достоевский, Толстой, Чехов исходят из трёх родов стыда: стыда за свою скрытую низость, стыда за свои случайные привилегии, стыда за свою фатальную слабость — психологическая драма, моральная исповедь, духовная трагедия.

Русская неспособность отделить человека — от художника, чувство — от произведения искусства. Не всем хватает пронизательности, чтобы выделить художественную мысль из морализирующего потока. *Бессилие русских мыслить и их вечная мания морали: в этом они — ресурс для рода человеческого* — А. Сюарес — *Impuissance des Russes à penser, et leur manie éternelle de la morale : c'est en quoi ils sont une ressource pour le genre humain.*

Свобода — это взгляд, но зрелость вызревает лишь через жест; и этот заплесневелый плод, ещё до того как он созрел, срывает русская лень. *Нравственная свобода, дар русской земли, лучший цветок, ею взращённый* — О. Мандельштам.

Жалость без действий так же распространена в России, как действие без жалости в Европе.

У русского и европейского интеллектуалов две общие черты — хорошее образование и совесть (нравственная у русского, духовная у европейца): русский несёт стыд за собственную непоследовательность и сострадание к страданиям слабых; европеец в своих суждениях отличает заимствованное у других от того, что принадлежит лишь его собственной выработке. Формальное скрывает значимое.

С нестигаемыми людьми

Дела людей создают цивилизацию, и она в России жалка. Мечта человека составляет культуру, и она в России грандиозна. Русские, собравшись вместе, производят впечатление орды; русский, уверенный, что его не видят, — поэт. Они представляют интерес для ума лишь в уединении. Единственная страна, где приход викингов стал прогрессом.

Все племена на Земле делятся на два клана: фанатики и торговцы, и оба питают друг к другу пребольшое любопытство. Единственное белое пятно, не вызывающее у прочих народов ни интереса, ни симпатии, — Россия. Удивительная лексическая деталь русского языка — он единственный, что указывает на духовную и грамматическую пропасть между *человеком* и *людьми*, понятия с разными корнями

Во Франции человек формируется в Лицее, в Германии и Англии — в Университете, в Америке — выигранными судебными процессами, в России — климатом и пейзажем своего детства: степью, лесом, горами.

Русские даже не хотят знать, откуда они идут, не говоря уже о скрещиваниях с чужими путями. *Французы хотят сохранять, немцы — становиться, англичане — быть, русские — хотеть — Валери — Les Français veulent conserver, les Allemands — devenir, les Anglais — être, les Russes — vouloir.* Своеволие — хотеть вне всякого знания и долга, вызов нормам и истинам, но и признак привязанности к внутренней свободе. Свой нигилизм русские интеллигенты охотно одолжили бы всему миру, но несут его одни фанатичные и недоступные простакам кирилловы, вышедшие напрямиком из *Бесов*.

Россия, наивная, мистическая, чувственная, получила первые уроки от французских писателей, иммунизированных и искушённых в противоречиях, и от немецких философов, самых крайних в своих выводах — Валери — *La Russie, naïve, mystique, sensuelle, a reçu pour premiers enseignements ceux des écrivains français, immunisés et rompus aux contradictions, et ceux des philosophes allemands, les plus extrêmes dans leurs déductions*. Ученики поняли всё превратно: из уроков строгой немецкой философии вышли разношёрстные нигилисты (Достоевский, Бердяев, Л. Шестов), а из образов французской литературы — одержимые теорией или моралью анархисты (П. Кропоткин, М. Бакунин, Толстой). Лишь русский поэт Серебряного Века хранил взаимность европейского братства, поэт музыкальный, чувственный, открытый всему миру, оставаясь при этом в созвучии с наследственными мелодиями своей родины.

Вне России, и робот и баран следует неукосным нормам лабораторий или боен. А — *Русские: самоубийцы от избытка счастья, убийцы из милосердия, люди, обожающие друг друга до того, что расстаются навсегда, предатели из любви или из смирения* — Х. Борхес — *Los rusos: suicidas por felicidad, asesinos por benevolencia, personas que se adoran hasta el punto de separarse para siempre, delatores por fervor o por humildad*. Русский чувствует сущностную разнородность между любовью и любимым предметом и становится на сторону того, что более призрачно на земле и более долговечно на небе.

Именно гнетущее ощущение замкнутых границ-горизонтов влечёт русский ум к вертикальности небосвода и бездны; но если русский, как и всякий другой, ум привязан к реальности, русская душа живёт мечтой, а та ищет простора и широты, опирающиеся на необъятность русской земли.

Интеллектуальная тяга к высоте и sentimentalный вкус к широте редко согласуются. Из четырёх стихий, русский чаще всего выбирает землю. Мысль о земле как единственной жизненной стихии удаляет от свободы, которая предпочитает огонь, воду и эфир.

Что возьмёт верх в homo sovieticus — переобучение идентичности или обучение свободе? — Р. Дебрэ — Qu'est-ce qui va l'emporter dans l'homo sovieticus, du réapprentissage de l'identité ou de l'apprentissage de la liberté ?

Вы склоняетесь к первой гипотезе, а по мне, так верх возьмёт вторая, чтобы преумножить стада, уже отошедшие от забот об идентичности. Речь идёт о переходе от homo sovieticus к человеку русскому. Последнему нечему учиться в том, что касается внутренней свободы. Что до свободы внешней, то заикленность его нравов на произволе будет по-прежнему оставлять тягостное впечатление рабской покорности.

Чтобы понять, почему русский неспособен найти своё призвание, почему на каждом повороте своей истории он вычёркивает из памяти всё непосредственное прошлое, почему он думает лишь о волшебных перспективах, надо буквально понять слово Гоголя: *Русский человек — пропащий человек.*

Перед лицом своих политико-экономических язв, русские ставят страусиные диагнозы, мечтают о лошадиных средствах, воображают роботические или ангельские терапии. Тогда как более всего им недостаёт человеческого диагноза — холодных глаз, принимающих очевидное.

Спрос рождает предложение — этот ледяной афоризм применим к политике и поэзии с той же неумолимой механикой, что и к экономике. Моцарт, Кант, Наполеон, Гюго были востребованы. Россия остаётся

единственным исключением из этого правила: ни Пётр Великий, ни Пушкин, ни Горбачёв не были никем призваны. Это чудеса, как всё, что есть ценного в России.

Национальный гений заключается не в коллективных пафосе, этносе, космосе, но в единоличном стиле: скипетра, чертежа или пера. *Россия и Испания, две расы, страдающие от очевидной и постоянной нехватки выдающихся личностей* — Ортега-и-Гассет — *Rusia y España, dos razas, coinciden en padecer una evidente y perdurable escasez de individuos eminentes*. Однако в этих двух странах разыгрываются сильные страсти, а высокий стиль мы находим у Вольтера, Шатобриана или Гюго, хотя: *Во Франции великие страсти так же редки, как великие люди* — Стендаль — *En France, les grandes passions sont aussi rares que les grands hommes* — и автор пытался их воссоздать — тщетно.

Ваш индивидуализм сытых, в области живота, идёт рука об руку с вашим коллективизмом нищих и голодных, в области танца: *Русский коммунизм — субстанция, неусвояемая для европейцев, этой расы, что положила все свои усилия и пыл на карту индивидуализма* — Ортега-и-Гассет — *El comunismo ruso era una sustancia inasimilable para los europeos, casta que ha puesto todos los esfuerzos y fervores a la carta individualidad*.

Русский коммунизм: прекрасная, индивидуалистическая и аристократическая идея, превратившаяся в отвратительный, коллективистский и тиранический факт. *Судьба всякой великой идеи — быть преданной* — О. Пас — *¡El destino de toda idea grande es el de ser traicionada!* С самого своего начала, Кремль с ласточкиными хвостами гибеллинов предпочитал орла (гибеллинов) кропила (гвельфов), но кончил тем, что уступил саблям, молотам и серпам.

Сосуществование деспотов называется своеволием, волей слушать лишь собственный произвол, — первейшая русская потребность. В этом краю, каждый, без зазрения совести, становился то тираном, то рабом. *События, именуемые революцией, превращали рабов в тиранов, а тех — в рабов* — В. Набоков — и это происходило и внутри и извне личного сознания.

Русский мало печётся о великих гражданских свободах, он живёт серьёзными иллюзиями о мелких, чисто животных свободах; европеец много печётся о мелкой материальной свободе, но из которой складывается монументальная свобода гражданская. Но свободу внутреннюю он сводит к шаловливой, легковесной и легкомысленной свободе нравов.

Русский — на коленях, его глаза выражают рабскую покорность, но его голова переполнена экстравагантностями и бунтами. Даже стоя, европеец излучает свободу, легко читаемую в его глазах, хотя в голове его кишит стадность.

У меня была душа раба в стране тех, кого называют свободными, и я нашёл душу свободного человека в стране тех, кого называют рабами — Дидро — *J'avais l'âme d'un esclave dans le pays de ceux qu'on appelle libres et j'avais trouvé l'âme d'un homme libre dans le pays de ceux qu'on appelle des esclaves*. Вопреки тому, что можно было бы подумать, чувство свободы рождается в смутном ощущении стен, а чувство рабства — в несомненной необъятности. *Прекраснейшие мечты о свободе слагаются в темницах* — Ф.Шиллер — *Die schönsten Träume der Freiheit werden in Kerkern geträumt*.

Личное выражение коллективной рабской покорности или общее

выражение личной свободы — русский или европеец: волосы встают дыбом от ужаса при виде первого, руки опускаются от скуки при слушании второго.

Русским интеллектуалам свобода перехватила дыхание и подрезала крылья; не окажутся ли они, в этом, близки к своему народу? — *К чему стадам дары свободы* — Пушкин. Однако, когда видишь художественную ничтожность американизированной Германии сегодня, понимаешь, что даже те, кто знает, что с ней делать, погружаются в серость, грубую и пресную, если позволяют механическому удушить органическое.

В Океане, смиряться со всяким курсом с одинаковой покорностью называется, быть может, океанской универсальностью. Верить в надёжность натянутого паруса, каков бы ни был курс, каков бы ни был капитан. *Интеллигентный русский есть не что иное, как умственный пролетарий, нечто без земли под собою, без почвы и начала, межеумок, носимый всеми ветрами Европы* — Достоевский.

Русский обращается со свободой как с сообщницей, феей или колдуньей; и её соперница — жизнь, чей взгляд надлежит перевести на мечту. *Англичанин любит свободу как свою законную жену, француз — как свою невесту, немец — как свою старую бабушку* — Г. Гейне — *Der Engländer liebt die Freiheit wie sein rechtmäßiges Weib, der Franzose — wie seine Braut, der Deutsche — wie seine alte Großmutter*. Для всех сегодня свобода — попросту козырь выигрывающего игрока. Англичанин играет в клубе, француз — в парламенте, немец — на заводе, русский — в подполье.

Русский интеллектуал говорит о своём народе, немец — о своих поэтах, американец — о своём правительстве, француз — о самом себе.

Неважен тон — сочувственный или ворчливый.

Справедливо датируют рождение французского интеллектуала делом Дрейфуса (или даже делом Каласа); с тех пор он хранит нетронутым главный очаг своих забот — газетное происшествие. Русский интеллектуал родился с острым чувством страдания, абстрактного или плотского, сентиментального или социального, религиозного или фанатичного. С исчезновением этой заботы можно сегодня возвестить об угасании интеллектуала в России.

Русский культ триады — государь, жрец, пророк — ведёт прямиком к тирании; триада, неведомая в России и ведущая к свободе, — депутат, юрист, экономист.

Монстры (те что становятся императорами) у власти — монополия не одних французов. *Русский государь цивилизован, его народ — нет. Во Франции — наоборот* — Талейран — *Le souverain russe est civilisé, son peuple ne l'est pas. En France, c'est l'inverse*. У России тоже имелись тираны, но ни её хижины, ни её дворцы, ни её лагеря не были смягчены Гражданским кодексом. Всех устраивали и поучительная порка, и зельеобильное братание и дерзкое цареубийство. *В России суровость законов умеряется их неисполнением* — П. Вяземский.

Если русский ум держится русской земли, русская душа ближе стихии жидкой: крови, поту, слезе, водке. Мозг ею тоже бывает затронут: *Сырой русский мозг не вспыхивает огнём разума, когда в него попадает искра знания, — он тлеет и чадит* — Горький. Это почти так же прискорбно, что и сухая душа. Она отвечает одним чадом на кровопускания и зарёванности тех, кто вызывает к ней, будучи наводнёнными бьющим через край

страданием. **Вольтер**, делавший из философа пожарного (*суеверие поджигает мир, философия его тушит*), видит спасение не в самом подходящем элементе — возврат к земле был бы надёжнее...

Песня и пение сближают Россию с Францией. Но если в России всё начинается с песни, то во Франции ею всё кончается. Русское пение напоминает мне тяжёлую глубину существования, а французское пение открывает меня высокой сущности мечты. Душа и ум скрещиваются в поющем голосе.

Столько взлётов мысли или чувства, обольстительных или учёных, сентиментальных или проповеднических, розовой воды или купороса, вокруг французского ума или русской души, тогда как их главные архитекторы — парижский банкир и московский жандарм, у истока салонов и каторг.

Россия — *страна необузданных страстей или дряблых характеров, бунтарей или автоматов, без промежуточного звена между тираном и рабом* — **А. Кюстин** — *pays des passions effrénées ou des caractères débiles, des révoltés ou des automates, sans intermédiaire entre le tyran et l'esclave* — русские, действительно, находят их в каждом из них. Жилку тирана или раба надо переделывать в пружины гражданина.

Заставь московита склонить голову или попытаться огрызнуться, всё тот же позор настигает его и затопляет стыдом; он даёт себя унести потоком пассивности: *Колыбелью Московии была не суровая власть норманнской эпохи, но кровавая трясина монгольского рабства. Московская империя стала могущественной лишь благодаря своему виртуозному мастерству в искусстве рабства* — **Маркс** — *Der blutige*

Schlamm mongolischer Sklaverei und nicht die rüde Herrschaft der Normannenzeit war Moskaus Wiege. Zu Kräften gelangte das moskowiter Reich nur, weil es in der Kunst des Sklaventums zum Virtuosen wurde. Его отчаянное и свободное пение обращено в себя, для внутреннего потребления.

Повсюду свобода, чтобы стать сильной, облачается в одежды закона. Кроме России: *Русская душа сильна, ибо идёт нагой; и свободна, ибо влюбляется в услужение* — Сен-Джон Перс — *L'âme russe est forte, puisqu'elle va nue ; et libre, puisqu'elle s'éprend de servir.* Нагота раба обрела известный престиж в одной римской провинции две тысячи лет назад. Сегодня это было бы посягательством на общественный порядок.

В перипетиях всех европейских национальных историй угадывается своего рода разумный план, сформулированный как особенная судьба и хорошо рассчитанный небесной канцелярией. На этом фоне дьявольский русский хаос вопиющ: *Россия есть игра природы, а не ума* — Достоевский. И русский видит в своей природе *гнетущую печаль, тяжкое молчание, ледяную высоту* (К. Бальмонт).

Русское национальное сознание воспроизводит финикийские странствия и колебания между тремя континентами — похищают прекрасных принцесс, чтобы подвергнуться нашествиям, отправляют слонов, чтобы противостоять легионам. Американцы делают то же с римским наследием, олицетворяя его в доминирующем образе менеджера. Немцы были самыми изобретательными, перевыдумывая столько новых германизированных Эллад плеядами поэтов и философов.

Все европейские достижения обязаны способности к диалогу, к взаимной терпимости. Эти слова для русского навсегда заказаны:

Компромисс, на русском языке, носит на себе печать мелкой подлости — Н. Берберова.

Ни одна нация не стирает столь радикально всякий след непосредственного прошлого, как русские. И переизобретение прошлого, этого непредсказуемого прошлого, стало национальным спортом. *Историческое варварство заставляет отчаиваться в будущем России и русского народа* — В. Вернадский.

Адам и Ева, нагие, голодные, вкушающие исподтишка запретный плод, убеждённые, что они в раю, — было ли у них российское гражданство? Гляньте на райский европейский сад, куда их бросила felix culpa: змея не видно, яблоки продаются тому, кто больше даст, обратившиеся в туристов, Адам и Ева, горюют, что попали в ад.

Цивилизоваться — значит избавиться от первородного греха и стыда. Грехи русского столь жгучи, что ему нужны снисходительные боги, умеющие закрывать глаза на реальное и довольствоваться идеальным. *Советская власть держится благодаря платоническим воззрениям русского народа* — А. Лосев. Любой другой европейский народ, подвергнутый марксистскому опыту, питался бы *Капиталом*; русские вышли прямиком из *Государства*. Расхожее мнение видит в русском ветхозаветного христианина, тогда как он — язычник, закоренелый платоник.

Материальное и умственное развития плохо совместимы. Так, для некоторых, *Россия — это минимум разнообразия при максимуме пространства* — М. Кундера — *Minimum de diversité avec maximum d'espace*. Это и бросается в глаза в России, когда они задерживаются лишь

на предметах цивилизации — удобствах для тела. Беспокойство души покоится на предметах культуры. Но это может ускользнуть даже от глаз специалистов по византийской истории. Россия — единственная страна в мире, где пропасть между цивилизацией и культурой столь непреодолима.

Изначальный гуманизм стал рациональным при Возрождении, но этот поворот был полностью упущен Россией, что и объясняет большинство её отличий от Европы. Иррациональный гуманизм стал исключительно русским исканием: *Русская сказка — это сказка о Недостоящем Звене; русская голова — голова сверхчеловека* — Г.К. Честертон — *Russian tale is the tale of the Missing Link ; his head is the head of the superman.*

Европеец видит в богатстве дерево и думает о лесопильнях, садах или публичных парках. Русский тоже думает о древе, но это джунгли, в которых мучают самых неловких, или оазис, в котором забывают окружающую пустыню. С нищетой русский справляется не лучше: там, где латиноамериканец умеет танцевать и живописать, русский умеет лишь размышлять и стонать, сохраняя, в то же время, средневековую *superbia paupertatis*.

СССР, родина без корней, нация без природы — Ж. Деррида — *L'URSS, patrie sans racines, nation sans nature*. У тех, кто тянутся к дереву и климату, порой не видны корни и искажены пейзажи. Русское дерево, столь усеянное непередаваемыми неизвестными, обещает плодотворные обмены лишь в корнях: *Глубочайшая Россия лишь свелась к уровню корней и в своей тьме обращена к далёкому будущему* — Рильке — *Das tiefste Rußland ist nur in die Wurzelschicht zurückgefallen und nimmt sich in seinem Dunkel zu einer fernen Zukunft zusammen.*

Всё больше в Европе народ размышляет и изъясняется как бухгалтер, а бухгалтеры — уже роботы. Русский народ продолжает придерживаться аристократических способов общения: *Мышление афоризмами характерно для нашего народа* — Горький. Удивительно, что, как и Ницше, ты озаглавил свою книгу афоризмов — *Несвоевременные мысли* (*Unzeitgemäße Betrachtungen*).

Человек с раненой совестью видит вину в причинах; человек с оскорблённой честью — в следствиях. Лень совести порождает роботов; лень чести — рабов. Русский, сознающий свои неисполненные обязанности, не прочь признать: я ниже всех. Европейец, сознающий свои заслуженные права, чаще говорит: я не ниже других.

В России то, что индивидуально (страсти, капризы), становится социальным (произвол, коррупция); в Европе то, что социально (закон, терпимость), становится индивидуальным (роботизация, стадность).

Роботизация улыбок, на американский манер, и учтивости, на французский, ещё не достигла русских, что позволяет им оставаться угрюмыми и невежливыми, как в стаде или в стае.

Достойная восхищения американская цивилизация на руках несёт жалкую американскую культуру; жалкая русская цивилизация хоронит достойную восхищения русскую культуру.

Для нации, не способной управлять политическими свободами, американизация означает африканизацию. Это и происходит сейчас в России, где американские социальные, экономические и цивилизационные модели безраздельно царят, несмотря на враждебную пропагандистскую

риторику, тогда как европейская культура исчезает на глазах. Некогда тень грубой Азии витала над русскими судьбами; сегодня скорее Африка, униженная и бесплодная, разделяет нищету русской цивилизации.

Вершина несчастья: чтобы вернуть вкус к свободе, никакой пустыни на виду, и мир больше не дарует сорока лет странствий, чтобы выветрить дурные воспоминания; на протоптанных тропах слагаются сегодня судьбы народов. СССР был застенком публичной свободы, Запад — отваживанием от свободы личной. Ж. Бодрийяр всё перепутал: *СССР был холодильником свободы, Запад — её мусорной свалкой. Переход от конца Истории через замораживание к концу Истории через ультратекучесть — L'URSS constitua un congélateur de la liberté, l'Occident en est le dépotoir ; passer d'une fin de l'Histoire par congélation à une fin de l'Histoire par ultra-fluidité.* В России размораживалась одна грязь; в Европе вычищалась грязь последняя. Но в тирании выживает вертикальность; демократия — это горизонтальность. Не сошествие нового Иерусалима и его храма возвещает конец Истории, но неодолимое расширение Нью-Йорка и его Биржи.

Если европейское сочетание власти и денег проникнет в Россию, страна будет потеряна — В. Беньямин — Wenn die europäische Korrelation von Macht und Geld das Rußland durchdringt, würde das Land verlorengehen. Это броская очевидность. Со своим культом скрытного, русский, изгнанный из подполья, оказывается всего лишь на дне. Без открытых звёздам развалин, он обходится складами и высотками. Некогда разгул дубины умерялся мягкостью лучших из лир. Сегодня всякая слабость стала постыдной в американизированной России.

Чем был бы героический американец без отелей, аэропортов, гарден-парти и наркотиков? Чем был бы средний француз без уличных

происшествий, законодательных поправок, ресторанов и переругавания? Чем был бы мужик без грубости, пьянства, лени, удалости?

Беспочвенность — поза; укоренение — позиция. *У европейской культуры в русских нет корней* — Д.Г. Лоуренс — *European culture is a rootless thing in the Russians* — ты не ведаешь, что русские корни тянутся до вершин, не обещая ни цветения ни плода, ибо русская земля, затопленная слезами и разорённая огнём, может рассчитывать лишь на воздух, в котором звучат одни поэмы, рыдания и молитвы.

Русский готов пасть, лишь бы иметь право красть в Европе предметы своих вожделений. *Пётр Великий женил Россию на Европе; отсюда русская беда, нудное причитание: Nec sine te nec tecum vivere possum (Невозможно жить без тебя и с тобой!)* — Ж. де Местр — *Pierre le Grand a marié la Russie à l'Europe, de là votre malheur, dont voici le gémissement éternel*. Европа предлагает единственный способ обмена — сделку. Всякий контакт стал контрактом.

Возрастание угрозы со стороны России таково, что Европа должна бы решиться обрести волю — Ницше — *Eine solche Zunahme der Bedrohlichkeit Rußlands, daß Europa sich entschließen müßte, einen Willen zu bekommen*. Пророчество исполнилось. Но вот для выковыывания русской воли, превратившейся в склизь (этими, *достойными восхищения, варварами будущего* — *von bewunderungswürdigen Barbaren der Zukunft*), нужен теперь не кузнец, а реаниматор.

Между дионисийским посланием, переданным отвратительным и варварским вестником, и трезвым посланием улыбающегося почитателя Гермеса, колебание было недолгим: *Европа будет республиканской или*

казацкой — Наполеон — *L'Europe sera républicaine ou cosaque*. Европа будет республиканской, то есть американской. *Прощай, Россия, — и вот мы все американцы!* — Р. Дебрэ — *Exit la Russie, et voilà que nous sommes tous Américains !* Кто ещё слушает Ницше: *Нам абсолютно необходимо идти рука об руку с Россией. Никакого будущего с Америкой — Wir brauchen ein unbedingtes Zusammengehen mit Rußland. Keine amerikanische Zukunft.*

Всё, что идёт от стада, в России бесформенно и благонамеренно. В Европе — гармонично и безлично. *Если бы следовало благодарить русского за что-то, так это за его намерения* — Гоголь.

С темпераментом интеллектуала, с его былыми накалом, искренностью и вкусом, с его озабоченностью бедствиями слабого, в каких сферах он проявляется сегодня? В России он — отшельник, бродяга или поэт; в Европе — банкир, торговец компьютерами или застройщик.

В единичном чувстве русский читает предопределения племени. Европейец, напротив, из племенной черты выводит объяснение всякой единичности. Синтез насилия, анализ намёков.

Окружённая всеми великими цивилизациями мира — Европой, мусульманским миром, Китаем, Японией, США — Россия проиграла все битвы. Европа взяла верх красотой, Ислам — волей, Китай — динамизмом, Япония — равновесием, США — мощью. Всё будет потеряно, когда её прима-балерины, шахматисты, математики или скрипачи будут превзойдены новыми азиатскими или латиноамериканскими тиграми. Она останется с тем, что было у её истока, — со своими сказками.

Глядя на азиатского муравья и западного робота, я сочувствую африканской газели (не обходящейся без других), латиноамериканской цикаде (плюющей на других) и русскому сурку (дремлющему, чтобы не видеть других).

Умеренная идеализация настоящего пробуждает страсть к прошлому, питает прогресс цивилизации и позволяет революциям полыхать лишь под черепами. Русские систематически делают обратное: настоящее отвратительно, будущее безразлично, прошлое закопано — это рабское состояние душ губит Россию.

Так мало тех, кто понимает, что было три вторых мировых войны с несравнимым содержанием: идеологическая — между демократиями и европейскими тоталитаризмами, политическая — между империалистической Японией и тихоокеанскими странами, расовая — между германцами и славянами. Еврейский холокост — единственный общий элемент между первой и третьей.

В один и тот же день, 22-го июня, европейские коалиции, собранные Наполеоном и Гитлером, вторгаются в Россию. Другое любопытное повторение: для поверженных европейцев, русский генерал, их одолевший, носит одно и то же имя — Зима, чей разгул усугублялся неделикатностью графа Ростопчина или происками НКВД; драгуны и асы Люфтваффе крошат бессчётное число этих увальней-мужиков, которые в конце концов тысячами и тысячами обрушиваются на парижские бульвары и в берлинское небо, где ошеломлённым европейцам катастрофически недостаёт сабель и самолётов. Но не русский драгун и не русский самолёт горделиво торжествуют, а смиренный патриотизм ожившего от внутренней тирании народа.

Жалкое остолебенение европейцев — Пакт Риббентропа-Молотова. В противостоянии с нацистами француз, в худшем случае, рисковал задержанием поставок Божоле Нуво, а русский — обращением в рабство, возвратом в каменный век, без медицины, без всякой культуры, в пустынях на месте Петербурга и Москвы. Всё, что замедляло вторжение, должно было быть испробовано, зная, что демократии отказывают Кремлю во всяком сотрудничестве и что, после Мюнхена, и Европа и Россия будут делать всё, чтобы тевтонский дикарь набросился на другого, а не на них самих. Только неблагодарность европейцев видит в том Пакте первопричину Войны!

Название Отечественной для последней мировой войны на Востоке справедливо. Для нацистов речь шла о колонизации России, как британцы колонизировали Индию. Упоминание идеологий служило лишь одной цели — вполне успешной! — вербовке добровольцев-негерманцев для похода на Восток. Но надо признать, что победа нацистского фанатизма в Германии была многим обязана победе большевистской дикости в России. *Фашизм и большевизм — враждующие братья, но всё же братья: где один растёт, там он удобряет поле другого* — Г. Хецце — *Der Faschismus und Bolschewismus sind zwar feindliche Brüder, aber doch Brüder, und wo der eine wächst, düngt der das Feld des andern.*

Самая подлая из европейских неблагодарностей перед лицом русского холокоста Второй мировой войны: нация, замученная кровавым режимом, влачащая чёрную нищету, подвергается вторжению самой мощной и самой оснащённой армии мира, имеющей целью колонизацию и обращение в рабство славян; средства — физическое истребление, искоренение всякой культуры. Узвлён весь народ, ему брошен вызов. Он яростно сражается за

своё достоинство и выживание, теряет 25 миллионов душ и победно завершает бойню в Берлине. Вся Европа, в 1945 году, видит в русском своего спасителя, достойного восхищения и вечной признательности. Сегодня всё забыто: это были две грязные диктатуры, которые тогда лишь грызлись между собой, к вящему благу американской демократии, единственного победителя в этом противостоянии Добра и Зла; и русский был на дурной стороне...

Американская заносчивость, как некогда французская и немецкая надменности, стремится сокрушить Россию экономическими санкциями и подкупом окружающих марионеток. Не знаю, что им посоветовать: лучше изучить историю Наполеона и Гитлера или же географию: *Не покоряют нацию, чья последняя крепость — полюс — Шатобриан — On ne soumet point une nation dont le pôle est la dernière forteresse*. На другом полюсе — культура [Пушкина](#), Чайковского, [Толстого](#).

Реймс или Дрезден претерпевают участь побеждённых, но Москва выходит из своего пожара победительницей. *Никогда, что бы ни воспевала поэзия, все вымыслы о пожаре Трои не сравнятся с пожаром Москвы — Наполеон — Jamais, en dépit de la poésie, toutes les fictions de l'incendie de Troie n'égaleront celui de Moscou*.

Последний уголок Земли, где ещё хотят мечтать и танцевать вместо того, чтобы бодрствовать и шагать, — быть может, Латинская Америка; отсюда и идёт огромный престиж русского лиризма и небрежности, импортированных вместе с ракетами, коррупцией и нищетой.

Азия — содержание без формы и жизни; Европа — форма и содержание без жизни; Россия — жизнь без содержания и формы, *Империя*

каталогов, коллекция этикеток — А. Кюстин — *l'Empire des catalogues, une collection d'étiquettes*. Русская безбрежная жизненность может заполнить любой сосуд, какими бы ни были его дно и форма.

Азиат выкручивается среди грядущих китаёзничеств; с его прозрачными и взвешенными целями, европеец, прозаически деловитый, всегда в своей тарелке; русский ограничен своей одержимостью одними средствами. *Инстинкт русских варваров допускает размышление лишь в выборе средств, а не в рассмотрении цели* — де Сталь — *L'instinct des barbares russes n'admet la réflexion que dans le choix des moyens et non dans l'examen du but*.

В России, как и в Азии, всё динамичное — в политике или экономике — отвратительно. В Европе даже самое созерцательное монашество — из самых предприимчивых. Смирение, которое я проповедую для человека, может украсить, быть может, лишь азиата.

Эта страна хранит всё бесчеловечное в умах Азии и Европы, тогда как их универсальность ценится лишь русскими одиночками. Азиатская нетерпимость и узость, европейская алчность и серость. Европейская жеманность и азиатская пустота.

Слушаешь русского актёра, музыканта, учёного — слышишь европейский голос, ясный, братский и прямой; как только встречаешь политика или дельца — это Византия, уклончивый голос, вороватые глаза, бандитские жесты.

Никогда со времён Елизаветы, партия свободы не была столь осиротевшей, лишённой элиты, как в России XXI-го века; нельзя без

ностальгии припоминать об аристократах времён [Пушкина](#), о социалистах времён [Достоевского](#), об интеллигенции времён Чехова или даже о диссидентах времён Пастернака — продажные олухи голосуют сегодня, при достаточной свободе, за... продажных бандитов у власти.

Русский XIX-й век: *борьба между интеллектуалами и абсолютизмом при молчании народа* — А. Камю — *La lutte entre les intellectuels et l'absolutisme, en présence du peuple silencieux*. XX-й век: борьба между народом и абсолютизмом при агонии интеллектуалов. XXI-й век: плутовство, без абсолютизма и интеллектуалов, при болтливом, диком и ненавидящем свободу народе.

Почти чудесным образом свобода и разум были предложены постбольшевистской России. Что она из них извлекла? — безжалостное насилие, дикая жестокость, рабское ханжество, эти средневековые черты вновь всплыли, сопровождаемые ненавистью и чувством неполноценности, всегда низкими, всегда достоевскими. *Из нас, как из дерева, — и дубина, и икона* — русская пословица.

Кто ещё помнит русские перепалки с европейской свободной глубиной, с азиатской утончённой нежностью? Кто заново откроет то, чего ни у кого не было: широкую и открытую душу, загадочную для европейцев с их запрограммированным поведением, невыносимую для азиатов, скрытных и импульсивных?

Баран узнаёт себя в рынке, а робот — в правиле; русские, и здесь, остаются в стороне: от правила без рынка они перешли прямо к рынку без правила.

Всякая национальная особенность — лишь неспособность достичь более общечеловеческого языка. Истинное противостояние в интеллектуальном споре — не между универсальным и частным, но между универсальным трепещущим и универсальным механическим. Грек и француз склоняются к механике, и на месте — финальная гармония. Немец и русский тянутся к трепету, и страшные трещины приводят к искажению их (со)зданий. Чтобы общий дом был приятен для жизни, не следует толкаться у потолка, ни биться головой о стены, ни восторгаться руинами лар: в обществе надлежит хранить бараний или роботический покой.

Газета говорит мне почти всё о Европе, почти ничего о России. Музыка говорит мне почти всё о России, почти ничего о Европе. Роман даёт мне предчувствие того и другого в равной степени. Лишь поэзия ничего не раскрывает, она — само изобретение климатов и пейзажей.

Русский с русскими романистами и композиторами; немец с немецкими поэтами и философами; француз с французскими мыслителями и архитекторами — таков я, хотя я не притязаю ни на одну национальность. Седи народов я у себя — с русской народной песней, с немецким студентом, с французским поваром.

Золото Рейна, Замки Луары, Бурлаки на Волге — мечтаемые, восхитительные, приковывающие.

Француз, как и древние, жаждет равновесия и покоя; русский мечется в беспокойстве души. Не умея хорошо размышлять, он у себя в нечленораздельном возбуждении. *Немцы возвышаются через размышление вместо того, чтобы успокаиваться* — Стендаль — *Les Allemands s'exaltent par la méditation au lieu de se calmer*. И почему бы не пойти на компромисс,

посвятив разум — покою, сердце — восторгу, а ум — размышлению?

Равенство для русского — из области мечты, а любовь к родине — из реальности; у немца всё наоборот: *Любовь к родине заставляла немецкий народ умирать, но он впал во всеобщее презрение, когда последовал реальным обещаниям революции* — Гитлер — *Die Liebe zum Vaterland ließ das deutsche Volk sterben ; erst als es den realen Versprechungen der Revolution folgte, kam es in die allgemeine Verachtung*. Именно Австро-Венгрии З. Фрейд посвящал своё распрекрасное либидо.

Англичанин, немец, француз, русский видят в своей родине соответственно — защитницу, музу, богиню, мать. Отсюда их склонности — к шалостям, к самозабвению, к возведению статуй, к слезливости.

Тончайший поэт говорит самой обворожительной из женщин: *То, что моя настоящая родина — Россия, принадлежит к тем великим и таинственным очевидностям, которыми я живу; но всякая попытка постичь её, через книги или людей, приводит скорее к удалению, чем к сближению* — Рильке — *Daß Rußland meine Heimath ist, gehört zu jenen großen und geheimnisvollen Sicherheiten, aus denen ich lebe, — aber meine Versuche hinzugehen, durch Bücher, durch Menschen sind mehr eine Abwendung als ein Näherkommen*. В сомнении, что отделяет меня от тебя, Россия, я бормочу это признание, которое нельзя спутать с похожей выходкой Ницше о Польше.

Семья, у всех, всегда первая забота: итальянец — сестра, немец — потомки, американец — сегодняшний сожитель, русский ищет подлинного брата, француз — подлинного отца.

Приезжая во Францию, русский хочет видеть повсюду д'Артаньянов, видит лишь потребителей и начинает сетовать на исчезновение мира мечты. Француз отправляется в Россию, чтобы изумиться перед юродивыми — водкой, икрой, цыганской музыкой — наталкивается на продажных чиновников и кончает тем, что видит в ней лишь мусорную свалку мира. Прозорливые обоих лагерей понимают, что искомое очарование обязано несуществованию предмета, их интригующего, что удваивает их симпатию.

Улыбка вписана во французский пейзаж и характер; насмешка составляет русский климат и темперамент. Француз — весел, русский — язвитель. *Француз осмеивает, потому что смеётся, русский смеётся, потому что осмеивает* — В. Жуковский. Первый знает, что лучше над жизнью смеяться; второй спрашивает себя, не лучше ли над ней плакать.

Перед русскими я веду себя как размазня-демократ, благоразумный и застенчивый; с французами, фанатичный и жестокий, я недалёк от душителей свободы. Лицемерие? Двуличие? Бесформен, без потолка и дна? И я даже не знаю, где больше истины.

По мнению лорда А. Теннисона, у русского — ноги последнего из людей: *растоптаны последними и низшими из людей, холодносердечными московитами* — *trampled by the last and least of men, icyhearted Muscovites* — ну пусть ноги, но что до сердец, ты забыл либо их место, либо незнаком с надёжными термометрами. Тот, кто видит в русском last and least, вероятнее всего покоится вдали от горизонтов и ещё дальше от твердей, в доброй середине, посредственности, плоскости.

У Запада культ воли, у Востока культ преходящего. Русские видят в

воле лишь воплощённую преходящность, а в преходящности ценят лишь долю воли. *Это изобилие — лишь недостаток; это желание всего — лишь беспомощная неспособность ограничить себя* — Г. Гофмансталь — *Dieser Überreichtum ist eigentlich Mangel; dieses Alleswollen nichts als die hilflose Unfähigkeit sich zu beschränken.*

Слова-символы-идолы: чистота — для Германии, благость — для России, красота — для Франции. Худшие из мерзостей рождались из противопоставления одного идола двум другим; прекраснейшие триумфы — из испытания своего идола другими.

Окружённый необыкновенными людьми в России, кончаешь тем, что почти забываешь тамошнее отвратительное общество, в которое погружён. *Государство, устойчивость которого зависит лишь от безучастия его граждан, заслуживает скорее название племени, чем общества* — Спиноза — *Civitas, cujus pax a subditorum inertia pendet, rectius solitudo, quam Civitas dici potest.* Восхищаясь состоявшимся европейским обществом, я прихожу к тому, что перестаю интересоваться его отталкивающими людьми.

Немецкий филистер и философ, французский синдикалист и интеллектуал живут в одной среде, с одним видением благого, прекрасного, истинного; никто из них не считает себя побеждённым или подчинённым. У русского жулика и поэта мало общего, но первый подавляет второго: *Страна обладала задатками духовного рая, а стала адом серости* — И. Бродский.

В познании человека француз склоняется над *как*, немец — над *где*, англичанин — над *когда*, русский — над *кто*. *Француз играет, немец мечтает, англичанин живёт, русский обезьянствует* — Гоголь.

Согласие, не по принуждению, но по доброй воле, с чрезмерно серой, но связной картиной мира без крыльев, без слёз, без чар, — это и есть Европа. Свободное выражение власти стада. Россия — безумные, смехотворные пастухи, шаткое, задыхающееся, ошарашенное, расколотое, разнородное стадо.

Всё умное и динамичное в Европе идёт в политику или в дела. Лишь неспособные и робкие довольствуются мечтанием или пустословием. Как ладить с Россией, где происходит обратное?

Мерило народа не то, каков он есть, а то, что считает прекрасным и истинным, по чём вздыхает — Достоевский. Один хотел бы быть человеком природы, и в результате — разбойник, бродяга и отшельник кишат. Другой мечтает об успехе бакалейщика, желание почти всегда исполняемое Гермесом, богом эпохи.

Социальный успех: для американца — начать с пустыми карманами и кончить миллионером; для француза — обменять свою провинциальную забегаловку на парижские ужины в бульварных кафе; для русского — из мучимого стать мучителем.

Песнь, приветствующая прекрасную мечту, и забывающая слово; танец, где бьётся прекрасная душа, и выдаётся неуклюжая ходьба; музыка, трогающая наши лучшие фибры, и рычания, леденящие кровь; ум, достигающий заоблачных вершин, и глупость, прячущаяся от стыда, — такова эта страна, самая неуравновешенная и самая обескураживающая в мире. *Над этими песнями обиженно смеётся обыватель, святой и провидец слушают их со слезами* — Г. Хессе — *Über diese Lieder lacht der*

Bürger beleidigt, der Heilige und Seher hört sie mit Tränen. Тройная загадка для Ницше: У злых людей нет песен. — Но откуда же песни у русских? — Böse Menschen haben keine Lieder. — Wie kommt es, daß die Russen Lieder haben?

Прогресс, материальный, духовный или политический, обеспечен требовательностью к потребностям человека, желанием подражать лучшим, самым развитым, или догнать их. Непреодолимая скудость русских ожиданий объясняет огромное отставание России в области житейских рамок, гражданских свобод, культуры труда, цивилизационного обмена. Аристократия былых времён и какистократия нынешняя пережили одно и то же злоключение.

Свободный человек, безнадрывно выбирающий выгодную мерзость; раб, поставленный инерцией катаклизма на путь прекрасной но гибельной утопии, — холодная война была этим. Свободный и богатый человек побеждает и всегда будет побеждать, к несчастью бедного и слабого.

Этот народ, сверходарённый для внутренней свободы, приходит лишь к уходу из действительности, в то же время преклоняясь перед тиранией. И чего можно было ожидать от строительства социализма? *Не доверяют осуществление социализма народу, наследственно испорченному тиранией* — Э. Ионеско — *On ne confie pas la réalisation du socialisme à un peuple héréditairement taré par la tyrannie.*

Бетон и козий помёт покрывают мрамор античной Греции. Боюсь, что русский XXI-го века увидит русскую культуру двух предыдущих веков теми же глазами, что сегодняшний грек — храмы Афин, Олимпии или Дельф. Что до шансов религиозного обновления, если А.Мальро обманулся

один раз, то [О. Шпенглер](#), увы, ошибается дважды: *В будущем истинная аристократия и истинное жречество сложатся на русский манер — In Zukunft werden sich echter Adel und Priestertum russischen Stils herausbilden.*

Наследник [Пушкина](#) или [Толстого](#) чувствует себя сегодня чужим в Москве, как наследник Гильгамеша — в Вавилоне, наследник Птолемея — в Александрии, наследник Иисуса — в Иерусалиме, наследник Сенеки — в Риме, наследник Константина — в Стамбуле. В наши дни голоса великих могут естественно звучать лишь в Париже, прежде чем от него останется лишь память, запечатлённая где-то в Нью-Йорке или Солт-Лейк-Сити.

От трёх моих приёмных родин — *unheimliche Heimaten* (З. Фрейд) — у меня остаются три тупиковых изгнания, три безраздельные ностальгии: немецкая поэзия, русская душа, французский ум. *Тоска по родине без родины* — [Ницше](#) — *Heimweh ohne Heim*. Мне случается сожалеть, что я не еврей, как П. Целан или [Дж. Штейнер](#), чтобы заградиться в отвлечённом безучастии.

Однажды музыка московских переулков и парижских площадей умолкла; почти в тот же миг тишина Дельф или Геркуланума начала пробуждать во мне внутреннюю музыку; долговечная музыка — это непостижимое время, а не освоенное пространство.

Нация определяется своим телом, своим умом, своей душой, то-есть — своим обществом, своей цивилизацией, своей культурой. Я чувствую себя чужим в русском обществе (из-за его грубости и раболепия) и во французском обществе (из-за его мелочности и атавистичности чувств). Русская литература, музыка, театр мне так же близки, как немецкая философия или французская литература. Наконец, цивилизация, то есть

свобода, красота, справедливость, привязывают меня к Франции гораздо больше, чем к России.

Когда русское варварство встречается американское, ум без буквы или буква без ума, — кажется, будто это роботизированный медведь или робот в глубине берлоги.

Робот стал общим идеалом французов, немцев, русских; он там соответственно — хороший продавец, хороший производитель, хороший жулик. В нём не отыскать следа рыцаря, героя, святого.

Из дюжины звёздных часов человечества Ш. Цвейг отводит три России: благодать [Достоевского](#), бегство [Толстого](#) и... plombированный вагон Ленина.

Франция умеет придать первому шагу уверенность пути и глубину целей. *Франция есть страна первого шага и первого почина идей* — [Достоевский](#). Ещё во времена Нерона это знали: *Галл, создатель начал* — Светоний — *Initium facientibus Gallis*. Россия перехватывает чужие идеи, пытается водрузить их на утопическую высоту, не умея ни построить второй, ни измерить последний шаг. *Россия — страна, где всё начинают и ничего не оканчивают* — Д. Мережковский.

Немец понимает французский урбанизм, англичанин — его политику, испанец — его философию, итальянец — его гастрономию, но лишь русский видит в нём рыцаря, не понимая, что такое рыцарство. *Наше взаимоотношение с Францией — очарование без понимания* — [Цветаева](#). Любят лишь то, чего не понимают. Мир соткан из умов-фантомов и фактов-атомов. Фантомы очаровывают взгляд, атомы довольствуются глазами.

Француз прав, находя глубину — в коже, ибо, во-первых, он умеет ценить ласку, а во-вторых, его кожа касается его глубины, тогда как у глубокого немца нет кожи, а у раненого русского есть только она.

Русский хочет всё оценивать по мерке души, француз сводит ценность человека к уму. Но я никогда не пойму, почему русский восхищается жуликом, бандитом, выскочкой, столь мало уважающими душу, ни почему француз превозносит М. Пруста, Ф. Селина или М. Уэльбека, столь явно лишённых всякого ума.

Полярная ночь, чарующее утро приглашают Россию прожить день свободы и света, но она тотчас бросается к закату без обещаний, — ей нужна жизненная неудовлетворённость. *Россия долго тыла в рабстве. И теперь, оттаяв, не оживает, а разлагается* — З. Гиппиус.

Одна из этих печальных русских надежд: оттепель слов и взглядов после того, как идеи и факты заморозили кровь и глаза.

Выход русских из культуры — таков верный и печальный признак XXI-го века. *Знак грядущего века [XX-go] — вхождение русских в культуру — Ницше — Zeichen des nächsten Jahrhunderts – das Eintreten der Russen in die Kultur.* Остаётся музыка, но больше нет Берлиоза, чтобы это заметить: *Мне больше не о чем думать для моей музыкальной карьеры, кроме России — Je n'ai plus à songer pour ma carrière musicale qu'à la Russie.*

Свобода, подаренная Горбачёвым, никого не сделала счастливым — самое вопиющее доказательство врождённой рабской покорности русского.

Музыка человека культуры становится неслышимой, гам человека природы в нынешней России упрощает его обращение к американизированному бескультурному гомону, то есть к роботизации. *Русские и китайцы — лишь ещё бедные американцы* — А. Кожев — *Russes et Chinois ne sont que des Américains encore pauvres* — баран превращается в работа самопроизвольней и удачней, чем человек..

Русская душа — несчастная смесь широкого славянского лиризма и глубокой татарской грубости. Французский ум — счастливая встреча латинской напыщенной, элегантной и лёгкой широты с английской глубокой иронией и германским высоким лиризмом.

Я чувствую своё родство с [Пушкиным](#), [В. Набоковым](#). Истерики [Достоевского](#) или благие пожелания [Толстого](#) оставляют меня скептиком. Во Франции — никакое родство с Мольером, Расиным, Мариво немыслимо; сыновние и почти племенные чувства — к Франции Монтеня, [Вольтера](#), [Валери](#), [Р. Дебрэ](#). Я знаю, что первая Франция господствует и всегда господствовала в... сердцах французов, а вторая — лишь в их головах.

В 1789-м году кюре, раздавленный аристократом, неверующим и легкомысленным, и санкюлотом, легковёрным, но завистливым, был низведён до престижа клоунов или глотателей огня (поп в 1917-м году претерпел ту же участь). Сегодня и учёный, удручённый налогом и экологией, и налогоплательщик, прикованный к стадиону и витамину, презирают интеллектуала, который кончает в облике *первого идиота деревни* или общественного паразита.

Укрывшийся в Стэнфорде французский философ, чтобы доказать

превосходство американской культуры над французским варварством, приводит организацию службы тележек в аэропортах, поведение автомобилистов на перекрёстках, правила покупок в кассах супермаркетов. И Citations' Index столь же убедителен. Имя современного варвара известно — робот. И русский баран присоединяет к этому своё одобрительное блеяние.

Стать русским сегодня: пропаганда, ненависть, медали. Стать американцем: гимн, конкурентоспособность, заносчивость — любой может принять этот вызов. Стать французом: элегантность, песня, ирония — понятны и колебания, и поражения, и враждебность обывателя.

Политика, литература, мечта — мертвы в России; ни одной личности, харизматической или выбивающейся из стереотипа. Зато три прекрасные встречи во Франции: жанр — *Озарённое незнание* Г. Тибона; благородство — [Р. Дебрэ](#); стиль — [Чорана](#). Между персонажами нет ни единой общей точки. Скрытный коллабо, нерешительный революционер, колеблющийся бродяга. Источники многогранного восхищения, без пристрастного надзора.

Нации — деревья, и они могут восхищать или отталкивать любой качеством своих сезонов, коры и кроны; некоторые ценны лишь плодами, бросаемой тенью, или щедрыми гнёздами. Свободное русское древо потерялось в рабской и безликой чащобе. Французское древо, в своей самой привлекательной ипостаси, — одно из самых полноценных; потому я, больше чем французы корней или ветвей, ценю француза целого древа: соков, цветения, теней, почкований и прививок.

Культурный субъект, подчинённый коммерческому проекту, — такова

американизация России и Франции. *Если Франция когда-нибудь американизируется, её изящный цвет погибнет безвозвратно* — Амьель — *Si jamais la France s'américanise, sa fleur raffinée périra sans retour.*

Больше, чем общее вырождение русского языка, меня огорчает его однообразие. Но и во Франции качество слов, темпераментов или идей в совете министров, в светских салонах, в советах директоров или литературных жюри то же, что в барах или на стадионах. Питать обратную иллюзию совратило столько прекрасных французских перьев, от Бальзака до [Р. Дебрэ](#). Слава богу, мои тени не отброшены ни преуспевшими ни падшими. Ни, впрочем, стенами моего собственного обиталища; архитектура руин мне поможет в этом.

Не умея ничего произвести сами, русские питают тот же культ механики, что и американцы; у русского затронута лишь эпидерма; у американца — сам мозг. [Хайдеггер](#), Ортега-и-Гассет, [Г. Хессе](#) и наши парижские интеллектуалы глупо обличают царство техники, тогда как оно лишь одна грань мира наживы, столь укоренённого в народных сознаниях, что, если бы завтра поэт зарабатывал больше инженера, толпа принялась бы умиляться серенадам и воскурять фимиам их певцам.

Для русских люди прозрачны, человек непроницаем. Среди тех — нечего искать; перед этим — всему верить. Речь идёт лишь о том, где найти человека. *У французов больше веры в человека, чем иллюзий о людях* — [Валери](#) — *Les Français ont plus de foi dans l'homme qu'ils n'ont d'illusions sur les hommes.*

Все органические культуры в конце концов падают под натиском механических цивилизаций, и чем выше была культура, тем болезненнее

падение. Поэтому француз сегодня — самый несчастный из европейцев, а русскому там вполне уютно.

Русская культура, нынче, равняется на американскую масс-культуру. Те, кто со времён Французской революции господствовал в европейской культуре, самоопределяются своими недостатками: нехватка средств — прогрессисты, пустота целей — абсурдисты, зияние начал — презентисты, адепты текущего века. Первые метили в коллективные горизонты, вторые — в личные глубины, третьи — в плоскость под ногами. Все — озлобленные, дышащие духом времени и им вдохновляющиеся, и, в конечном счёте, — дети природы. Человек культуры обращается к великим людям, все — в гробах, все — в прошлом, все — преданные одним и тем же, не связанным с текущим временем, ценностям. Его талант даёт ему средства, его ум подсказывает ему цели, его благородство диктует ему начала. И именно благородства более всего недостаёт сегодня.

С англицизацией мира, много выигрывают в знании и власти и много теряют в воле и, главное, в ценностях. Есть знание, нет желания; отвергнуты Платон, желающий знать, и я, умеющий желать. И Х. Борхес ошибается в диагнозе: *С годами мы перешли с французского на английский, а с английского — на неведение — Con el decurso de los años pasamos del francés al inglés y del inglés a la ignorancia*. Русский следовал той же траектории.

Der Deutsche besorgt die Wurzel und den Stamm, der Franzose die Blüten, die Engländer die Früchte — Кант — Немец занимается корнями и стволом, француз — цветами, англичане — плодами. Остальным остаётся заниматься соком, который делает из всего этого — древо. Или искать его тенистость. Или раствориться в лесу, что и делает русский.

Все в нынешней России похожи на каторжан, бандитов или пьяниц, на Ж. Жене или на Есенина.

Мне скучно во Франции, потому что все там похожи на Вольтера — Бодлер — *Je m'ennuie en France, parce que tout le monde y ressemble à Voltaire*. Ты был бы счастлив сегодня во Франции, где все похожи на тебя, на тебя и твоих присно-подобных. Писатель — это не его дидактика, а его метафоры. И добрый старый лучник **Вольтер** смеётся над вашими неосторожными стрелами. И писатель — не единственный, кто живёт метафорами: *Революционеры живут и умирают от метафор* — **Р. Дебрэ** — *Les révolutionnaires vivent et meurent de métaphores*. Сырые (свежие) метафоры — ещё лишь слова-начинатели, сырые (принятые) метафоры — уже, увы, идеи-завершатели.

Древо жизни, восточное и магическое, — ориентир русских, обезличенных непроходимым лесом, уход за которым вверен Западу, реальности. Руины и древо — два лучших хранителя наших творений: *Франция, я наполняю твоим именем пещеры и леса* — дю Белле — *France, je remplis de ton nom les antres et les bois*.

Бандитизация через жульничество — современная русская чума. *Кретинизация через философию — современное явление во Франции. До сих пор лишь Германия, казалось, обладала этой привилегией* — **Чоран** — *La crétinisation par la philosophie — phénomène moderne en France. Jusqu'à présent l'Allemagne seule paraissait en avoir le privilège*. Пора упразднить уроки философии в школе и расплодить рабские скопища журналистов или социологов. Отменить курсы полноты для тех, кто чувствителен к пустоте.

Россия выражалась в песне, танце, церковных луковицах. Всё американизируется или византизируется в этой России, забывшей своё прошлое. *Франция — это незабудки пены и фонтанов, каскадов и пропастей, способ обращения с кранами, взглядами девушек и временем, что уходит — Р. Дебрэ — La France est un revenez-y d'écumes et de fontaines, de cascades et d'avens, une façon de s'y prendre avec les robinets, les regards des filles et le temps qui passe.* Родина — не то, что просто любят, она то, что любят, не зная почему.

Я перечитываю себя и не нахожу ни следа мест, где я охотился за книгами или зарабатывал на жизнь; в моей писанине вездесущи не Москва, не Париж, а Средиземноморье, оно, освещавшее других, оно, омрачившее меня. Мне не так уж и близки мои руки и ноги; я хочу ублажать мою душу словесными ласками, в тени посаженного моим умом древа.

Московский бандит и парижский интеллигент совращены долларovým весом джаза или Голливуда, — а я должен призывать валахов, чтобы поддержать мой интерес к Пор-Роялю или салону мадам Жоффрен.

Русская культура рождалась, следуя, издали, за Европой века Просвещения. Механически переводят *Aufklärung* как *век Просвещения*. Но *Aufklärung* (гуманистическое, народное и тёплое течение) лежит сегодня в развалинах, среди машин, тогда как *les Lumières* (царство разума, холодное и элитарное) торжествуют на каждом шагу в роботических головах. Немец наследует греческую трагедию, а француз — римское право.

Если быть — значит мыслить или действовать, русская пословица: *Там хорошо, где нас нет* — удивительно тонка. *Где хорошо, там и родина* — Цицерон — *Patria est ubicumque est bene*. И когда там станет плохо,

поймёшь, что ошибся (с Аристофаном или Дж. Милтоном: *our country is wherever we are well off* или, ещё лучше, Фенелон: *Родина свињи повсюду, где есть жёлуди — La patrie d'un cochon se trouve partout, où il y a du gland*). Родина — страна, которая хочет разделить твоё страдание, иначе говоря, одиночка всегда изгнанник. Или Робинзон, или хороший драматург: *Ubi pater sum, ibi patria* — Ницше — *Там где я творец, там и родина*. Или хороший толкователь: *Родина не там, где ты живёшь, но там, где тебя понимают* — К. Моргенштерн — *Nicht da ist man daheim wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird*. Или хороший зритель: *где я понимаю и понимаю* — К. Ясперс — *wo ich verstehe und verstanden werde*. Или хороший скульптор: *Где я творю себя, там моя родина* — Валери — *Où je me crée, là est ma patrie*. Или ангел, дитя небес, родины твоего голоса, ангел, оттуда изгнанный.

Худшее, что ждёт Европу, — окончательное согласие между американцами и китайцами, между жалким идеалом и отсутствием идеала, между унылым американским непониманием европейской культуры и, в последнее время, ошеломляющим китайским проникновением в итальянскую оперу, русскую драматургию, немецкую философию, французский роман — проникновением механическим. Отчаяние живой страсти, подавленной холодной техникой, — вот что мы будем переживать.

Чем больше француз любит свою страну, тем больше он приближается к универсальности; немец, напротив, скупивается в своём провинциализме. Наполеон стремился навязать идеал свободы всему миру; Гитлер, напротив, хотел оставить французов с их парламентскими склоками, англичан — с их лордами, русских — с их комиссарами. *Патриотизм француза состоит в том, что его сердце разрывается от пыла; патриотизм немца состоит в том, что его сердце сжимается, как кожа на холоде* — Г. Гейне — *Der*

Patriotismus des Franzosen besteht darin, daß sein Herz durch die Wärme sich ausdehnt ; der Patriotismus des Deutschen besteht darin, daß sein Herz enger wird, wie Leder in der Kälte.

Азия врывалась в окно моей родной избушки; Европа напрашивалась на страницы моих книг. С тех пор как я не в России, два континента прибавились к моим картам: в Германии я открыл Америку, а во Франции — Африку.

Две странные траектории: революционный вождь Я. Свердлов приказал казнить царскую семью и членов их свиты, включая доктора Боткина; брат первого, З. Пешков, становится послом генерала де Голля, корпусным генералом, кавалером Большого креста Почётного легиона; внук второго, К. Мельник, возглавит французские спецслужбы, чтобы расстраивать происки КГБ.

Диоген и Ж. де Местр встречают афинян или спартанцев, французов или русских, но не находят человека; Э. Ренан открывает культуру человека прежде культуры француза или немца; первые следуют природе, а второй, слушая свою душу, касается этических и эстетических глубин культуры.

Русские обретают инстинкт свободы и достоинства лишь перед иностранным захватчиком — неграмотные крепостные времён Наполеона или бывшие узники Гулага перед Гитлером. И американцам следовало бы немного поинтересоваться Историей, чтобы не совершить непоправимое. *Русские, кажется, ограниченные, наглые, даже глупые люди, но можно лишь молиться за того, кто против них — У. Черчилль — Russians may seem narrow-minded, impudent, or even stupid people, but one can only pray for those who are against them.*

Мир моего детства не был создан человеком; в нём царили дерево и медведь. Человеческие проявления там были лишь ужасом и уродством. *Это выдрессированные медведи заставляют меня сожалеть о медведях необработанных* — А. Кюстин — *Ce sont des ours façonnés qui me font regretter les ours bruts*. Принадлежать этому загадочному миру наполняло меня дневной, смиренной и благочестивой радостью. С тех пор я живу в мире, созданном исключительно цивилизованным человеком, с безупречным вкусом, в прозрачности и доброте; дерево уступило там место лесу, а затем — парку; гордыня и неверие вкрадываются в мои механические беспокойства, чтобы лучше подчеркнуть мою непринадлежность этому миру.

Элегантность — культура прошлого. Варварство — культивирование настоящего. Варварская элегантность советского — культ будущего. Рассуждать о прошлом, покидать будущее. Выйти из настоящего, вставить прошлое. *Современный человек — это слабоумное изумление перед своим веком* — Пушкин. Настоящее мне принадлежит, потому я не могу быть от него свободен, я его заложник; я свободен лишь перед недостижимым, заложник вечности. *Страх отстать — расписка в собственной овечьести* — Цветаева.

Душа истинной культуры — в культуре души выдуманной. Русская мечта велика, её реальность — жалка. *Реальный американец вполне симпатичен; уродлив идеал A(a)méricain* — Г.К. Честертон — *The real American is all right; it is the ideal American who is all wrong*. Чем больше задерживаешься на том, что видишь, тем больше ты варвар.

Все варварские эпохи, включая нашу, определяются привязанностью к

цивилизации (будь она просвещённой или тёмной) в ущерб культуре, что отдаёт великую русскую культуру на съедение её жалкой цивилизации. Культура предаётся художественной мощи прекрасного, благу лирической воли, благородству духовной ценности; цивилизация же знает лишь истину роботического знания или баранье невежество.

Варварство — ни недостаток разума, ни недостаток природы, но недостаток иррационального и выдуманного (но взгляните на изобретение безумного варварства в *Весне священной*, потрясающее всякого цивилизованного человека). Разум возвращает нас к природе.

Сделать *table rase* из прошлого, одержимость русских революционеров, — не истинное варварство; истинное — жить только во времени, не замечать вневременного, проходящего сквозь эпохи, языки, знания.

Современный варвар — почти противоположность древнему дикарю. Мечтают лишь дикари (что объясняет лирическое ничтожество нормализованных американцев и упорство бреда у неисправимых русских), и варварство сегодня можно определить как отсутствие мечты. И истинного счастья: *Машины — единственные женщины, которых американцы умеют делать счастливыми* — П. Моран — *Les machines sont les seules femmes que les Américains savent rendre heureuses*.

Хорошее наследие прошлого не в наполнении и упорядочении нашей памяти, а в создании полезных ограничений, которые привязали бы наш ум лишь к былым тону и благородству, общий знаменатель которых зовётся высотой, — измерение, неведомое русским. Варварство — сохранять в памяти лишь факты, знания, системы, всё, обречённое на

посредственность. Вершина варварства — робот, живущий лишь формулами: *Исчезает честь — остаётся формула чести, что равносильно смерти чести* — Достоевский.

Русский ум увлекается коллективными идеалами, но его душа не может выковать индивидуальный идеал. Сегодня, идеалы коллективные — в руинах: античный эстетический идеал, христианский мистический идеал, коммунистический этический идеал. Даже в Европе бесстрастные души стали бесплодными и не порождают никакого идеала; современный человек ноет о пустоте, об упадке, о варварстве, тогда как ему следовало бы раскаяться в добровольном угасании его собственной души; но его роботизация кажется необратимой.

Боль, оценённая американским варваром, или жажда, выкрикнутая сытым европейцем, — подумай о них, чтобы взгляд, более чистый, чем твой, не увидел в твоих чернотах лишь серость, вполне читаемую.

О важности истоков цивилизации: все европейские абстракции восходят к пережитой культуре; все нормы американского пережитого восходят к основополагающим абстракциям. Мы возвращаемся к своим истокам; а потому робот — естественное состояние за океаном. Великая русская культура не пережита, она мечтаема; и лучше бы не переживать и её цивилизацию, столь она жалка.

Россия живёт в состоянии постоянного сумеречного кораблекрушения. Европа больше не знает ни сумерек ([О. Шпенглер](#)), ни кораблекрушения ([Хайдеггер](#)). Её потребность в светилах, выраженная в мегаваттах, удовлетворена; плоскость до всех горизонтов удовлетворяет прежний зов простора (Европа означала — широкий взгляд). Обходиться без светил —

это беспросветность.

Русский интеллектual формулирует одни иллюзии; европейский интеллектual присоединяет свой голос к общему обличению торговцев иллюзиями. Отчего выигрывают торговцы как таковые.

Этот потоп китча — живописного, музыкального, интеллектуального, архитектурного, — обрушивающийся из США на Россию, как и на Европу, кончит тем, что превратит все наши музеи, хлева, бистро, церкви, Замки — в конторы, в машинные залы, где бесшумный расчёт заменит песни, молитвы и экстазы.

Люди чётко делятся на две категории: те, кто за накопление, прогресс, новизну — без возврата, и те, кто за инвариантное, вневременное, неподвижное — в вечном возвращении. Бытие во времени, становление вне времени. Скорость или накал. Вечная Европа, ностальгирующая по своему прошлому, или Америка одноразовой текущей версии. Русские покинули клан вневременных, чтобы присоединиться, как все, к клану текущего, настоящего.

Русская культура следовала за европейской, отличаясь порывом к невидимому, называемому взглядом. Как только всё вверяется одним глазам, то-есть рассчётливому разуму, культура переживает упадок.

Два века нам возвещают о вырождении европейской культуры, которое якобы идёт от бунтарского русского нигилизма. А ведь это холизм стадный, американский или китайский, берёт на себя эту задачу, с гораздо большей действенностью. *Падение всего из-за всех! Падение всех из-за всего!* — Ф. Пессоа. Никакой контрреформы, никакой контрреволюции в виду;

отупение, то есть роботизация (следующая за баранизацией, этим совершенным и окончательным муравейником — обречённым [Валери](#) на постоянство), кажется необратимым. И как логическое следствие — угасание взгляда, ибо именно культура его формирует ([Ницше](#)).

Некогда Россия держала голову высоко благодаря своей великой культуре; сегодня она унижена своей жалкой цивилизацией, а она становится единственным критерием превосходства. В Европе Замки должны были ослеплять великолепием и элегантностью, книжные лавки — продвигать благородство и ум, лаборатории — свидетельствовать о глубине и величии. От них исходила Гордость. Сегодня эти места служат исключительно наживе, в компании бирж, заводов и мюзик-холлов. Никакого спасительного идеала; комплекс неполноценности перед американскими исследовательскими центрами, китайскими заводами. И нет большой политики без большого идеала. Горизонтальность, коллективная и чёткая, принятая обществом, унижает европейца, привычного к вертикальности, индивидуальной и безотчётной.

О важности хронологии сущности и существования, мечты и реальности: мифы, переполненные искусством и жизнью, готовили царство европейского разума; американский торгашеский разум породил механические мифы — причины и следствия. Русский разум всегда состоял в игнорировании разума и фабрикации мифов.

Гражданское общество никогда не существовало в России; оно было могущественным и индивидуалистическим лишь в Европе. В Америке я вижу лишь толпу: рыдающую перед проповедником или ревушую перед баскетболистами, хихикающую на благотворительном вечере или умиляющуюся перед фильмом о монстрах, адвокатах, гангстерах,

морпехах; никакой вертикальности, обширная плоскость, включающая Мит, Принстон и Пасадену.

Будь то цивилизация или культура, всё в России принимало размеры её необъятности. В Европе цивилизация горизонтальна, а культура — вертикальна; первая стирает, вторая рисует границы. То, что А.Токвиль говорит об Америке: *Толпа однообразных людей, ищущая пошлых удовольствий — Une foule d'hommes semblables, se procurant de vulgaires plaisirs* — применимо и к Европе; только эти стадности и пошлости имеют там гораздо больше нюансов.

Раздражаемая азиатской баранизацией, заражённая американской роботизацией, Европа теряет свою сущность, которая была её душой; эта душа в агонии, но отвращённая этими двумя чудовищами бескультурья, эта душа превращается в рассчётливый ум. И никакого добавления души не стоит ждать от России, культурно американизированной и политически китаизированной.

Никакое великое послание больше не приходит из России. Как и повсюду, *сообщать* там стало синонимом *творить*. Невежественный журналист господствует над образованным писателем. *Вы — почтари, а я слагаю письма* — Пушкин. Но почтари берут реванш: *Почтальон m'as-tu-vu, этот злой близнец, вытесняет человека пера, m'as-tu-lu и стыда* — Дж. Джойс — *Shem the Penman is taken advantage of by his evil twin, Shaun the Postman*. Пагубное американское влияние: *Америка мыслит кабель, а Европа — послание* — Р. Дебрэ — *L'Amérique pense le câble, et l'Europe, le message*. Слух людей обращён к машинам, послание, чтобы быть услышанным, всё больше нуждается в кабеле. Так послание, друг жизни и враг числа, обескровливается и оцифровывается. Что меня влечёт более

всего — вестник, ангел без Господа, без смятения и паники.

Ссылка на Историю, в нашем желании оторвать человека от злобы дня, бесполезна. В веках, лучше обустроенных, чем наш, вечные темы, инвариантные ценности, величие души обосновывались не глубже, чем в нашем. Люди всегда жили в текущей версии; речь идёт о том, чтобы заставить их мечтать о неизменном. Но эта потребность в неподвижности плохо сочетается с европейской суетой или русской беспорядочностью.

История практического европейского Человечества — перенос невозможного в сферы возможного. История мистического Человека, русского, — обратное, переосмысливание: *перевести сотворённое в несотворённое* — С. Вейль — *faire passer du créé dans l'incrée*.

Что такое ценность-вектор? — исток (отправная точка, начало) и единица измерения (требование, вкус, высота). История никогда не знала в них недостатка, но отныне мировая тенденция, даже русская, помещает исток — в середину текущего пути, а мера покидает высоту, вздымается из глубины и располагается в плоскости. Хороший русский геометр был поэтом, находившим в себе самом начала и измерявшим лишь невесомые вещи, имеющие вес лишь в высоте.

История писалась поэтами простора — и в пространстве, и во времени — История безграничного господства бурелома или безграничного господства августейшего заказчика исторических летописей. Глядя на поэзию снизу — мы видим самозванство её перспективы без поправок, вносимых случайными буднями, самозванство высоты, презирающей расстояния и объёмы. Подобно чтению Истории в горизонтали объективной европейской судьбы или субъективного русского видения. Во

всяком случае, поэзия выше Истории, ибо *первая живописует общее, тогда как вторая повествует частное* — Аристотель. Ценно то, что поэзия блистает качеством живописи, а не общностью; а История пресна из-за самого повествовательного жанра, а не из-за частных.

Тщетно искали бы вы связности или объективности в русских книгах по Истории. Всё там — метафоры, панегирики, анафемы. Вся литература, как русская, так и европейская, — в вариациях дюжины метафор. Талант: отполировать несколько из них по вертикали. Гений: взглянуть на всё сверху. Забавное совпадение: находятся люди, полагающие, что даже *всемирная История есть история различных модуляций нескольких метафор* — Х. Борхес — *la Historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas*.

Русская реальность столь безнадежно печальна, что лишь её апологетические или телеологические переводы заслуживают интереса. *Есть две реальности: одна историческая, другая музыкальная* — А. Блок. В первой — числа, во второй — ритмы. Жесты и послания. Факты и слова. Серьёзность и ирония. Первая всегда расстроена и клонируема, вторая всегда произвольна и невоспроизводима. Искусство ближе к уху, чем к глазам; и то, что слышит первое, — часто галиматья для вторых. Сравните: картезианская историчность и паскалевская музыкальность. А. Блок расслышал музыку Ленина точно так же, как Хайдеггер — пафос Гитлера, в одном из этих трёх *ek-stasen* временности (*drei Ekstasen der Zeitlichkeit*), которые Ницше называл *монументальной, антикварной или критической* — *monumental oder antiquarisch oder kritisch*: лишённая органической музыки, реальность презрена Музами и обречена пыли музеев или механической музыке во льду — Пастернак.

Гуманизм — это уважение к одиночеству человека (перед Богом, Историей, биологией) и к его величию (перед экономикой, машиной, природой). Примеры антигуманизма: религия, рынок, Государство — Россия блистала своими крайностями во всех этих запредельностях. Но однажды, неизбежно, я теряю уважение к собственному одиночеству и вижу ничтожество своего величия — вот оно, начало истинного ада для моего тенелюбивого самолюбия или истинного блаженства — для моей негаснущей любви.

Европа помнит о своих массовых потерях, но не скорбит о своих канувших одиночках; Россия делает обратное. Работа забвения или траура: каждая эпоха изгоняет или перезахоранивает тех, что исчезли: Бога, Историю, непредсказуемость. Опровергнутая мысль, безразличная женщина, ускользнувшее слово должны бы трактоваться как пропавшие без вести, а не утерянные. Меланхолия безвестия, а не печаль или ностальгия утраты.

Не действие составляет величие события, но либо глубокий европейский взгляд, который его развивает, либо высокий русский миф, который его обволакивает. *Историческое созерцание, где великая мысль становится делом, а высокое чувствование — подвигом* — Белинский. История должна была бы состоять из моих собственных мифов, единственно способных придать блеск делам. Блеск важен главным образом в глазах других, тени отражают мой собственный взгляд.

Франция приносит мне свет, Германия учит меня располагать тени, но предметы для их отбрасывания идут из моего русского детства. Тени, превращённые в образы.

История закончена, ибо человек больше не историческое существо. Он отныне лишь анекдотичен. Он живёт в синхронии — утилитарной в Европе, паразитической в России. Всякая диахрония переживается отныне как анахронизм.

Что русский разочаровывается в своём прежнем эсхатологическом видении, и что в Европе История людей творится отныне в отсутствие человека — это прискорбно. Но что, в то же время, человек примиряется с жизнью без основополагающей Истории — зрелище более удручающее. Спасаются эвфемизмами: *Демократия, упражнение в скромности* — Камю — *La démocratie, exercice de la modestie*, или — клептократия, упражнение в дикости.

Русский был непредсказуем, неисчислим, невоспроизводим, что делало его близким Истории, всецело дискретной, не ведающей никакой непрерывности и состоящей из одних поворотов. История соткана из начал со случайными последствиями. Но сегодня сущность человека предсказуема, исчислима и воспроизводима.

Закрытое русское общество проецируется на твердь вертикальных сводов или бездн; открытое европейское общество — на плоскость Истории. В первом принижают непокорные головы — палкой и пустой демагогией; во втором их прижимают — морковкой и пустотой небес. Эта оппозиция между закрытым и открытым, столь банальная в социальном контексте (Бергсон к ней присматривался), становится захватывающей, если применить её к одинокому человеку, где измерения переворачиваются: закрытый человек валяется в плоскости, а открытый человек предаёт себя небу.

Русские не интересуются Историей, ибо для них она не иллюстрирует никакого скрытого смысла и не преподаёт никакого урока: *Закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их духовности* — В. Ключевский. Но, как и Библия, История поставляет словарь. Каждый свободен писать поверх чисел и имён, палимпсестом, свою собственную легенду — репрезентативную или интерпретативную.

Русский отказывается видеть в Истории критические или органические периоды. Именно его человеческий глаз создаёт разрывы и непрерывности и заставляет признавать ложного победителя или истинного побеждённого: *Традиция угнетённых — это надежда разорвать непрерывность истории; непрерывность — это непрерывность угнетателей* — В. Беньямин — *Die Tradition der Unterdrückten ist eine Hoffnung, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen ; die herrschenden Kräfte stellen sich in der Kontinuität dar*. Обращённый к будущему — это глупое предчувствие, к настоящему — поучительная обида, к прошлому — умное чувство.

Для русского конец Истории означает, что ковать или претерпевать свою судьбу отныне синонимы. Из вдохновительницы бытия (Гегель) История превратилась в производительницу обладания (Маркс). Всякий волюнтарист отныне лишь оппортунист. Отсюда культ Наполеона и забвение Петра Великого.

Сегодня в России худшая из толп (равнодушная к свободе) и худшие из элит (отвращающиеся от культуры в пользу примитивной природы). В Европе толпа — лучшая за всю историю, а элита, быть может, наихудшая. Вторая следит лишь за движениями толпы, сравнивает их, возмущённая, с блеском былых элит и разражается сетованиями о вырождении мира.

Взгляд наших элит — в увиденных вещах, а не, как некогда, в избирательном вкусе глаз.

Торжество наживы, в европейских сделках или русских кражах, упадок утопий — первопричины нынешнего царства серости в головах. Самозванство русского, этого человека мечты, стремящегося к большему братству, состраданию, эмоциям, окончательно сметено справедливым натиском людей дела, провозглашающих культ почвы и презрение к высоте. Дело приносит, мечта стоит. Впервые в своей Истории человечество — сирота своих поэтов.

История имела смысл — и представляла интерес для изучения, — когда град держал в прицеле европейский миф или русскую утопию в этнической, государственной или цивилизационной форме. С тех пор как история движима не восторгом, а апатией (*Не позволять порыву становиться восторгом; добродетель — в апатии* — Кант — *Den Schwung mäßigen um ihn nicht bis zum Enthusiasmus steigen lassen ; die Tugend erfordert Apathie*), с тех пор как люди предпочли роботическую справедливость и баранью чувствительность, История не более поучительна, чем метеорология.

История европейской цивилизации: толпа, превращающаяся в народ; история России: народ, действующий как толпа.

Русская История — бесконечная череда разно- и много-образных рабств. Европейец видит в Истории постоянный прогресс свободы, что не так уж глупо. Я был бы склонен видеть в Истории процесс удушения свободной мечты свободой рабов, но что остаётся необъяснимым — некогда, существование мечтателей совершенно свободных и даже сытых.

В России, некогда, мнение поэта весило больше, чем мнение чинуши, даже если тот высказывал мнение лишь о совсем немногих вещах. Экономика изгнала поэта с форумов и стадионов, где ныне упражняются бараны и роботы, имеющие мнение обо всём, включая благо, братство, любовь или мечту. Конец Истории был подписан в тот день, когда их мнение стало весить больше мнения поэта.

Даже в России присутствуешь при воцарении горизонтальности, финальной плоскости, конце рельефов, выравненных деньгами, рабов, принимающих себя за господ, господ, ведущих себя как рабы. *История завершается в тот момент, когда исчезает различие между Господином и Рабом* — А. Кожев — *L'Histoire s'achève au moment, où disparaît la différence entre Maître et Esclave*.

Некогда событийная история состояла в деградации идолов в пугала или наоборот; сегодня самые распространённые монументы: Менеджер или неизвестный Налогоплательщик (Европа), казнокрад или известный бандит (Россия).

Я не понимаю, почему отказывают Господу в сеянии раздора и в поклонении тьме; ведь всякое Слово — раздор, как и всякое творение. Что до тьмы, было время, когда следовало бояться ночи, сегодня скорее пугает день.

Человек состоит из двух граней: таинственной или божественной, что обращает нас к высоте, и проблематичной или человеческой, что обрекает нас глубине. Я подозреваю, что лучшее я, неведомое я, — как раз и есть эта божественная высота, которая, в конечном счёте, не менее человечна, чем

плоскость или глубина я известного. Человек обращён не к себе, а к тому высшему, что в нём живёт. *Всё только человеческое — ниже человека* — Вейдле.

Мы носим в себе объективную метрику, по которой далеки нам — знание, женщина, Бог, а близки — поэзия, благо, благородство. Гнусность нашего времени в том, что далёкое отныне мыслится как знакомое и прозрачное, а близкое более вовсе не воспринимается нашим близоруким взглядом. Мир без далей, мир с механической близостью, без органической близости.

Жилище русского — компромисс между церковью и гробницей, где переплетаются открытость неба и замкнутость земли, внешнее призванных и внутреннее избранных, вертикальность сводов и горизонтальность корней, червь сомнения и червь верования.

Три взгляда на человечество сегодня: исторический (европейский), этический (русский), личный. Это самое справедливое, самое умное, самое великодушное общество. Это стадо без души, без мечты, без горизонтов. Это стая беспощадных гиен, сеть солидарных роботов, сокрушающая всякий неблеющий или нерассчётливый вид.

Издавна знают, что такое люди, тяжкие подозрения всегда тяготели над существованием недочеловека, и недавно начали даже разгадывать сущность сверхчеловека, но продолжают не знать, что такое человек. Пока его признавали, гуманизм был не мёртв; как только, неявно, но окончательно, провозглашают человека — бараном или роботом, — кончено с нашей русской жалостью и стыдом и с нашими европейскими восторгами.

В июне 1941-го года, наконец, опубликовали в Париже *Тетради* Монтескьё; на обёртке филе-миньон я читаю дату издания опуса — 1941-й! Сартр убивал скуку, сочиняя *Бытие и ничто*, как и Камю со своим *Человеком-Бунтарём*, чтобы отправить их издателям в 1943-м. Кокто готовил свои лекции в Германии. В то же время миллионы людей были низведены до состояния животных, умирая от голода, сгорая заживо в немецких концлагерях, где зрели проекты газовых камер. И эти ещё, в окопах Восточного фронта, что гибли под снарядами и пытками, добивались штыками.

Человек, которого видят *Достоевский* и *Ницше*, — это один и тот же человек, но судят они его либо из глубины подполья, либо с горней высоты; жалость обращена к рабу, а ирония — к господину, но это один и тот же персонаж, теряющий лицо и ищущий, как заработать на жизнь. Внешнее смирение и внутренний бунт, приводящие к одному и тому же сверхчеловеку или человеку из подполья, противостоящему барану или роботу.

Экзальтация субъекта — не исключительная особенность нашей эпохи; новое — экзальтация жалких объектов и стадность субъектов. В современном я больше нет ни свободного европейского я, ни братского русского ты; в нём царит американское уравнильное мы.

У России есть эта общая черта с Америкой — она всё более пространственна в ущерб временному. *Европа — это время. Америка — это пространство* — Р. Дебрэ — *L'Europe, c'est le temps. L'Amérique, c'est l'espace*. Время — это культура; пространство — это природа или карикатура.

Что поражает русского у европейцев — отсутствие у них всякого сомнения относительно отведённого им в обществе места. Лишний человек, человек, не находящий своего места в мире — таков самый оригинальный персонаж русской литературы, присутствующий у А. Грибоедова, [Пушкина](#), М. Лермонтова, Тургенева, Чехова. Более чем вопиющий ужас реальности, именно красота ускользающей мечты, красота смиренная или гордая, ставит этого персонажа на обочину реальности.

Француз забавляется своей теорией страстей; немец скучает своей страстью к теориям; русский оставляет нас в недоумении своими страстями, в которых не пробивается никакая теория, и своими теориями, выражающимися на языке страстей, не объясняя их.

В своём жизненном пути почти все персонажи русской Истории — лишь жертвы; в ней находишь лишь двух героев — Петра Великого и [Пушкина](#), побеждающих варварство нравов или языка.

Душа и сердце русских чувствительны к тем же импульсам, что на Западе. Но разум, чьё действие и нравы подвержены пагубному влиянию варварского Востока (японская, китайская, индийская культуры абсолютно ничего не привнесли в русскую цивилизацию). Но цивилизационная борьба разворачивается в разуме, отсюда суровость и взаимонепонимание в напряжённом и недоверчивом диалоге с Западом.

[Пушкин](#), своими ласками, заставляет меня чувствовать себя русским; [Рильке](#), своим благородством, принимает меня немцем; [Валери](#), своей тонкостью, заставляет меня признать себя французом. И вдруг я понимаю, что они все — поэты! Чуждый всем кланам, я верен своему я, одинокому и

истинному, сродни воображаемому или реальным поэтам!

В русских просвещённых кругах два века отчаянных поисков национальной черты, достойной искренней похвалы. *Мы не знаем того, что именно должно не бранить на Руси* — Достоевский.

Homo sovieticus — единственная раса, которую я встречал в СССР, на всех уровнях социальных лестниц; она унаследовала от дореволюционного мужика грубость и лень, новый режим добавил к этому трусость, рабскую покорность и жульничество. Как же мне было печально во Франции, когда, в конце прошлого века, я стал свидетелем угасания русской цивилизации в изгнании, цивилизации дворян — Оболенских, Шаховских, Всеволожских, Лейхтенбергских, — которых я знал в Провансе и которые хранили родной язык, православную веру, пышность (балы, детские праздники), Историю страны, поглощённой большевистской бойней, не оставившей ни малейшего следа прошлого. Но для наследников homo sovieticus: *Никакая тоталитарная система не сможет поменять что-то в нашей стране* — А. Кончаловский — ибо их память не идёт дальше двух поколений.

В общем, цивилизации выражают национальные особенности; тогда как в культуре играют роль скорее особенности индивидуальные. Русская цивилизация жалка, ибо масса в своих психологических установках забыла рациональное европейское прошлое своей родины и хранит главным образом монгольское наследие, где царит произвол. Лучшие носители русской культуры — Пушкин, Тургенев, В. Набоков — нигилисты, что могло бы составить её славу, ибо нигилисты за личность, против толпы. Но монголы, представленные Достоевским: *Культуры у нас нет через нигилиста Петра Великого* — неспособны восхищаться тем, что переносится за пределы племени.

Прежде чем принять по-французски похоронный тон и салонный стиль, [Чоран](#) создал прекрасную лебединую песнь на своём родном языке, в своей самой строгой и самой прекрасной книге — *о Франции!* Совершенно незамеченная, она тем не менее превосходит Жермену де Сталь (*О Германии*) в глубине и Астольфа де [Кюстина](#) (*Россия в 1839-м году*) в культуре.

Будучи замешан в трёх культурах, я могу жить тремя родами сакрального по сю сторону этих трёх границ. Русское сакральное — его сказки, бесконечность его просторов, его меланхолическая музыка, человечность его литературы. Немецкое сакральное — романтика его Лорелей, благородство его поэзии и музыки, дерзость его мистиков. Французское сакральное — нежность его песен и пейзажей, элегантность его Замков, добрый вкус его крестьян и его девушек. В этих упражнениях восхищения нет места битвам, инженерам, князьям мира сего.

Германским сумрачностям, русским апокалипсисам, английским фантазёрствам французская литература может противопоставить лишь разум своей прозрачности, своего вкуса к золотой середине, равновесия между словом и идеей. Совсем в дельфийском вкусе: ничего слишком; что запредельно — ничтожно; смысл — не всё, но культ формы имеет не только счастливые следствия.

В Европе, культурно невеликий достиг большого продвижения, тогда как падение великого стало ещё более оглушительным — оба стали почти неразличимы. Для обоих Бог, благородство, утешение отныне мертвы. В России невеликий остался на том же уровне, а падения ставших редкими великих и совсем проходят незамеченными. Великие отчаянно хотят

исправить или утешить невеликого или даже опереться на него, но кончают на самом дне одичания.

Француз — реалист, немец и русский — мечтатели. Эти метят в глубину, а тот — в форму. Эти выуживают свои образы из глубокого ящика, где громоздятся *абсолют* души или *вечность* сердца; а тот занят лишь тем, что приняло форму известного, доказанного, удачного, в высоте ума. Лишь француз знает, что все глубины уже исследованы, и сосредотачивается на изобретении возвышенных форм.

Культ повседневности не сегодня возник, но некогда эта повседневность была наполнена битвами, открытиями, шедеврами; она была почти вне реальности. Сегодня я пробегаю по европейским новостям — и обжигаюсь скукой и пошлостью; делаю то же самое в России — и холодею от ужаса и тоски. В обоих случаях всё вполне настоящее, реальное, склеенное с нашей эпохой, — никакого взлёта к вневременному.

Я привязываюсь к русскому благодаря превосходству его иррационального; я приближаюсь к французам благодаря превосходству его рационального.

Индекс авторов цитат

Сокращения названий глав

Бла — Скрытое благородство
 Бог — С Богом
 Дел — Без дела
 Доб — За добро само по себе
 Инт — Беспольный интеллект/ум
 Иро — Без иронии
 Иск — Искусство насилия
 Люб — В безотчётной любви

Люд — С неспигаемыми людьми
 Оди — Планетарное одиночество
 Пле — Среди дикого племени
 Пра — По голой правде
 Пре — Предисловие
 Сом — Под сомнением
 Сло — В невнятном слове
 Стр — В страдании

Бл. Августин	Оди,Бог1, Бог2,Бог3,Бог4	Блуа Л.	Дел,Бог1,Бог2	Герцен А.	Стр,Иро,Сло
Адорно Т.	Оди,Пра	Бодлер Ш.	Иск,Стр, Люд	Гиппиус З.	Дел,Пле,Люд
д'Аламбер Ж.	Стр	Бодрийяр Ж.	Бла,Бог, Люд	Гитлер А.	Стр,Бог,Люд
Ален	Бог			Гоголь Н.	Оди,Дел, Люд1,Люд2,Люд3
Амьель А.-Ф.	Бла,Пле, Доб,Люд	Боккачо	269	Горький М.	Стр,Пле1, Пле2,Пле3,Люб,Пра, Люд1,Люд2
Ансельм	Бог	Борхес Х.	Люд1,Люд2, Люд3	Гофманнсталь Г.	Люд
Аристотель	Стр1, Пле,Доб,Люд	Брак Ж.	Пле	Грасиан Б.	Бог
Арнольд В.	Иск	Бретон А.	278	Григорий Наз.	Бог1,Бог2
Арто А.	Оди	Бродский И.	Люд	Григорий Нис.	Бог
Ахматова А.	Бог	Бунин И.	Иск,205	Гуссерль Э.	Оди
Бадью А.	Иск	Вагнер Р.	Дел	Гюго В.	Пле,Бог, Сом,Доб
Бакунин М.	Бог	Валери П.	Стр, Бог,Люб,Сом,Доб, Люд1,Люд2,Люд3,Люд4	Данте А.	Пре,Пле
Бальзак О.	Доб	Вейдле В.	Люд	Дарвин Ч.	Бог
Бальмонт К.	Люд	Вейль С.	Бог,Люд	Дебрэ Р.	Бла,Оди, Стр1,Стр2,Бог,Люд1, Люд2,Люд3,Люд4,Люд5, Люд6
Белинский В.	Пре,Дел, Пле,Люб,Люд	Верлен П.	Дел	Декарт Р.	Бог
Бёме Я.	Сло	Вернадский В.	Люд	Делёз Ж.	Бла
Бенн Г.	Пле,Бог	Виргилий	Бог	Демокрит	Пле
Бенуа XVI	Стр	Виттгенштейн Л.	Люб,Доб	Деррида Ж.	Люд
Беньямин В.	Люд1,Люд2	Волошин М.	Пле,Доб	Джибран Х.	Сло
Берберова Н.	Оди,Люд	Вольтер А.	Пре1,Пре2, Пле,Бог1,Бог2,Сом, Люд	Джойс Дж.	Люд
Бердяев Н.	Бла,Инт1, Инт2,Инт3,Дел,Пле1, Пле2,Бог1,Бог2,Бог3, Бог4,Бог5,Бог6,Сом, Доб1,Доб2,Доб3,Доб4	Вулф В.	Сом,Доб	Дидро Д.	Стр,Люд
Берлиоз Г.	Оди,Люд	Вяземский П.	Дел,Пле, Люд	Донн Дж.	Бла
Бл. Бернар	Бог	Гегель И.Г.	Пре,Оди	Достоевский Ф.	Бла,Оди, Стр1,Стр2,Дел1,Дел2, Пле1,Пле2,Пле3,Пле4, Пле5,Бог1,Бог2,Иро, Люб,Пра1,Пра2,Пра3, Доб,Люд1,Люд2,Люд3, Люд4,Люд5,Люд6,Люд7
Биант	Бог	Гейне Г.	Люд1,Люд2		
Бланшо М.	Иск	Гельдерлин Ф.	Бла1, Бла2,Оди,Бог		
Блок А.	Пле1,Пле2, Пле3,Пле4,Бог,Доб, Люд	Генин М.	Иск		
		Гераклит	Бог1,Бог2		
		Герберштейн З.	Пле,Иро		

Дю Белле И.	Люд	Лоуренс Д.	Бог, Люд	Пегги Ш.	Бла, Стр, Пле1,
Жабес Э.	Сло	Лосев А.	Инт, Люд		Пле2, Бог
Жид А.	Пле, Сом	Лулль Р.	Пра	Пессоа Ф.	Люд
Жубер Ж.	Пле	Малер Г.	Дел	Пётр Вел.	Пле
Жуковский В.	Люд	Мандельштам О.	Пле,	Петроний	Бог
Замятин Е.	Иск		Доб	Планк М.	Бог
Иванов В.	Сло, Пра	Манн Т.	Пре, Бла, Оди	Плутарх	Ноб
Иисус	Бог	Маркс К.	Дел, Пле1,	Пришвин М.	III, Оди, Пле
Иоанн-Павел II	Бог		Пле2, Пле3, Пле4, Люд	Прудон П.Ж.	Пле
Ионеско Э.	Люд	Мачадо А.	Иро	Пруст М.	Пра
Искандер Ф.	Оди, Бог	Маяковский В.	Оди, Пле1,	Пушкин А.	Иск1, Иск2,
Казанова Дж.	Пле		Пле2		Иск3, Иск4, Иск5, Иск6,
Камю А.	Бла, Оди, Пле,	Мережковский Д.	Пле,		Оди1, Оди2, Стр, Пле1,
	Люд1, Люд2		Бог, Люд		Пле2, Пле3, Пле4, Пле5,
Канетти Э.	Бог	Мерло-Понти М.	Бла		Доб1, Доб2, Люд1, Люд2,
Кант И.	Инт1,	де Местр Ж.	Пре, Ноб,		Люд3
	Иск, Стр, Пле, Бог,		Дел, Доб, Люд	Рабле Ф.	334
	Люб, Люд1, Люд2	Милтон Дж.	Люд	Расселл Б.	Иск, Пле
Карлейль Т.	Пле	Мишле Ж.	Сом, Пра	Ренар Ж.	Иск, Сло
Кастро Ф.	Пле1, Пле2	Монтень М.	Инт1, Оди,	Ривароль А.	Пле1, Пле2
Кафка Ф.	Оди, Сом		Пле, Сом, Сло	Рильке Р.М.	Пре, Иск1,
Киплинг Р.	Стр	Монтескье Ш.	Бла		Иск2, Оди1, Оди2, Оди3,
Клейст Г.	Сом	Моравиа А.	Инт		Бог1, Бог2, Сом, Доб,
Клодель П.	Дел	Моран П.	Люд		Люд1, Люд2
Ключевский В.	Инт1,	Моргенштерн К.	Иск, Стр,	Розанов В.	Доб
	Инт2, Оди, Пле, Бог1,		Люб, Люд	Роллан Р.	Сом
	Бог2, Бог3, Доб, Люд	Музиль Р.	Люб	Ростропович М.	Бог
Кожев А.	Бла, Люд1, Люд2	Мюссе А.	Пре	Руссо Ж.-Ж.	Бог, Доб1,
Колосимо Ж.-Ф.	Пле, Бог	Набоков В.	Пре,		Доб2
Конрад Дж.	Дел, Сом, Пра		Оди, Стр1, Стр2, Пле,	Саломе Л.	Стр, Люб
Кончаловский А.	Люб, Люд		Бог, Люб, Сло1, Сло2,	Сартр Ж.-П.	Пре, Оди, Бог
Краус К.	Бла, Иск, Бог		Пра, Люд	Светоний	Люд
Корнель П.	Оди	Наполеон Б.	Дел, Пле,	Сен-Джон Перс	Люд
Кроче Б.	Пле		Люд1, Люд2	Сент Экзюпери А.	Дел,
Кублановский Ю.	Иск,	Ницше Ф.	Пре1, Пре2,		Бог
	Стр, Пле		Пре3, Пре4, Бла1, Бла2,	Сёрл Дж.	Пра
Кундера М.	Иск, Люд		Бла3, Инт1, Инт2, Инт3,	Серр М.	Оди
Куприн А.	Стр		Иск, Оди1, Оди2, Оди3,	Слотердейк П.	Сом
Кьеркегор С.	Дел, Пле,		Оди4, Стр1, Стр2, Дел1,	Сократ	Бог, Сом, Доб
	Бог		Дел2, Дел3, Пле1, Пле2,	Солженицын А.	Стр
Кэрролл Л.	Пле		Пле3, Бог1, Бог2, Бог3,	Соловьёв В.	Бла, Стр,
Кюстин А.	Стр, Дел, Пле,		Иро, Сом1, Сом2, Сом3,		Бог, Иро
	Иро, Люд1, Люд2, Люд3		Сом4, Пра, Доб1, Доб2,	Спиноза Б.	Пле, Бог1,
Лакан Ж.	Бог		Люд1, Люд2, Люд3, Люд4,		Бог2, Доб, Люд
Ларошфуко Ф.	Пре		Люд5, Люд6	де Сталь Ж.	Ноб, Дел,
Лафонтен Ж.	Бла	Ортега и Гассет Х.	Иск,		Пле, Люд
Левинас Э.	Пре, Оди, Пле,		Дел, Пле, Люд1, Люд2	Стейнбек Дж.	Бла
	Бог	Св.Павел	Бог	Стендаль	Люд1, Люд2
Лейбниц В.	Сло	Павлов И.	Дел	Стерн Л.	Стр
Леонтьев К.	Пле, Доб	Пас О.	Люд	Сюарес А.	Инт, Иск,
Лермонтов М.	Люб,	Паскаль Б.	Бог1, Бог2,		Бог, Сом, Доб
	Доб		Люб	Таллейран Ш.	Пле, Люд
Лойола И.	Бог	Пастернак Б.	Иск	Талмуд	Пра

Теннисон А.	Пле, Люд	Хессе Г.	Инт, Иск, Бог,	Шекспир У.	Пре, Оди, Сло
Токвилль А.	Пле1, Пле2,		Сом, Сло, Люд1, Люд2	Шестов Л.	Пре, Инт,
	Сом, Люд	Цвейг Ш.	Бла, Иск		Дел, Бог1, Бог2, Бог3,
Толстой Л.	Стр, Пле,	Цветаева М.	Бла1, Бла2,		Пра
	Бог1, Бог2, Сло, Доб1,		Оди1, Оди2, Стр1, Стр2,	Шиллер Ф.	Доб, Люд
	Доб2		Бог1, Бог2, Бог3, Бог4,	Шлегель Ф.	Доб
Тургенев И.	Стр, Сом,		Люб1, Люб2, Люб3, Сло1,	Шопенгауэр А.	Стр, Бог
	Сло		Сло2, Люд1, Люд2	Шоу Б.	Стр
Тютчев Ф.	Стр, Пле1,	Целан П.	Пре, Сом	Шпенглер О.	Бла1, Бла2,
	Бог1, Бог2, Сом1, Сом2	Цицерон	Люд		Инт1, Инт2, Бог, Сом,
Уальд О.	Пре, Стр	Чаадаев П.	Инт, Оди, Дел,		Люд
Унамуно М.	134		Пле, Бог	Штейнер Дж.	Бла, Иск,
Файнман Р.	Оди	Черчилль У.	Бла, Пле, Люд		Стр1, Стр2, Сом, Сло
Фенелон Ф.	Люд	Честертон Дж.К.	Люб1,	Шубарт В.	Пле1, Бог1,
Фернандес Д.	Иск, Оди,		Люд2, Люд3		Бог2, Иро, Сом, Сло
	Стр, Дел	Чехов А.	Дел,	Шуманн Р.	Бог
Флобер Г.	Иск		Пле, Бог, Иро	Эйнштейн А.	Пре, Пле
Фома Акв.	Пле	Чомски Н.	Пре	Мастер Экхарт	Бог1,
Франс А.	Доб	Чоран Э.	Стр1, Стр2,		Бог2
Фуко М.	Инт, Оди,		Стр3, Дел, Пле1, Пле2,	Эсхил	Бог
	Люб		Сом1, Сом2, Сло, Доб,	Юнгер Э.	Стр1, Стр2,
Фурье Ш.	Дел, Бог		Люд		Дел
Хайдеггер М.	Бла, Инт,	Шамфор Н.	Пле1, Пле2,	Янкелевич В.	Бла, Инт,
	Оди1, Оди2, Оди3, Пле1,		Пле3		Оди
	Пле2, Бог1, Бог2, Бог3,	Шар Р.	Пле1, Пле2, Бог	Ясперс К.	Люд
	Доб	Шатобриан Ф.-Р.	Бла,		
Хаманн И.Г.	Бог		Пра, Люд		
Хемингуэй Э.	Бог, Сом	Шафаревич И.	Дел		

Содержание

Предисловие к русскому изданию **I**

Предисловие **v**

О её Сути **21**

Скрытое благородство 23

Бесполезный ум 40

Искусство насилия 53

Планетарное одиночество 79

О её Доле **107**

В страдании 109

Без дела 130

Среди дикого племени 146

О её Воле **213**

С Богом 215

Без иронии 268

В безотчётной любви 274

Под сомнением 282

О её Роли **295**

В невнятном слове 297

По голой правде 321

За добро само по себе 328

С неsgiбаемыми людьми 343

Индекс авторов **397**

Обложка

Я не знал Откровений, приводящих к просветлению тех, кто уже вышел из детства — не было у меня ни Дамаска, ни Тольбиака, ни Генуи, ни Сильс-Марии.

Единственный невесомый и чудный свет, сопутствовавший мне на всех перекрёстках-тупиках, шёл из сказок, которые читала мне Мама с тех пор, когда я достиг пяти лет. После изнурительной, мужской работы, на допотопном заводе с земляным полом, на грохочущем прессе, она несла своим трём исчадиям лишь свои голубые глаза, светящиеся любовью и слезами. Сказки открывали дороги, ведущие в никуда (как скажет когда-то [Хайдеггер](#)). Там я и решил остаться, покуда глазам было вольготно оставаться закрытыми. Сиюминутная лазурь маминых глаз сливалась с лазурью беспредельной мечты.

